

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНИЙ

Ф. М. Достоевскаго.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Униженные и оскорбленные.

Романъ въ 4-хъ частяхъ съ эпилогомъ.

(Окончаніе).

Вѣчный мужъ.

Разсказъ.

Безплатное приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1894 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1894.

322519

Дозволено цензурою. СПБ. 10 іюня 1894 г.

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъяческая, д. № 1.

# Униженные и оскорбленные.

## Часть четвертая.

### ГЛАВА I.

Не стану описывать моего озлобленія. Несмотря на то, что можно было всего ожидать, я былъ пораженъ; точно онъ предсталъ передо мной во всемъ своемъ безобразіи совѣмъ неожиданно. Впрочемъ, помню, ощущенія мои были смутны: какъ будто я былъ чѣмъ-то придавленъ, ушибленъ, и черная тоска все больше и больше сосала мнѣ сердце; я боялся за Наташу. Я предчувствовалъ ей много мукъ впереди и смутно заботился, какъ бы ихъ обойти, какъ бы облегчить эти послѣднія минуты передъ окончательной развязкой всего дѣла. Въ развязкѣ же сомнѣнія не было никакого. Она приближалась, и какъ было не угадать, какова она будетъ.

Я и не замѣтилъ, какъ дошелъ домой, хотя дождь мочилъ меня всю дорогу. Было уже часа три утра. Не успѣлъ я стукнуть въ дверь моей квартиры, какъ послышался стонъ, и дверь торопливо начала отпираться, какъ будто Нелли и не дожидаясь спать, а все время сторожила меня у самаго порога. Свѣчка горѣла. Я взглянулъ въ лицо Нелли и испугался: оно все измѣнилось; глаза горѣли, какъ въ горячкѣ, и смотрѣли какъ-то дико, точно она не узнавала меня. Съ ней былъ сильный жаръ.

— Нелли, что съ тобой, ты больна? спросилъ я, наклоняясь къ ней и обнявъ ее рукой.

Она трепетно прижалась ко мнѣ, какъ будто боялась чего-то, что-то заговорила, скоро, порывисто, какъ будто только и ждала меня, чтобъ поскорѣй мнѣ это рассказать. Но слова ея были бессвязны и странны; я ничего не понималъ, она была въ бреду.

Я повелъ ее поскорѣй на постель. Но она все бросалась ко мнѣ и прижималась крѣпко, какъ будто въ испугѣ, какъ будто прося защитить себя отъ кого-то, и когда уже легла въ постель, все еще хваталась за мою руку и крѣпко держала ее, боясь, чтобъ я опять не ушелъ. Я былъ до того потрясенъ и разстроенъ нервами, что, глядя на нее, даже заплакалъ. Я самъ былъ боленъ. Увидя мои слезы, она долго и неподвижно вглядывалась въ меня съ усиленнымъ, напряженнымъ вниманіемъ, какъ будто стараясь что-то осмыслить и сообразить. Видно было, что ей стоило это большихъ усилій. Наконецъ, что-то похожее на мысль проявилось въ лицѣ ея; послѣ сильнаго припадка падучей болѣзни она обыкновенно нѣкоторое время не могла соображать свои мысли и внятно произносить слова. Такъ было и теперь: сдѣлавъ надъ собой чрезвычайное усиліе, чтобъ выговорить мнѣ что-то, и догадавшись, что я не понимаю, она протянула свою ручонку и начала отирать мои слезы, потомъ обхватила мою шею, нагнула меня къ себѣ и поцѣловала.

Было ясно: съ ней безъ меня былъ припадокъ и случился онъ именно въ то мгновеніе, когда она стояла у самой двери. Очнувшись отъ припадка, она, вѣроятно, долго не могла придти въ себя. Въ это время дѣйствительность смѣшивается съ бредомъ и ей вѣрно вообразилось что-нибудь ужасное, какіе-нибудь страхи. Въ то же время она смутно сознавала, что я долженъ воротиться и буду стучаться у дверей, а потому, лежа у самаго порога на полу, чутко ждала моего возвращенія и приподнялась на мой первый стукъ.

„Но для чего-жъ она какъ разъ очутилась у дверей?“ подумалъ я, и вдругъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что она была въ шубейкѣ (я только что купилъ ей у знакомой старухи-торговки, зашедшей ко мнѣ на квартиру и уступившей мнѣ иногда свой товаръ въ долгъ); слѣдовательно, она собиралась куда-то идти со двора и, вѣроятно, уже отпирала дверь, какъ вдругъ эпилепсія поразила ее. Куда-жъ она хотѣла идти? Ужъ не была-ли она и тогда въ бреду?

Между тѣмъ жаръ не проходилъ и она скоро опять впала въ бредъ и безпамятство. Съ ней былъ уже два раза припадокъ на моей квартирѣ, но всегда оканчивался благополучно, а теперь она была точно въ горячкѣ. Посидѣвъ надъ ней съ полчаса, я примостилъ къ дивану стулья и легъ, какъ былъ одѣтый, близъ нея, чтобы ско-

рѣй проснуться, если-бъ она меня позвала. Свѣчки я не тушилъ. Много разъ еще я взглядывалъ на нее, прежде чѣмъ самъ заснулъ. Она была блѣдна; губы запекшіяся отъ жару и окровавленные, вѣроятно, отъ паденія; съ лица не сходило выраженіе страха и какой-то мучительной тоски, которая, казалось, не покидала ее даже во снѣ. Я рѣшилъ на завтра какъ можно раньше сходить къ доктору, если-бъ ей стало хуже. Боялся я, чтобъ не приключилось настоящей горячки.

„Это ее князь напугалъ!“ подумалъ я съ содроганіемъ, и вспомнилъ рассказъ его о женщинѣ, бросившей ему въ лицо свои деньги.

## ГЛАВА II.

...Прошло двѣ недѣли. Нелли выздоравливала. Горячки съ ней не было, но была она сильно больна. Она встала съ постели въ концѣ апрѣля, въ свѣтлый, ясный день. Была Страстная недѣля.

Бѣдное созданіе. Я не могу продолжать моего рассказа въ прежнемъ порядкѣ. Много прошло уже времени до теперешней минуты, когда я записываю все это прошлое, но до сихъ поръ, съ такой тяжелой, пронзительной тоской вспоминается мнѣ это блѣдное, худенькое личико, эти пронзительные долгіе взгляды ея черныхъ глазъ, когда, бывало, мы оставались вдвоемъ и она смотритъ на меня съ своей постели, смотритъ, долго смотритъ, какъ бы вызывая меня угадать, что у ней на умѣ; но, видя, что я не угадываю и все въ прежнемъ недоумѣніи, тихо и какъ будто про себя улыбнется и вдругъ ласково протянетъ мнѣ свою горячую ручку съ худенькими, высохшими пальчиками. Теперь все прошло, ужъ все извѣстно, а до сихъ поръ я не знаю всей тайны этого больного, измученнаго и оскорбленнаго маленькаго сердца.

Я чувствую, что я отвлекусь отъ рассказа, но въ эту минуту мнѣ хочется думать объ одной только Нелли. Странно теперь, когда я лежу на больничной койкѣ одинъ, оставленный всѣми, кого я такъ много и сильно любилъ, — теперь иногда одна какая-нибудь мелкая черта изъ того времени, тогда часто для меня непримѣтная и скоро забываемая, вдругъ, приходя на память, внезапно получаетъ въ моемъ умѣ совершенно другое значеніе, цѣльное и объясняющее мнѣ теперь то, чего я даже до сихъ поръ не умѣлъ понять.

Первые четыре дня ея болѣзни мы, я и докторъ, ужасно за нее боялись, но на пятый день докторъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ мнѣ, что бояться нечего, и она непременно выздоровѣетъ. Это былъ тотъ самый докторъ, давно знакомый мнѣ старый холостякъ, добрякъ и чудакъ, котораго я призывалъ еще въ первую болѣзнь Нелли и который такъ поразилъ ее своимъ Станиславомъ на шеѣ, чрезвычайныхъ размѣровъ.

— Стало-быть, совсѣмъ нечего бояться! сказалъ я, обрадовавшись.

— Да, она теперь выздоровѣетъ, но потомъ она весьма скоро умретъ!

— Какъ умереть! Да почему же? вскричалъ я, ошеломленный такимъ приговоромъ.

— Да, она непременно весьма скоро умретъ. У пациентки органической пороки въ сердцѣ, и, при малѣйшихъ неблагоприятныхъ обстоятельствахъ, она ляжетъ снова. Можетъ-быть, снова выздоровѣетъ, но потомъ опять ляжетъ снова и, наконецъ, умретъ.

— И неужели-жъ нельзя никакъ спасти ее? Нѣтъ, этого быть не можетъ.

— Но это должно быть. И, однако, при удаленіи неблагоприятныхъ обстоятельствъ, при спокойной и тихой жизни, когда будетъ болѣе удовольствій, пациентка еще можетъ быть отдалена отъ смерти, и даже бываютъ случаи... неожиданные... ненормальные и странные... однимъ словомъ, пациентка даже можетъ быть спасена, при совокупленіи многихъ благоприятныхъ обстоятельствъ, но радикально спасена—никогда.

— Но, Боже мой, чтѣ же теперь дѣлать?

— Слѣдовать совѣтамъ, вести покойную жизнь и исправно принимать порошки. Я замѣтилъ, что эта дѣвица капризна, неровнаго характера и даже насмѣшлива; она очень не любитъ исправно принимать порошки и вотъ сейчасъ рѣшительно отказалась.

— Да, докторъ. Она дѣйствительно странная, но я все приписываю болѣзненному раздраженію. Вчера она была очень послушна; сегодня же, когда я ей подносилъ лѣкарство, она пихнула ложку, какъ будто нечаянно, и все пролилось. Когда же я хотѣлъ развести новый порошокъ, она вырвала у меня всю коробку и ударила ее объ полъ, а потомъ залилась слезами... Только, кажется, не оттого, что ее заставляли принимать порошки, прибавилъ я, подумавъ.

— Гм! Ирритация. Прежнія большія несчастія (я подробно и откровенно разсказалъ доктору многое изъ исторіи Нелли, и разсказъ мой очень поразилъ его), все это въ связи, и вотъ отъ этого и болѣзнь. Покамѣстъ единственное средство — принимать порошки, и она должна принять порошокъ. Я пойду и еще разъ постараюсь внушить ей ея обязанность слушаться медицинскихъ совѣтовъ и... то-есть говоря вообще... принимать порошки.

Мы оба вышли изъ кухни (въ которой и происходило наше свиданіе), и докторъ снова приблизился къ постели больной. Но Нелли, кажется, насъ слышала: по крайней мѣрѣ, она приподняла голову съ подушекъ и, обративъ въ нашу сторону ухо, все время чутко прислушивалась. Я замѣтилъ это въ щель полуотворенной двери; когда же мы пошли къ ней, плутовка юркнула вновь подъ одѣяло и поглядывала на насъ съ насмѣшливой улыбкой. Бѣднjacka очень похудѣла въ эти четыре дня болѣзни: глаза ввалились, жаръ все еще не проходилъ. Тѣмъ страннѣе шель къ ея лицу шаловливый видъ и задорные блестящія взгляды, очень удивлявшіе доктора, самаго добрѣйшаго изъ всѣхъ нѣмецкихъ людей въ Петербургѣ.

Онъ серьезно, но стараясь какъ можно смягчить свой голосъ, ласковымъ и нѣжнѣйшимъ тономъ изложилъ необходимость и спасительность порошокъ, а слѣдственно и обязанность каждаго больного принимать ихъ. Нелли приподняла было голову, но вдругъ, повидимому, совершенно нечаяннымъ движеніемъ руки, задѣла ложку, и все лѣкарство пролилось опять на полъ. Я увѣренъ, она это сдѣлала нарочно.

— Это очень непріятная неосторожность, спокойно сказали старичокъ,—и я подозреваю, что вы сдѣлали это нарочно, что очень непохвально. Но... можно все исправить и еще развести порошокъ.

Нелли засмѣялась ему прямо въ глаза. Докторъ методически покачалъ головою.

— Это очень нехорошо, сказалъ онъ, разводя новый порошокъ,—очень, очень непохвально.

— Не сердитесь на меня, отвѣчала Нелли, тщетно стараясь не засмѣяться снова,—я непременно приму... А любите вы меня?

— Если вы будете вести себя похвально, то очень буду любить.

— Очень?

— Очень.

— А теперь не любите?

— И теперь люблю.

— А поцѣлуете меня, если я захочу васъ поцѣловать?

— Да, если вы будете того заслуживать.

Тутъ Нелли опять не могла вытерпѣть и снова засмѣялась.

— У пациентки веселый характеръ, но теперь — это нервы и капризъ, прошептала мнѣ докторъ съ самымъ серьезнымъ видомъ.

— Ну, хорошо, я выпью порошокъ! вскрикнула вдругъ своимъ слабымъ голосомъ Нелли. — Но когда я вырасту и буду большая, вы возьмете меня за себя замужъ?

Вѣроятно, выдумка этой новой шалости очень ей нравилась; глаза ея такъ и горѣли, а губки такъ и подергивало смѣхомъ, въ ожиданіи отвѣта нѣсколько изумленнаго доктора.

— Ну, да, отвѣчалъ онъ, улыбаясь невольно этому новому капризу, — ну, да, если вы будете добрая и благовоспитанная дѣвица, будете послушны и будете...

— Принимать порошки? подхватила Нелли.

— Ого! Ну, да, принимать порошки. Добрая дѣвица, шепнулъ онъ мнѣ снова, — въ ней много, много... добраго и умнаго, но, однакожь... замужъ... какой странный капризъ...

И онъ снова поднесъ ей лѣкарство. Но въ этотъ разъ она даже и не схитрила, а просто снизу вверхъ подтолкнула рукой ложку, и все лѣкарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бѣдному старичку. Нелли громко засмѣялась, но не прежнимъ простодушнымъ и веселымъ смѣхомъ. Въ лицѣ ея промелькнуло что-то жестокое, злое. Во все это время она какъ будто избѣгала моего взгляда, смотрѣла на одного доктора и съ насмѣшкою, сквозь которую проглядывало однакоже безпокойство, ждала, что-то будетъ теперь дѣлать „смѣшной“ старичокъ.

— О! Вы опять!.. Какое несчастье! Но... можно еще развести порошокъ! проговорилъ старикъ, отирая платкомъ лицо и манишку.

Это ужасно поразило Нелли. Она ждала нашего гнѣва, думала, что ее начнутъ бранить, упрекать и, можетъ-быть, ей, безсознательно, того только и хотѣлось въ эту минуту, — чтобъ имѣть предлогъ тотчасъ же заплакать, зарыдать, какъ въ истерикѣ, разбросать опять порошки,



какъ давеча, и даже разбить что-нибудь съ досады, и всёмъ этимъ утолить свое капризное, наболѣвшее сердечко. Такіе капризы бываютъ и не у однихъ больныхъ, и не у одной Нелли. Какъ часто, бывало, я ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ съ безсознательнымъ желаніемъ, чтобъ поскорѣй меня кто-нибудь обидѣлъ, или сказалъ слово, которое бы можно было принять за обиду, и поскорѣй сорвать на чемъ-нибудь сердце. Женщины же, „срывая“ такимъ образомъ сердце, начинаютъ плакать самыми искренними слезами, а самыя чувствительныя изъ нихъ даже доходятъ до истерики. Дѣло очень простое и самое житейское и бывающее чаще всего, когда есть другая, часто никому неизвѣстная печаль въ сердцѣ и которую хотѣлось бы, да нельзя никому высказать.

Но вдругъ, пораженная ангельской добротою обиженного ею старичка и терпѣніемъ, съ которымъ онъ снова разводилъ ей третій порошокъ, не сказавъ ей ни одного слова упрека, Нелли вдругъ притихла. Насмѣшка слетѣла съ ея губокъ, краска ударила ей въ лицо, глаза повлажнѣли: она мелькомъ взглянула на меня и тотчасъ же отворотилась. Докторъ поднесъ ей лѣкарство. Она смиренно и робко выпила его, схватила красную, пухлую руку старика и медленно поглядѣла ему въ глаза.

— Вы... сердитесь, что я злая, сказала было она, но не докончила, юркнула подъ одѣяло, накрылась съ головою и громко, истерически зарыдала.

— О, дитя мое, не плачьте... Это ничего... Это нервы; выпейте воды.

Но Нелли не слушала.

— Утѣшьтеесь... не разстраивайте себя, продолжалъ онъ, чуть самъ не хныча надъ нею, потому что былъ очень чувствительный человекъ, — я васъ прощаю, и замужъ возьму, если вы, при хорошемъ поведеніи честной дѣвицы, будете...

— Принимать порошки, послышалось изъ-подъ одѣяла съ тоненькимъ, какъ колокольчикъ, нервическимъ смѣхомъ, прерываемымъ рыданіями — очень мнѣ знакомымъ смѣхомъ.

— Доброе, признательное дитя! сказалъ докторъ торжественно и чуть не со слезами на глазахъ. — Бѣдная дѣвица!

И съ этихъ поръ между нимъ и Нелли началась какая-то странная, удивительная симпатія. Со мной же, на-

противъ, Нелли становилась все угрюмѣе, нервичѣе и раздражительнѣе. Я не зналъ, чему это приписать и дивился на нее, тѣмъ болѣе, что эта перемяна произошла въ ней какъ-то вдругъ. Въ первые дни болѣзни она была со мной чрезвычайно нѣжна и ласкова; казалось, не могла наглядѣться на меня, не отпускала отъ себя, схватывала мою руку своею горячею рукой и сажала меня возлѣ себя, и если замѣчала, что я угрюмъ и встревоженъ, старалась развеселить меня, шутила, играла со мной и улыбалась мнѣ, видимо подавляя свои собственные страданія. Она не хотѣла, чтобъ я работалъ по ночамъ или сидѣлъ, сторожилъ ее, и печалилась, видя, что я ее не слушаюсь. Иногда я замѣчалъ въ ней озабоченный видъ; она начинала спрашивать и выпытывать отъ меня, почему я печалюсь, что у меня на умѣ; но странно, когда доходило до Наташи, она тотчасъ же умолкала или начинала заговаривать о другомъ. Она какъ будто избѣгала говорить о Наташѣ, и это поразило меня. Когда я приходилъ, она радовалась. Когда же я брался за шляпу, она смотрѣла уныло, и какъ-то странно, какъ будто съ упрекомъ провожала меня глазами.

На четвертый день ея болѣзни я весь вечеръ и даже далеко за полночь просидѣлъ у Наташи. Намъ было тогда о чемъ говорить. Уходя же изъ дому я сказалъ моей больной, что ворочусь очень скоро, на что и самъ рассчитывалъ. Оставшись у Наташи почти нечаянно, я былъ спокоенъ насчетъ Нелли: она оставалась не одна. Съ ней сидѣла Александра Семеновна, узнавшая отъ Маслوبةва, зашедшаго ко мнѣ на минуту, что Нелли больна и я въ большихъ хлопотахъ и одинъ-одинѣхонецъ. Боже мой, какъ захопотала добренькая Александра Семеновна.

— Такъ, стало-быть, онъ и обѣдать къ намъ теперь не придетъ!.. Ахъ, Боже мой! И одинъ-то онъ, бѣдный, одинъ. Ну, такъ покажемъ же мы теперь ему наше радушіе. Вотъ случай выдался, такъ и не надо его упускать.

Тотчасъ же она явилась у насъ, привезя съ собой на извозчикѣ цѣлый узелъ. Объявивъ съ перваго слова, что теперь она и не уйдетъ отъ меня, и пріѣхала, чтобъ помогать мнѣ въ хлопотахъ, она развязала узелъ. Въ немъ были сиропы, варенья для больной, цыплята и курица, въ случаѣ, если больная начнетъ выздоравливать, яблоки для печеня, апельсины, кievскія сухія варенья (на случай, если докторъ позволитъ), наконецъ, бѣлье, простыни,

салфетки, женскія рубашки, бинты, компрессы,—точно на цѣлый лазаретъ.

— Все-то у насъ есть, говорила она мнѣ, скоро и хлопотно выговаривая каждое слово, какъ будто куда-то торопясь,—ну, а вотъ вы живете по-холостому. У васъ вѣдь этого всего мало. Такъ ужъ позвольте мнѣ... и Филиппъ Филиппычъ такъ приказалъ. Ну, что же теперь... поскорѣй, поскорѣй! Что же теперь надо дѣлать? Что она? Въ памяти? Ахъ, какъ ей не хорошо лежать, надо поправить подушку, чтобъ ниже лежала голова, да знаете-ли... не лучше-ли кожаную подушку? Отъ кожаной-то холодить. Ахъ, какая я дура! И на умъ не пришло привезти. Я поѣду за ней... Не нужно-ли огонь развести? Я свою старуху вамъ пришлю. У меня есть знакомая старуха. У васъ вѣдь никого нѣтъ изъ женской прислуги... Ну, что же теперь дѣлать? Это что? Трава... докторъ прописалъ? Вѣрно для грудного чаю? Сейчасъ пойду разведу огонь.

Но я ее успокоилъ, и она очень удивилась и даже печалилась, что дѣла-то оказывается вовсе не такъ много. Это, впрочемъ, не обезкуражило ее совершенно. Она тотчасъ же подружилась съ Нелли и много помогала мнѣ во все время ея болѣзни; навѣщала насъ почти каждый день, и всегда, бывало, пріѣдетъ съ такимъ видомъ, какъ будто что-нибудь пропало или куда-то уѣхало, и надо поскорѣе ловить. Она всегда прибавляла, что такъ и Филиппъ Филиппычъ приказалъ. Нелли она очень понравилась. Онѣ полюбили одна другую какъ двѣ сестры, и я думаю, что Александра Семеновна во многомъ была такой же точно ребенокъ, какъ и Нелли. Она рассказывала ей разныя исторіи, смѣшила ее и Нелли потомъ часто скучала, когда Александра Семеновна уѣзжала домой. Первое же ея появленіе у насъ удивило мою больную, но она тотчасъ же догадалась, зачѣмъ пріѣхала незваная гостя и, по обыкновенію своему, даже нахмурилась, сдѣлалась молчалива и не любезна.

— Она зачѣмъ къ намъ пріѣзжала? спросила Нелли, какъ будто съ недовольнымъ видомъ, когда Александра Семеновна уѣхала.

— Помочь тебѣ, Нелли, и ходить за тобой.

— Да что-жь?.. За что же? Вѣдь я ей ничего такого не сдѣлала.

— Добрые люди и не ждутъ, чтобъ имъ прежде дѣлали, Нелли. Они и безъ этого любятъ помогать тѣмъ, кто нуж-

дается. Полно, Нелли: на свѣтѣ очень много добрыхъ людей. Только твоя-то бѣда, что ты ихъ не встрѣчала и не встрѣтила, когда было надо.

Нелли замолчала; я отошелъ отъ нея. Но четверть часа спустя, она сама подозвала меня къ себѣ слабымъ голосомъ, попросила было пить, и вдругъ крѣпко обняла меня, припала къ моей груди и долго не выпускала меня изъ своихъ рукъ. На другой день, когда пріѣхала Александра Семеновна, она встрѣтила ее съ радостной улыбкой, но какъ будто все еще стыдясь ея отчего-то.

### ГЛАВА III.

Вотъ въ этотъ-то день я и былъ у Наташи весь вечеръ. Я пришелъ уже поздно. Нелли спала. Александрѣ Семеновнѣ тоже хотѣлось спать, но она все сидѣла надъ больною и ждала меня. Тотчасъ же торопливымъ шопотомъ начала она мнѣ рассказывать, что Нелли сначала была очень весела, даже много смѣялась, но потомъ стала скучна и, видя, что я не прихожу, замолчала и задумалась. „Потомъ стала жаловаться, что у ней голова болить, заплакала и такъ разрыдалась, что ужъ я и не знала, что съ нею дѣлать, прибавила Александра Семеновна.—Заговорила было со мной о Натальѣ Николаевнѣ, но я ей ничего не могла сказать; она и перестала спрашивать и все потомъ плакала, такъ и уснула въ слезахъ. Ну, прощайте же, Иванъ Петровичъ; ей все-таки легче, какъ я замѣтила, а мнѣ надо домой, такъ и Филиппъ Филиппычъ приказалъ. Ужъ я признаюсь вамъ, вѣдь онъ меня этотъ разъ только на два часа отпустилъ, а я ужъ сама осталась. Да что, ничего, не беспокойтесь обо мнѣ; не смѣте онъ сердиться... Только вотъ развѣ... Ахъ, Боже мой, голубчикъ, Иванъ Петровичъ, что мнѣ дѣлать: все-то онъ теперь домой хмельной приходитъ! Занять онъ чѣмъ-то очень, со мной не говорить, тоскуетъ, дѣло у него важное на умѣ; я ужъ это вижу; а вечеромъ все-таки пьянъ... Подумаю только: воротился онъ теперь домой, кто-то его тамъ уложить? Ну, ѣду, ѣду, прощайте. Прощайте, Иванъ Петровичъ. Книги я у васъ тутъ смотрѣла: сколько книгъ-то у васъ, и все должно-быть умныя; а я-то дура, ничего-то я никогда не читала... Ну, до завтра...“

Но на завтра же Нелли проснулась грустная и угрюмая, пехотя отвѣчала мнѣ. Сама же ничего со мной не заговаривала, точно сердилась на меня. Я замѣтилъ только

нѣсколько взглядовъ ея, брошенныхъ на меня вскользь, какъ бы украдкой; въ этихъ взглядахъ было много какой-то затаенной сердечной боли, но все-таки въ нихъ проглядывала нѣжность, которой не было, когда она прямо глядѣла на меня. Въ этотъ-то день и происходила сцена при приѣмѣ лѣкарства съ докторомъ; я не зналъ, что подумать.

Но Нелли перемѣнилась ко мнѣ окончательно. Ея странности, капризы, иногда чуть не ненависть ко мнѣ,—все это продолжалось вплоть до самаго того дня, когда она перестала жить со мной, вплоть до самой той катастрофы, которая развязала весь нашъ романъ. Но объ этомъ послѣ.

Случалось иногда, впрочемъ, что она вдругъ становилась на какой-нибудь часъ ко мнѣ попрежнему ласкова. Ласки ея, казалось, удвоивались въ эти мгновенія; чаще всего въ эти же минуты она горько плакала. Но часы эти проходили скоро, и она впадала опять въ прежнюю тоску и опять враждебно смотрѣла на меня, или капризилась, какъ при докторѣ, или вдругъ, замѣтивъ, что мнѣ неприятна какая-нибудь ея новая шалость, начинала хохотать и всегда почти кончала слезами.

Она поссорилась даже разъ съ Александрой Семеновной, сказала ей, что ничего не хочетъ отъ нея. Когда же я сталъ пенять ей, при Александрѣ же Семеновнѣ, она разгорячилась, отвѣчала съ какой-то порывчатой, накопившейся злобой, но вдругъ замолчала и ровно два дня ни одного слова не говорила со мной, не хотѣла принять ни одного лѣкарства, даже не хотѣла пить и ѣсть, и только старичокъ-докторъ съумѣлъ уговорить и усовѣстить ее.

Я сказалъ уже, что между докторомъ и ею, съ самаго дня приѣма лѣкарства, началась какая-то удивительная симпатія. Нелли очень полюбила его, и всегда встрѣчала его съ веселой улыбкой, какъ бы ни была грустна передъ его приходомъ. Съ своей стороны, старичокъ началъ ѣздить къ намъ каждый день, а иногда и по два раза въ день, даже и тогда, когда Нелли стала ходить и уже совсѣмъ выздоравливала, и, казалось, она заворожила его такъ, что онъ не могъ прожить дня, не слыхавъ ея смѣху и шутокъ надъ нимъ, нерѣдко очень забавныхъ. Онъ сталъ возить ей книжки съ картинками все назидательнаго свойства. Одну онъ нарочно купилъ для нея. Потомъ сталъ возить ей сласти, конфеты въ хорошенькихъ коробочкахъ. Въ такіе разы онъ входилъ обыкновенно съ торжествен-

нымъ видомъ, какъ будто былъ именинникъ, и Нелли тотчасъ же догадывалась, что онъ пріѣхалъ съ подаркомъ. Но подарка онъ не показывалъ, а только хитро смѣялся, усаживался подлѣ Нелли, намекалъ, что если одна молодая дѣвица умѣла вести себя хорошо и заслужить въ его отсутствіе уваженіе, то такая молодая дѣвица достойна хорошей награды. При этомъ онъ такъ простодушно и добродушно на нее поглядывалъ, что Нелли, хоть и смѣялась надъ нимъ самымъ откровеннымъ смѣхомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ искренняя, ласкающая привязанность просвѣчивалась въ эту минуту въ ея прояснѣвшихъ глазкахъ. Наконецъ, старикъ торжественно подымался со стула, вынималъ коробочку съ конфетами и, вручая ее Нелли, непремѣнно прибавлялъ: „Моей будущей и любезной супругѣ“. Въ эту минуту онъ самъ былъ навѣрно счастливѣе Нелли.

Послѣ этого начинались разговоры, и каждый разъ онъ серьезно и убѣдительно уговаривалъ ее беречь здоровье и давалъ ей убѣдительные медицинскіе совѣты.

— Болѣе всего надо беречь свое здоровье, говорилъ онъ догматическимъ тономъ—и, во-первыхъ, и главное, для того, чтобъ остаться въ живыхъ, а во-вторыхъ, чтобы всегда быть здоровымъ, и такимъ образомъ достигнуть счастья въ жизни. Если вы имѣете, мое милое дитя, какія-нибудь горести, то забывайте ихъ или, лучше всего, старайтесь о нихъ не думать. Если же не имѣете никакихъ горестей, то... также о нихъ не думайте, а старайтесь думать объ удовольствіяхъ... о чемъ-нибудь веселомъ, игривомъ.

— А о чемъ же это веселомъ и игривомъ думать? спрашивала Нелли.

Докторъ немедленно становился втупикъ.

— Ну, тамъ... о какой-нибудь невинной игрѣ, приличной вашему возрасту; или тамъ... ну, что-нибудь этакое...

— Я не хочу играть; я не люблю играть, говорила Нелли.—А вотъ я люблю лучше новыя платья.

— Новыя платья! Гм! Ну, это уже не такъ хорошо. Надо во всемъ удовольствоваться скромною долей въ жизни. А, впрочемъ... пожалуй... можно любить и новыя платья.

— А вы много мнѣ сошьете платьевъ, когда я за васъ замужъ выйду?

— Какая идея! говорилъ докторъ, и ужъ невольно хмурился.—Нелли плутовски улыбалась и даже разъ, забывшись, съ улыбкою взглянула и на меня.—А, впрочемъ...

я вамъ сошью платье, если вы его заслужите своимъ поведениемъ, продолжалъ докторъ.

— А порошки нужно будетъ каждый день принимать, когда я за васъ замужъ выйду?

— Ну, тогда можно будетъ и не всегда принимать порошки.

И докторъ начиналъ улыбаться.

Нелли прерывала разговоръ смѣхомъ. Старичокъ смѣялся вслѣдъ за ней и съ любовью слѣдилъ за ея веселостью.

— Игривый умъ! говорилъ онъ, обращаясь ко мнѣ. — Но все еще виденъ капризь и нѣкоторая прихотливость и раздражительность.

Онъ былъ правъ. Я рѣшительно не зналъ, что дѣлалось съ нею. Она какъ будто совсѣмъ не хотѣла говорить со мной, точно я передъ ней въ чемъ-нибудь провинился. Мнѣ это было очень горько. Я даже самъ нахмурился и однажды пѣлый день не заговаривалъ съ нею, но на другой день мнѣ стало стыдно. Часто она плакала, и я рѣшительно не зналъ, чѣмъ ее утѣшить. Впрочемъ, она однажды прервала со мной свое молчаніе.

Разъ я воротился домой передъ сумерками и увидѣлъ, что Нелли быстро спрятала подъ подушку книгу. Это былъ мой романъ, который она взяла со стола и читала въ мое отсутствіе. Къ чему же было его прятать отъ меня? Точно она стыдится, подумалъ я, но не показалъ виду, что замѣтилъ что-нибудь. Четверть часа спустя, когда я вышелъ на минутку въ кухню, она быстро вскочила съ постели и положила романъ на прежнее мѣсто; воротясь, я увидалъ уже его на столѣ. Черезъ минуту она позвала меня къ себѣ; въ голосѣ ея отзывалось какое-то волненіе. Уже четыре дня какъ она почти не говорила со мной.

— Вы... сегодня... пойдете къ Наташѣ? спросила она меня прерывающимъ голосомъ.

— Да, Нелли; мнѣ очень нужно ее видѣть сегодня.

Нелли замолчала.

— Вы... очень... ее любите? спросила она опять слабымъ голосомъ.

— Да, Нелли, очень люблю.

— И я ее люблю, прибавила она тихо.

Затѣмъ опять наступило молчаніе.

— Я хочу къ ней и съ ней буду жить, начала слять Нелли, робко взглянувъ на меня.

— Это нельзя, Нелли, отвѣчалъ я, нѣсколько удивленный.—Развѣ тебѣ дурно у меня?

— Почему-жъ нельзя? и она вспыхнула.— Вѣдь уговариваете же вы меня, чтобъ я пошла жить къ ея отцу; а я не хочу идти. У ней есть служанка?

— Есть.

— Ну, такъ пусть она отошлетъ свою служанку, а я ей буду служить. Все буду ей дѣлать и ничего съ нея не возьму; я любить ее буду и кушанье буду варить. Вы такъ и скажите ей сегодня.

— Но къ чему же, что за фантазія, Нелли? И какъ же ты о ней судишь: неужели ты думаешь, что она согласится взять тебя вмѣсто кухарки? Ужъ если возьметъ она тебя, то какъ свою ровную, какъ младшую сестру свою.

— Нѣтъ, я не хочу какъ ровная. Такъ я не хочу...

— Почему же?

Нелли молчала. Губки ея подергивало; ей хотѣлось плакать.

— Вѣдь тотъ, котораго она теперь любитъ, уѣдетъ отъ нея и ее одну бросить? спросила она наконецъ.

Я удивился.

— Да почему ты знаешь, Нелли?

— Вы и сами говорили мнѣ все, и третьяго дня, когда мужъ Александры Семеновны приходилъ утромъ, я его спрашивала; онъ мнѣ все и сказалъ.

— Да развѣ Маслобоевъ приходилъ утромъ?

— Приходилъ, отвѣчала она, потушивъ глазки.

— А зачѣмъ же ты мнѣ не сказала, что онъ приходилъ?

— Такъ...

Я подумалъ съ минуту. Богъ знаетъ, зачѣмъ этотъ Маслобоевъ шляется, съ своею таинственностью. Что за сношенія завелъ? Надо бы его увидетьъ.

— Ну, такъ что-жъ тебѣ, Нелли, если онъ ее бросить?

— Вѣдь вы ее любите же очень, отвѣчала Нелли, не подымая на меня глазъ.—А коли любите, стало-быть, замужъ ее возьмете, когда тотъ уѣдетъ.

— Нѣтъ, Нелли, она меня не любитъ такъ, какъ я ее люблю, да и я... Нѣтъ, не будетъ этого, Нелли.

— А я бы вамъ обоимъ служила какъ служанка ваша, а вы бы жили и радовались, проговорила она чуть не шопотомъ, не смотря на меня.

„Что съ ней, что съ ней!“ подумалъ я, и вся душа пе-



ревернула въ мнѣ. Нелли замолчала и болѣе во весь вечеръ не сказала ни слова. Когда же я ушелъ, она заплакала, плакала весь вечеръ, какъ донесла мнѣ Александра Семеновна, и такъ и уснула въ слезахъ. Даже ночью, во снѣ, она плакала и что-то ночью говорила въ бреду.

Но съ этого дня она сдѣлалась еще угрюмѣе и молчаливѣе и совсѣмъ ужъ не говорила со мной. Правда, я замѣтилъ два - три взгляда ея, брошенные на меня украдкой, и въ этихъ взглядахъ было столько нѣжности! Но это проходило вмѣстѣ съ мгновеніемъ, вызвавшимъ эту внезапную нѣжность, и какъ бы въ отпоръ этому вызову, Нелли, чуть не съ каждымъ часомъ, дѣлалась все мрачнѣе, даже съ докторомъ, удивлявшимся перемѣнѣ ея характера. Между тѣмъ она уже совсѣмъ почти выздоровѣла, и докторъ позволилъ ей, наконецъ, погулять на свѣжемъ воздухѣ, но только очень немного. Погода стояла свѣтлая, теплая. Была Страстная недѣля, приходившаяся въ этотъ разъ очень поздно; я вышелъ поутру; мнѣ надо было непременно быть у Наташи, но я положилъ раньше воротиться домой, чтобъ взять Нелли и идти съ нею гулять; дома же покамѣстъ оставилъ ее одну.

Но не могу выразить, какой ударъ ожидалъ меня дома. Я спѣшилъ домой. Прихожу и вижу, что ключъ торчитъ снаружи у двери. Вхожу: никого нѣтъ. Я обмеръ. Смотрю: на столѣ бумажка и на ней написано карандашомъ, крупнымъ, неровнымъ почеркомъ:

„Я ушла отъ васъ и больше къ вамъ никогда не приду. Но я васъ очень люблю.

Ваша вѣрная Нелли“.

Я вскрикнулъ отъ ужаса и бросился вонъ изъ квартиры.

#### ГЛАВА IV.

Я еще не успѣлъ выбѣжать на улицу, не успѣлъ сообразить, что и какъ теперь дѣлать, какъ вдругъ увидѣлъ, что у нашихъ воротъ останавливаются дрожки и изъ дрожекъ выходитъ Александра Семеновна, ведя за руку Нелли. Она крѣпко держала ее, точно боялась, чтобъ она не убѣжала другой разъ. Я такъ и бросился къ нимъ.

— Нелли, что съ тобой! закричалъ я, — куда ты уходила, зачѣмъ?

— Постойте, не торопитесь; пойдете - ка поскорѣе къ вамъ, тамъ все и узнаете, зашебетала Александра Семеновна.

новна.—Какія вещи - то я вамъ расскажу, Иванъ Петровичъ, шептала она наскоро дорогою.— Дивиться только надо... Вотъ пойдѣте, сейчасъ узнаете.

На лицѣ ея было написано, что у ней были чрезвычайныя важныя новости.

— Ступай, Нелли, ступай, прилягъ немножко, сказала она, когда мы вошли въ комнаты,—вѣдь ты устала; шуткали, сколько обѣгала; а послѣ болѣзни-то тяжело; прилягъ, голубчикъ, прилягъ. А мы съ вами уйдемте - ка пока отсюда, не будемъ ей мѣшать, пусть уснетъ.

И она мигнула мнѣ, чтобъ я вышелъ съ ней въ кухню.

Но Нелли не прилегла, она сѣла на диванъ и закрыла обѣими руками лицо.

Мы вышли, и Александра Семеновна наскоро рассказала мнѣ въ чемъ дѣло. Потомъ я узналъ еще болѣе подробностей. Вотъ какъ это все было.

Уйдя отъ меня, часа за два до моего возвращенія, и оставивъ мнѣ записку, Нелли побѣжала сперва къ старичку - доктору. Адресъ его она успѣла вывѣдать еще прежде. Докторъ рассказывалъ мнѣ, что онъ такъ и обмеръ, когда увидѣлъ у себя Нелли, и все время, пока она была у него, „не вѣрилъ глазамъ своимъ“. „Я и теперь не вѣрю, прибавилъ онъ, въ заключеніе своего рассказа,—и никогда этому не повѣрю“. И однакожъ Нелли дѣйствительно была у него. Онъ сидѣлъ спокойно въ своемъ кабинетѣ, въ креслахъ, въ шлафрокѣ и за кофеемъ, когда она вбѣжала и бросилась къ нему на шею, прежде чѣмъ онъ успѣлъ опомниться. Она плакала, обнимала и цѣловала его, цѣловала ему руки и убѣдительно, хотя и безсвязно, просила его, чтобъ онъ взялъ ее жить къ себѣ; говорила, что не хочетъ и не можетъ болѣе жить со мной, потому и ушла отъ меня; что ей тяжело; что она уже не будетъ болѣе смѣяться надъ нимъ и говорить о новыхъ платьяхъ, и будетъ вести себя хорошо, будетъ учиться, выучится „манишки ему стирать и гладить“ (вѣроятно, она сообразила всю свою рѣчь дорогою, а, можетъ - быть, и раньше) и что, наконецъ, будетъ послушна и хоть каждый день будетъ принимать какіе угодно порошки. А что если она говорила тогда, что замужъ хотѣла за него выйти, такъ вѣдь это она шутила, что она и не думаетъ объ этомъ. Старый нѣмецъ былъ такъ ошеломленъ, что сидѣлъ все время разинувъ ротъ, поднявъ свою руку, въ которой держалъ сигару, и забывъ о сигарѣ, такъ что она и потухла.

— Мадмуазель, проговорилъ онъ, наконецъ, получивъ кое-какъ употребленіе языка,—мадмуазель, сколько я васъ понялъ, вы просите, чтобъ я вамъ далъ мѣсто у себя. Но это—невозможно! Вы видите, я очень стѣсненъ и не имѣю значительнаго дохода... И, наконецъ, такъ прямо, не подумавъ... Это ужасно! И, наконецъ, вы, сколько я вижу, бѣжали изъ своего дома. Это очень непохвально и невозможно... И, наконецъ, я вамъ позволилъ только немного гулять, въ ясный день, подъ надзоромъ вашего благодѣтеля, а вы бросаете своего благодѣтеля и бѣжите ко мнѣ, тогда какъ вы должны беречь себя и... и... принимать лѣкарство. И, наконецъ... наконецъ, я ничего не понимаю...

Нелли не дала ему договорить. Она снова начала плакать, снова упрашивать его, но ничего не помогло. Старичокъ все болѣе и болѣе впадалъ въ изумленіе и все болѣе и болѣе ничего не понималъ. Наконецъ, Нелли бросила его, вскрикнула: „Ахъ, Боже мой!“ и выбѣжала изъ комнаты. „Я былъ боленъ весь этотъ день, прибавилъ докторъ, заключая свой рассказъ,—и на ночь принялъ декоктъ...“

А Нелли бросилась къ Маслобоевымъ. Она запаслась и ихъ адресомъ и отыскала ихъ, хотя и не безъ труда. Маслобоевъ былъ дома. Александра Семеновна такъ и всплеснула руками, когда услышала просьбу Нелли взять ее къ нимъ. На ея же разспросы: почему ей такъ хочется, что ей, тяжело, что-ли, у меня? Нелли ничего не отвѣчала и бросилась рыдая на стулъ. „Она такъ рыдала, такъ рыдала, рассказывала мнѣ Александра Семеновна,—что я думала, она умретъ отъ этого“. Нелли просилась хоть въ горничныя, хоть въ кухарки, говорила, что будетъ полъ мести и научится бѣлье стирать. (На этомъ мытѣ бѣлья она основывала какія-то особенныя надежды и почему-то считала это самымъ сильнымъ прельщеніемъ, чтобъ ее взяли). Мнѣніе Александры Семеновны было оставить ее у себя до разъясненія дѣла, а мнѣ дать знать. Но Филиппъ Филиппычъ рѣшительно этому воспротивился и тотчасъ же приказалъ отвезти бѣглянку ко мнѣ. Дорогою Александра Семеновна обнимала и цѣловала ее, отчего Нелли еще больше начинала плакать. Смотря на нее, расплакалась и Александра Семеновна. Такъ обѣ всю дорогу и плакали.

— Да почему же, почему же, Нелли, ты не хочешь у него жить; что онъ, обижаетъ тебя, что-ли? спрашивала, заливаясь слезами, Александра Семеновна.

— Нѣтъ, не обижаютъ...

— Ну, такъ отчего же?

— Такъ, не хочу у него жить... не могу... я такая съ нимъ все злая... а онъ добрый... а у васъ я не буду злая, я буду работать, проговорила она, рыдая какъ въ истерикѣ.

— Отчего же ты съ нимъ такая злая, Нелли?..

— Такъ...

— И только я отъ нея это: „такъ“ и выпытала, заключила Александра Семеновна, отирая свои слезы.—Что это она за горемычная такая? Родимецъ, что-ли, это? Какъ вы думаете, Иванъ Петровичъ?

Мы вошли къ Нелли; она лежала, скрывъ лицо въ подушкахъ, и плакала. Я сталъ передъ ней на колѣни, взявъ ея руки и началъ цѣловать ихъ. Она вырвала у меня руки и зарыдала еще сильнѣе. Я не зналъ, что и говорить. Въ эту минуту вошелъ старикъ Ихменевъ.

— А я къ тебѣ по дѣлу, Иванъ, здравствуй! сказалъ онъ, оглядывая насъ всѣхъ и съ удивленіемъ видя меня на колѣняхъ.

Старикъ былъ боленъ все послѣднее время. Онъ былъ блѣденъ и худъ, но какъ будто храбрясь передъ кѣмъ-то, презиралъ свою болѣзнь, не слушалъ увѣщаній Анны Андреевны, не ложился и продолжалъ ходить по своимъ дѣламъ.

— Прощайте покамѣстъ, сказала Александра Семеновна, пристально посмотрѣвъ на старика. — Мнѣ Филиппъ Филиппычъ приказалъ какъ можно скорѣе воротиться. Дѣло у насъ есть. А вечеромъ, въ сумерки, приѣду къ вамъ, часика два посижу.

— Кто такая? шепнулъ мнѣ старикъ, повидимому, думая о другомъ.

Я объяснилъ.

— Гм! А вотъ я по дѣлу, Иванъ...

Я зналъ, по какому онъ дѣлу, и ждалъ его посѣщенія. Онъ пришелъ переговорить со мной и съ Нелли и перепросить ее у меня. Анна Андреевна соглашалась, наконецъ, взять въ домъ сиротку. Случилось это вслѣдствіе нашихъ тайныхъ разговоровъ: я убѣдилъ Анну Андреевну и сказалъ ей, что видъ сиротки, которой мать была тоже проклята своимъ отцомъ, можетъ-быть, повернетъ сердце нашего старика на другія мысли. Я такъ ярко разъяснилъ ей свой планъ, что она теперь сама уже стала приста-

вать къ мужу, чтобъ взять сиротку. Старикъ съ готовностью принялся за дѣло: ему хотѣлось, во-первыхъ, угодить своей Аннѣ Андреевнѣ, а во-вторыхъ, у него были свои соображенія... Но все это я объясню потомъ подробнѣе...

Я сказалъ уже, что Нелли не любила старика еще съ перваго его посѣщенія. Потомъ я замѣтилъ, что даже какая-то ненависть проглядывала въ лицѣ ея, когда произносили при ней имя Ихменева. Старикъ началъ дѣло тотчасъ же, безъ околичностей. Онъ прямо подошелъ къ Нелли, которая все еще лежала, скрывъ лицо свое въ подушкахъ, и, взявъ ее за руку, спросилъ: хочеть-ли она перейти къ нему жить вмѣсто дочери?

— У меня была дочь, я ее любилъ больше самого себя, заключилъ старикъ, — но теперь ее нѣтъ со мной. Она умерла. Хочешь-ли ты заступитъ ея мѣсто въ моемъ домѣ и... въ моемъ сердцѣ?

И въ его глазахъ, сухихъ и воспаленныхъ отъ лихорадочнаго жара, накипѣла слеза.

— Нѣтъ, не хочу, отвѣчала Нелли, не подымая головы.

— Почему же, дитя мое? У тебя нѣтъ никого. Иванъ не можетъ держать тебя вѣчно при себѣ, а у меня ты будешь какъ въ родномъ домѣ.

— Не хочу, потому что вы злой. Да, злой, злой, прибавила она, подымая голову и садясь на постели противъ старика. — Я сама злая, и злѣе всѣхъ, но вы еще злѣе меня!..

Говоря это, Нелли поблѣднѣла, глаза ея засверкали; даже дрожавшія губы ея поблѣднѣли и искривились отъ прилива какого-то сильнаго ощущенія. Старикъ въ недоумѣніи смотрѣлъ на нее.

— Да, злѣе меня, потому что вы не хотите простить свою дочь; вы хотите забыть ее совѣмъ и берете къ себѣ другое дитя, а развѣ можно забыть свое родное дитя? Развѣ вы будете любить меня? Вѣдь какъ только вы на меня взглянете, такъ и вспомните, что я вамъ чужая, и что у васъ была своя дочь, которую вы сами забыли, потому что вы жестокой человѣкъ. А я не хочу жить у жестокихъ людей; не хочу, не хочу!..

Нелли всхлипнула и мелькомъ взглянула на меня.

— Послѣзавтра Христось воскресъ, всѣ цѣлуются и обнимаются, всѣ мирятся, всѣ вины прощаются... Я вѣдь знаю... Только вы... одинъ вы... у, жестокой! Подите прочь!

Она залилась слезами. Эту рѣчь она, кажется, давно уже сообразила и вытвердила, на случай, если старикъ еще разъ будетъ ее приглашать къ себѣ. Старикъ былъ пораженъ и поблѣднѣлъ. Болѣзненное ощущеніе выразилось въ лицѣ его.

— И къ чему, къ чему, зачѣмъ обо мнѣ всѣ такъ беспокоятся? Я не хочу, не хочу! вскрикнула вдругъ Нелли въ какомъ-то изступленіи.—Я милостыню пойду просить!

— Нелли, чтѣ съ тобой? Нелли, другъ мой! вскрикнулъ я невольно, но восклицаніемъ моимъ только подлилъ къ огню масла.

— Да, я буду лучше ходить по улицамъ и милостыню просить, а здѣсь не останусь! кричала она, рыдая.—И мать моя милостыню просила, а когда умирала, сама сказала мнѣ: будь бѣдная, и лучше милостыню проси, чѣмъ... Милостыню не стыдно просить: я не у одного человѣка прошу, я у всѣхъ прошу, а всѣ не одинъ человѣкъ; у одного стыдно, а у всѣхъ не стыдно; такъ мнѣ одна нищенка говорила; вѣдь я маленькая, мнѣ негдѣ взять. Я у всѣхъ и прошу, не хочу, не хочу, я злая, я злѣе всѣхъ; вотъ какая я злая!

И Нелли вдругъ совершенно неожиданно схватила со столика чашку и бросила ее объ полъ.

— Вотъ теперь и разбилась, прибавила она, съ какимъ-то вызывающимъ торжествомъ смотря на меня,—чашекъ-то всего двѣ, прибавила она,—я и другую разобью... Тогда изъ чего будете чай-то пить?

Она была какъ взбѣшенная, и какъ будто сама ощущала наслажденіе въ этомъ бѣшенствѣ, какъ будто сама сознавала, что это и стыдно, и не хорошо, и въ то же время какъ будто поджигала себя на дальнѣйшія выходки.

— Она больна у тебя, Ваня, вотъ чтѣ, сказалъ старикъ,—или... или я ужъ и не понимаю чтѣ это за ребенокъ. Прощай!

Онъ взялъ свою фуражку и пожалъ мнѣ руку. Онъ былъ какъ убитый; Нелли страшно оскорбила его; все поднялось во мнѣ.

— И не пожалѣла ты его, Нелли! вскричалъ я, когда мы остались одни;—и не стыдно, не стыдно тебѣ! Нѣтъ, ты не добрая, ты и вправду злая!

И какъ былъ безъ шляпы, такъ и побѣжалъ я вслѣдъ за старикомъ. Мнѣ хотѣлось проводить его до воротъ и хоть два слова сказать ему въ утѣшеніе. Сбѣгая съ лѣст-

ницы, я какъ будто еще видѣлъ передъ собой лицо Нелли, страшно поблѣднѣвшее отъ моихъ упрековъ.

Я скоро догналъ моего старика.

— Бѣдная дѣвочка оскорблена, и у ней свое горе, вѣрь мнѣ, Иванъ, а я ей о своемъ сталъ расписывать, сказалъ онъ, горько улыбаясь. — Я растравилъ ея рану. Говорятъ, что сытый голоднаго не разумѣетъ; а я, Ваня, прибавлю, и голодный голоднаго не всегда пойметъ. Ну, прощай!

Я было заговорилъ о чемъ-то постороннемъ; но старикъ только рукой махнулъ.

— Полно меня-то утѣшать; лучше смотри, чтобъ твоя-то не убѣжала отъ тебя; она такъ и смотритъ, прибавилъ онъ съ какимъ-то озлобленіемъ и пошелъ отъ меня скорыми шагами, помахивая и постукивая своей палкой по тротуару.

Онъ и не ожидалъ, что будетъ пророкомъ.

Что сдѣлалось со мной, когда, воротясь къ себѣ, я, къ ужасу моему, опять не нашелъ дома Нелли! Я бросился въ сѣни, искалъ ее на лѣстницѣ, кликалъ, стучался даже у сосѣдей и спрашивалъ о ней; повѣрить я не могъ и не хотѣлъ, что она опять бѣжала. И какъ она могла убѣжать? Ворота въ домъ одни; она должна была пройти мимо насъ, когда я разговаривалъ со старикомъ. Но скоро, къ большому моему унынію, я сообразилъ, что она могла прежде спрятаться гдѣ-нибудь на лѣстницѣ и выждать, пока я пройду обратно домой, а потомъ бѣжать, такъ что я никакъ не могъ ее встрѣтить. Во всякомъ случаѣ она не могла далеко уйти.

Въ сильномъ безпокойствѣ выбѣжалъ я опять на поски, оставивъ на всякій случай квартиру отпертою.

Прежде всего я отправился къ Маслобоевымъ. Маслобоевыхъ я не засталъ дома, ни его, ни Александры Семеновны. Оставивъ у нихъ записку, въ которой извѣщалъ ихъ о новой бѣдѣ и прося, если къ нимъ придетъ Нелли, немедленно дать мнѣ знать, я пошелъ къ доктору: того тоже не было дома, служанка объявила мнѣ, что кромѣ давешняго посѣщенія, другого не было. Что было дѣлать? Я отправился къ Вубновой и узналъ отъ знакомой мнѣ гробовщицы, что хозяйка со вчерашняго дня сидитъ за что-то въ полиціи, а Нелли тамъ съ *тѣхъ поръ* и не видали. Усталый, измученный, я побѣжалъ опять къ Маслобоевымъ; тотъ же отвѣтъ: никого не было, да и они сами

еще не возвращались. Записка моя лежала на столѣ. Что было мнѣ дѣлать?

Въ смертельной тоскѣ возвращался я къ себѣ домой поздно вечеромъ. Мнѣ надо было въ этотъ вечеръ быть у Наташи; она сама звала меня еще утромъ. Но я даже и не ѣлъ ничего въ этотъ день; мысль о Нелли возмущала всю мою душу.

„Что-же это такое? думаль я.—Неужели-жъ это такое мудреное слѣдствіе болѣзни? Ужъ не сумасшедшая-ли она или сходить съ ума? Но Боже мой,—гдѣ она теперь, гдѣ я сыщу ее!“ Только что я это воскликнулъ, какъ вдругъ увидѣлъ Нелли, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня, на В—мъ мосту. Она стояла у фонаря и меня не видала. Я хотѣлъ бѣжать къ ней, но остановился: „Что-жъ это она здѣсь дѣлаетъ?“ подумаль я въ недоумѣніи и, увѣренный, что теперь ужъ не потеряю ее, рѣшился ждать и наблюдать за ней. Прошло минутъ десять, она все стояла, по-сматривая на прохожихъ. Наконецъ, прошелъ одинъ старичокъ, хорошо одѣтый, и Нелли подошла къ нему: тотъ, не останавливаясь, вынулъ что-то изъ кармана и подалъ ей. Она ему поклонилась. Не могу выразить, что почувствовалъ я въ это мгновеніе. Мучительно сжалось мое сердце; какъ будто что-то дорогое, что я любилъ, лелѣялъ и миловалъ, было опозорено и оплевано передо мной въ эту минуту, но вмѣстѣ съ тѣмъ и слезы потекли изъ глазъ моихъ.

Да, слезы о бѣдной Нелли, хотя я въ то же время чувствовалъ непримиримое негодованіе: она не отъ нужды просила; она была не брошенная, не оставленная кѣмъ-нибудь на произволь судьбы; бѣжала не отъ жестокихъ притѣснителей, а отъ друзей своихъ, которые ее любили и лелѣяли. Она какъ будто хотѣла кого-то изумить или испугать своими подвигами; точно она хвасталась передъ кѣмъ-то! Но что-то тайное зрѣло въ ея душѣ... Да, старикъ былъ правъ; она оскорблена, рана ея не могла зажить, и она какъ бы нарочно старалась растравлять свою рану этой таинственностью, этой недовѣрчивостью ко всѣмъ намъ; точно она наслаждалась сама своей болью, этимъ *эпизмомъ страданія*, если такъ можно выразиться. Это растравленіе боли и это наслажденіе ею было мнѣ понятно: это наслажденіе многихъ обиженныхъ и оскорбленныхъ, пригнетенныхъ судьбою и сознающихъ въ себѣ ея несправедливость. Но на какую же несправедливость нашу могла пожаловаться Нелли? Она какъ будто хотѣла насъ



удивить и испугать своими подвигами, своими капризами и дикими выходками, точно она въ самомъ дѣлѣ передъ нами хвалилась... Но нѣтъ! Она теперь одна, никто не видитъ изъ насъ, что она просила милостыню. Неужели-жъ она сама про себя находила въ этомъ наслажденіе? Для чего ей милостыня, для чего ей деньги?

Получивъ подаваніе, она сошла съ моста и подошла къ ярко освѣщеннымъ окнамъ одного магазина. Тутъ она принялась считать свою добычу; я стоялъ въ десяти шагахъ. Денегъ въ рукѣ ея было уже довольно; видно, что она съ самаго утра просила. Зажавъ ихъ въ рукѣ, она перешла черезъ улицу и вошла въ мелочную лавочку. Я тотчасъ же подошелъ къ дверямъ лавочки, отвореннымъ настежь, и смотрѣлъ: чтò она тамъ будетъ дѣлать?

Я видѣлъ, что она положила на прилавокъ деньги и ей подали чашку, простую чайную чашку, очень похожую на ту, которую она давеча разбила, чтобъ показать мнѣ и Ихменеву, какая она злая. Чашка эта стоила, можетъ-быть, копеекъ пятнадцать, можетъ-быть, даже и меньше. Купецъ завернулъ ее въ бумагу, завязалъ и отдалъ Нелли, которая торопливо, съ довольнымъ видомъ, вышла изъ лавочки.

— Нелли! вскрикнулъ я, когда она поровнялась со мною, — Нелли!

Она вздрогнула, взглянула на меня, чашка выскользнула изъ ея рукъ, упала на мостовую и разбилась. Нелли была блѣдна; но, взглянувъ на меня и увѣрившись, что я все видѣлъ и знаю, вдругъ покраснѣла; этой краской сказывался нестерпимый, мучительный стыдъ. Я взялъ ее за руку и повелъ домой; идти было недалеко. Мы ни слова не промолвили дорогою. Придя домой, я сѣлъ; Нелли стояла передо мной, задумчивая и смущенная, блѣдная попрежнему, опустивъ въ землю глаза. Она не могла смотрѣть на меня.

— Нелли, ты просила милостыню?

— Да! прошептала она и еще больше потупилась.

— Ты хотѣла набрать денегъ, чтобъ купить разбитую давеча чашку?

— Да...

— Но развѣ я попрекалъ тебя, развѣ я бранилъ тебя за эту чашку? Неужели-жъ ты не видишь, Нелли, сколько злого, самодовольно злого въ твоёмъ поступкѣ? Хорошо-ли это? Неужели тебѣ не стыдно? Неужели...

— Стыдно... прошептала она чуть слышнымъ голосомъ и слезинка покатила по ея щекѣ.

— Стыдно... повторилъ я за нею.—Нелли, милая, если я виноватъ передъ тобой, прости меня и помиримся.

Она взглянула на меня, слезы брызнули изъ ея глазъ, и она бросилась ко мнѣ на грудь.

Въ эту минуту влетѣла Александра Семеновна.

— Что! Она дома? Опять? Ахъ, Нелли, Нелли, что это съ тобой дѣлается? Ну, да хорошо, что, по крайней мѣрѣ, дома... Гдѣ вы отыскиали ее, Иванъ Петровичъ?

Я мигнулъ Александрѣ Семеновнѣ, чтобъ она не спрашивала, и она поняла меня. Я нѣжно простился съ Нелли, которая все еще горько плакала, и упробиль добренькую Александру Семеновну посидѣть съ ней до моего возвращенія, а самъ побѣжалъ къ Наташѣ. Я опоздалъ и торопился.

Въ этотъ вечеръ рѣшалась наша судьба: намъ было много о чемъ говорить съ Наташей, но я все-таки ввернулъ словечко о Нелли и рассказалъ все, что случилось, со всѣми подробностями. Разсказъ мой очень заинтересовалъ и даже поразилъ Наташу.

— Знаешь что, Ваня, сказала она, подумавъ,—мнѣ кажется, она тебя любитъ.

— Что... какъ это? спросилъ я въ удивленіи.

— Да, это начало любви, женской любви...

— Что ты, Наташа, полно! Вѣдь она ребенокъ!

— Которому скоро четырнадцать лѣтъ. Это ожесточеніе оттого, что ты не понимаешь ея любви, да и она-то, можетъ-быть, сама не понимаетъ себя; ожесточеніе, въ которомъ много дѣтскаго, но серьезное, мучительное. Главное—она ревнуетъ тебя ко мнѣ. Ты такъ меня любишь, что вѣрно и дома только обо мнѣ одной заботишься, говоришь и думаешь, а потому на нее обращаешь мало вниманія. Она замѣтила это, и ее это уязвило. Она, можетъ-быть, хочетъ говорить съ тобой, чувствуетъ потребность раскрыть передъ тобой свое сердце, не умѣетъ, стыдится, сама не понимаетъ себя, ждетъ случая, а ты, вмѣсто того, чтобъ ускорить этотъ случай, отдаляешься отъ нея, убѣгаешь отъ нея ко мнѣ и даже, когда она была больна, по цѣлымъ днямъ оставлялъ ее одну. Она и плачетъ объ этомъ; ей тебя недостаетъ и хуже всего ей больно, что ты этого не замѣчаешь. Ты вотъ и теперь, въ такую минуту, оставилъ ее одну для меня. Да она

больна будетъ завтра отъ этого. И какъ ты могъ оставить ее? Ступай къ ней скорѣе...

— Я и не оставилъ бы ее, но...

— Ну, да, я сама тебя просила придти. А теперь ступай.

— Пойду, но только, разумѣется, я ничему этому не вѣрю.

— Оттого, что все это на другихъ не похоже. Вспомни ея исторію, сообрази все, и повѣришь. Она росла не такъ, какъ мы съ тобой...

Воротился я все-таки поздно. Александра Семеновна рассказала мнѣ, что Нелли опять, какъ въ тотъ вечеръ, очень много плакала „и такъ и уснула въ слезахъ“, какъ тогда.

— А ужъ теперь я уйду, Иванъ Петровичъ, такъ и Филиппъ Филиппычъ приказалъ. Ждетъ онъ меня, бѣдный.

Я поблагодарилъ ее и сѣлъ у изголовья Нелли. Мнѣ самому было тяжело, что я могъ оставить ее въ такую минуту. Долго, до глубокой ночи, сидѣлъ я надъ нею задумавшись... Роковое было это время.

Но надо рассказать, что случилось въ эти двѣ недѣли.

## ГЛАВА V.

Послѣ достопамятнаго для меня вечера, проведеннаго мною съ княземъ въ ресторанѣ у Б., я нѣсколько дней сряду былъ въ постоянномъ страхѣ за Наташу. „Чѣмъ грозилъ ей этотъ проклятый князь и чѣмъ именно хотѣлъ отмстить ей?“ спрашивалъ я самъ себя поминутно и терялся въ разныхъ предположеніяхъ. Я пришелъ, наконецъ, къ заключенію, что угрозы его были не вздоръ, не фанфаронство, и что покамѣстъ она живетъ съ Алешей, князь дѣйствительно могъ надѣлать ей много непріятностей. Онъ мелочень, мстителень, золь и расчетливъ, думалъ я. Трудно, чтобъ онъ могъ забыть оскорбленіе и не воспользоваться какимъ-нибудь случаемъ къ отмщенію. Во всякомъ случаѣ, онъ указалъ мнѣ на одинъ пунктъ во всемъ этомъ дѣлѣ и высказался насчетъ этого пункта довольно ясно: онъ настоятельно требовалъ разрыва Алеши съ Наташей и ожидалъ отъ меня, чтобъ я приготовилъ ее къ близкой разлукѣ, и такъ приготовилъ, чтобъ не было „сценъ, пасторалей и шиллеровщины“. Разумѣется, онъ хлопоталъ всего болѣе о томъ, чтобъ Алеша остался имъ доволенъ и продолжалъ его считать нѣжнымъ отцомъ; а это ему было очень нужно для удобнѣйшаго овладѣнія

впослѣдствіи Катиными деньгами. И такъ, мнѣ предстояло приготовить Наташу къ близкой разлукѣ. Но въ Наташѣ я замѣтилъ сильную переѣну; прежней откровенности ея со мною и помину не было; мало того, она какъ будто стала со мной недовѣрчива. Утѣшенія мои ея только мучили; мои разспросы все болѣе и болѣе досаждали ей, даже сердили ея. Сижу, бывало, у ней, гляжу на нее. Она ходитъ, скрестивъ руки, по комнатѣ изъ угла въ уголъ, мрачная, блѣдная, какъ будто въ забытіи, забывъ даже, что и я тутъ, подлѣ нея. Когда же ей случалось взглянуть на меня (а она даже и взглядовъ моихъ избѣгала), то нетерпѣливая досада вдругъ проглядывала въ ея лицѣ и она быстро отворачивалась. Я понималъ, что она сама обдумывала, можетъ-быть, какой-нибудь свой собственный планъ о близкомъ, предстоящемъ разрывѣ и могла-ли она его безъ боли, безъ горечи обдумывать? А я былъ убѣжденъ, что она уже рѣшилась на разрывъ. Но все-таки меня мучило и пугало ея мрачное отчаяніе. Къ тому же, говорить съ ней, утѣшать ее я иногда и не смѣлъ, а потому со страхомъ ожидалъ, чѣмъ это все разрѣшится.

Что же касается до ея суроваго и неприступнаго вида со мной, то это меня хоть и беспокоило, хоть и мучило, но я былъ увѣренъ въ сердцѣ моей Наташи: я видѣлъ, что ей очень тяжело и что она была слишкомъ разстроена. Всякое постороннее вмѣшательство возбуждало въ ней только досаду, злобу. Въ такомъ случаѣ особенно вмѣшательство близкихъ друзей, знающихъ наши тайны, становится намъ всего досаднѣе. Но я зналъ тоже очень хорошо, что въ послѣднюю минуту Наташа придетъ же ко мнѣ снова и въ моемъ же сердцѣ будетъ искать себѣ облегченія.

О моемъ разговорѣ съ княземъ я, разумѣется, ей умолчалъ: рассказъ мой только бы взволновалъ и разстроилъ ее еще болѣе. Я сказалъ ей только такъ, мимоходомъ, что былъ съ княземъ у графини и убѣдился, что онъ ужасный подлець. Но она и не разспрашивала про него, чему я былъ очень радъ; зато жадно выслушала все, что я рассказалъ ей о моемъ свиданіи съ Катей. Выслушавъ, она тоже ничего не сказала и о ней, но краска покрыла ея блѣднее лицо, и весь почти этотъ день она была въ особенномъ волненіи. Я не скрылъ ничего о Катѣ и прямо признался, что даже и на меня Катя произвела прекрас-

ное впечатлѣніе. Да и къ чему было скрывать? Вѣдь Наташа угадала бы, что я скрываю, и только [разсердилась бы на меня за это. А потому я нарочно рассказывалъ какъ можно подробнѣе, стараясь предупредить всѣ ея вопросы, тѣмъ болѣе, что ей самой, въ ея положеніи, трудно было меня спрашивать: легко-ли въ самомъ дѣлѣ, подъ видомъ равнодушія, выпытывать о совершенствахъ своей соперницы?

Я думалъ, что она еще не знаетъ, что Алеша, по непремѣнному распоряженію князя, долженъ былъ сопровождать графиню и Катю въ деревню, и затруднялся, какъ открыть ей это, чтобъ, по возможности, смягчить ударъ. Но каково же было мое изумленіе, когда Наташа съ первыхъ же словъ остановила меня и сказала, что нечего ее *утѣшать*, что она уже пять дней какъ знаетъ про это.

— Боже мой! вскричалъ я,—да кто же тебѣ сказалъ?

— Алеша.

— Какъ? Онъ уже сказалъ?

— Да, и я на все рѣшилась, Ваня, прибавила она съ такимъ видомъ, который ясно и какъ-то нетерпѣливо предупреждалъ меня, чтобъ я и не продолжалъ этого разговора.

Алеша довольно часто бывалъ у Наташи, но все на минутку; одинъ разъ только просидѣлъ у ней нѣсколько часовъ сряду, но это было безъ меня. Входилъ онъ обыкновенно грустный, смотрѣлъ на нее робко и нѣжно; но Наташа такъ нѣжно, такъ ласково встрѣчала его, что онъ тотчасъ же все забывалъ и развеселялся. Ко мнѣ онъ тоже началъ ходить очень часто, почти каждый день. Правда, онъ очень мучился, но не могъ и минуты пробыть одинъ съ своей тоской и поминутно прибѣгалъ ко мнѣ за утѣшеніемъ.

Что могъ я сказать ему? Онъ упрекалъ меня въ холодности, въ равнодушіи, даже въ злобѣ къ нему; тосковалъ, плакалъ, уходилъ къ Катѣ и ужъ тамъ утѣшался.

Въ тотъ день, когда Наташа объявила мнѣ, что знаетъ про отъѣздъ (это было съ недѣлю послѣ разговора моего съ княземъ), онъ вбѣжалъ ко мнѣ въ отчаяніи, обнялъ меня, упалъ ко мнѣ на грудь и зарыдалъ какъ ребенокъ. Я молчалъ и ждалъ, что онъ скажетъ.

— Я низкій, я подлый человекъ, Ваня, началъ онъ мнѣ, — спаси меня отъ меня самого. Я не оттого плачу, что я низокъ и подлъ, но оттого, что черезъ меня На-

таша будетъ несчастна. Вѣдь я оставляю ее на несчастье... Ваня, другъ мой, скажи мнѣ, рѣши за меня, кого я больше люблю изъ нихъ: Катю или Наташу?

— Этого я не могу рѣшить, Алеша, отвѣчалъ я,—тебѣ лучше знать, чѣмъ мнѣ...

— Нѣтъ, Ваня, не то; вѣдь я не такъ глупъ, чтобъ задавать такіе вопросы; но въ томъ-то и дѣло, что я тутъ и самъ ничего не знаю. Я спрашиваю себя и не могу отвѣтить. А ты смотришь со стороны и, можетъ, больше моего знаешь... Ну, хоть и не знаешь, то скажи, какъ тебѣ кажется?

— Мнѣ кажется, что Катю ты больше любишь.

— Тебѣ такъ кажется! Нѣтъ, нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ! Ты совсѣмъ не угадалъ. Я безпредѣльно люблю Наташу. Я ни за что, никогда не могу ее оставить; я это и Катѣ сказалъ, и Катя совершенно со мною согласна. Что-жъ ты молчишь? Вотъ, я видѣлъ, ты сейчасъ улыбнулся. Эхъ, Ваня, ты никогда не утѣшалъ меня, когда мнѣ было слишкомъ тяжело, какъ теперь... Прощай!

Онъ выбѣжалъ изъ комнаты, оставивъ чрезвычайное впечатлѣніе въ удивленной Нелли, молча выслушавшей нашъ разговоръ. Она тогда была еще больна, лежала въ постели и принимала лѣкарство. Алеша никогда не заговаривалъ съ нею и, при посѣщеніяхъ своихъ, почти не обращалъ на нее никакого вниманія.

Черезъ два часа онъ явился снова и я удивился его радостному лицу. Онъ опять бросился ко мнѣ на шею и обнялъ меня.

— Конечно дѣло! вскричалъ онъ,—всѣ недоумѣнія разрѣшены. Отъ васъ я прямо пошелъ къ Наташѣ: я былъ разстроень, я не могъ быть безъ нея. Войдя, я упалъ передъ ней на колѣни и цѣловалъ ея ноги: мнѣ это нужно было, мнѣ хотѣлось этого; безъ этого я бы умеръ съ тоски. Она молча обняла меня и заплакала. Тутъ я прямо ей сказалъ, что Катю люблю больше ея.

— Что-жъ она?

— Она ничего не отвѣчала, а только ласкала и утѣшала меня,—меня, который ей это сказалъ! Она умѣетъ утѣшать, Иванъ Петровичъ! О, я выплакалъ передъ ней все мое горе, все ей высказалъ. Я прямо сказалъ, что люблю очень Катю, но что какъ бы я ее ни любилъ и кого бы я ни любилъ, а все-таки безъ нея, безъ Наташи, обойтись не могу и умру. Да, Ваня, дня не проживу безъ

нея, я это чувствую, да! И потому мы рѣшили немедленно съ ней обвѣнчаться; а такъ какъ до отъѣзда нельзя этого сдѣлать, потому что теперь Великій постъ и вѣнчать не стануть, то ужъ по пріѣздѣ моемъ, а это будетъ къ первому іюня. Отецъ позволить, въ этомъ нѣтъ и сомнѣнія. Что же касается до Кати, то что-жъ такое! Я вѣдь не могу же жить безъ Наташи... Обвѣнчаемся и тоже туда съ ней поѣдемъ, гдѣ Кати...

Бѣдная Наташа! Каково было ей утѣшать этого мальчика, сидѣть надъ нимъ, выслушать его признаніе и выдумать ему, наивному эгоисту, для спокойствія его, сказку о скоромъ бракѣ. Алеша дѣйствительно на нѣсколько дней успокоился. Онъ и бѣгалъ къ Наташѣ собственно изъ того, что слабое сердце его не въ силахъ было одно перенести печали. Но все-таки, когда время начало приближаться къ разлукѣ, онъ опять впалъ въ безпокойство, въ слезы, и опять прибѣгалъ ко мнѣ и выплакивалъ свое горе. Въ послѣднее время онъ такъ привязался къ Наташѣ, что не могъ ее оставить и на день, не только на полтора мѣсяца. Онъ вполнѣ былъ однакожъ увѣренъ, до самой послѣдней минуты, что оставляетъ ее только на полтора мѣсяца и что по возвращеніи его будетъ ихъ свадьба. Что же касается до Наташи, то она, въ свою очередь, вполнѣ понимала, что вся судьба ея мѣняется, что Алеша ужъ никогда теперь къ ней не воротится, и что такъ тому и слѣдуетъ быть.

День разлуки ихъ наступилъ. Наташа была больна, — блѣдная, съ воспаленнымъ взглядомъ, съ запекшимися губами, изрѣдка разговаривала сама съ собою, изрѣдка быстро и пронзительно взглядывала на меня, не плакала, не отвѣчала на мои вопросы и вздрагивала какъ листокъ на деревѣ, когда раздавался звонкій голосъ входящаго Алеши. Она вспыхивала какъ зарево и спѣшила къ нему; судорожно обнимала, цѣловала его, смѣялась... Алеша взглядывался въ нее, иногда съ безпокойствомъ спрашивалъ, здорова-ли она, утѣшалъ, что уѣзжаетъ не надолго, что потомъ ихъ свадьба. Наташа дѣлала видимыя усилія, перемогала себя и давила свои слезы. Она не плакала передъ нимъ.

Одинъ разъ онъ заговорилъ, что надо оставить ей денегъ на все время его отъѣзда, и чтобъ она не безпокоилась, потому что отецъ обѣщалъ ему дать много на дорогу. Наташа нахмурилась. Когда же мы остались вдвоемъ, я

объявилъ, что у меня есть для нея *сто пятьдесятъ рублей*, на всякій случай. Она не спрашивала откуда эти деньги. Это было за два дня до отъѣзда Алеши и наканунѣ перваго и послѣдняго свиданія Наташи съ Катей. Катя прислала съ Алешей записку, въ которой просила Наташу позволить посѣтить себя завтра; при чемъ писала и ко мнѣ: она просила и меня присутствовать при ихъ свиданіи.

Я непремѣнно рѣшился быть, въ двѣнадцать часовъ (назначенный Катей часъ), у Наташи, несмотря ни на какія задержки; а хлопотъ и задержекъ было много. Не говоря уже о Нелли, въ послѣднее время мнѣ было много хлопотъ у Ихменевыхъ.

Эти хлопоты начались еще недѣлю назадъ. Анна Андреевна прислала въ одно утро за мною, съ просьбой бросить все и немедленно спѣшить къ ней, по очень важному дѣлу, не терпящему ни малѣйшаго отлагательства. Придя къ ней, я засталъ ее одну: она ходила по комнатѣ, вся въ лихорадкѣ отъ волненія и испуга, съ трепетомъ ожидая возвращенія Николая Сергѣича. По обыкновенію, я долго не могъ добиться отъ нея, въ чемъ дѣло и чего она такъ испугалась, а между тѣмъ, очевидно, каждая минута была дорога. Наконецъ, послѣ горячихъ и ненужныхъ дѣлу попрековъ: „зачѣмъ я не хожу и оставляю ихъ, какъ сиротъ, однихъ въ горѣ“, такъ что ужъ „Богъ знаетъ, что безъ меня происходитъ“, — она объявила мнѣ, что Николай Сергѣичъ, въ послѣдніе три дня, былъ въ такомъ волненіи, „что и описать невозможно“.

— Просто на себя не похожъ, говорила она, — въ лихорадкѣ, по ночамъ, тихонько отъ меня, на колѣнкахъ передъ образомъ молится, во снѣ бредитъ, а наяву какъ полоумный: стали вчера ѣсть щи, а онъ ложку подлѣ себя отыскать не можетъ, спросишь его про одно, а онъ отвѣчаетъ про другое. Изъ дому сталъ поминутно уходить: „все по дѣламъ, говорить, ухожу, адвоката видѣть надо“; наконецъ, сегодня утромъ заперся у себя въ кабинетѣ; „мнѣ, говорить, нужную бумагу по тяжбному дѣлу надо писать“. Ну, какую, думаю про себя, тебѣ бумагу писать, когда ложку подлѣ прибора не могъ отыскать? Однако въ замочную щелку я подсмотрѣла: сидитъ, пишетъ, а самъ такъ и заливадается-плачетъ. Какую же такую, думаю, дѣловую бумагу такъ пишутъ? Али, можетъ, ему ужъ такъ Ихменевку нашу жалко; стало-быть, ужъ



совсѣмъ пропала наша Ихменевка! Вотъ думаю я это, а онъ вдругъ вскочилъ изъ-за стола, да какъ ударить перомъ по столу, раскраснѣлся, глаза сверкають, схватился за фуражку и выходитъ ко мнѣ. „Я, говорить, Анна Андреевна, скоро приду“. Ушелъ онъ, а я тотчасъ же къ его столику письменному; бумагъ у него по нашей тяжбѣ тамъ пропасть такая лежитъ, что ужъ онъ мнѣ и прикасаться къ нимъ не позволяетъ. Сколько разъ, бывало, прошу: „дай ты мнѣ хоть разъ бумаги поднять, я бы пыль со столика стерла“. Куды, закричитъ, замашетъ руками: нетерпѣливый онъ такой сталъ здѣсь въ Петербургѣ, крикунъ. Такъ вотъ я къ столику-то подошла и ищу: которая это бумага, чтó онъ сейчасъ-то писалъ. Потому доподлинно знаю, что онъ ее съ собой не взялъ, а когда вставалъ изъ-за стола, то подъ другія бумаги сунулъ. Ну, вотъ, батюшка Иванъ Петровичъ, чтó я нашла, посмотри-ка.

И она подала мнѣ листъ почтовой бумаги, вполонину исписанный, но съ такими помарками, что въ иныхъ мѣстахъ разобрать было невозможно.

Бѣдный старикъ! Съ первыхъ строкъ можно было догадаться, чтó и къ кому онъ писалъ. Это было письмо къ Наташѣ, къ возлюбленной его Наташѣ. Онъ начиналъ горячо и нѣжно; онъ обращался къ ней съ прощеніемъ и звалъ ее къ себѣ. Трудно было разобрать все письмо, написанное нескладно и отрывисто, съ безчисленными помарками. Видно только было, что горячее чувство, заставившее его схватить перо и написать первыя, задушевные строки, быстро, послѣ этихъ первыхъ строкъ, переродилось въ другое: старикъ начиналъ укорять дочь, яркими красками описывалъ ей ея преступленіе, съ негодованіемъ напоминалъ ей объ ея упорствѣ, упрекалъ въ безчувственности, въ томъ, что она ни разу, можетъ быть, и не подумала, чтó сдѣлала съ отцомъ и матерью. За ея гордость онъ грозилъ ей наказаніемъ и проклятіемъ и кончалъ требованіемъ, чтобъ она немедленно и покорно возвратилась домой и тогда, только тогда, можетъ-быть, послѣ покорной и примѣрной новой жизни „въ нѣдрахъ семейства“, мы рѣшимся простить тебя, писалъ онъ. Видно было, что первоначальное, великодушное чувство свое, онъ, послѣ нѣсколькихъ строкъ, принялъ за слабость, сталъ стыдиться ея и, наконецъ, почувствовалъ муки оскорбленной гордости, кончилъ гнѣвомъ и угрозами. Старушка стояла

передо мною, сложа руки и въ страхѣ ожидая, что я скажу по прочтеніи письма.

Я высказалъ ей все прямо, какъ мнѣ казалось. Именно: что старикъ не въ силахъ болѣе жить безъ Наташи и что положительно можно сказать о необходимости скорого ихъ примиренія; но что, однакоже, все зависитъ отъ обстоятельствъ. Я объяснилъ при этомъ мою догадку, что, во-первыхъ, вѣроятно, дурной исходъ процесса сильно разстроилъ и потрясъ его, не говоря уже о томъ, насколько было уязвлено его самолюбіе торжествомъ надъ нимъ князя и сколько негодованія возродилось въ немъ при такомъ рѣшеніи дѣла. Въ такія минуты душа не можетъ не искать себѣ сочувствія, и онъ еще сильнѣе вспомнилъ о той, которую всегда любилъ больше всего на свѣтѣ. Наконецъ, можетъ быть и то: онъ навѣрно слышалъ (потому что онъ слѣдитъ и все знаетъ про Наташу), что Алеша скоро оставляетъ ее. Онъ могъ понять, каково было ей теперь, и по себѣ почувствовалъ, какъ необходимо было ей утѣшеніе. Но все-таки онъ не могъ преодолѣть себя, считая себя оскорбленнымъ и униженнымъ дочерью. Ему вѣрно приходило на мысль, что все-таки не она идетъ къ нему первая; что, можетъ-быть, даже она и не думаетъ о нихъ, и потребности не чувствуетъ къ примиренію. Такъ онъ долженъ былъ думать, заключилъ я мое мнѣніе, и вотъ почему не докончилъ письма и, можетъ быть, изъ всего этого произойдутъ еще новыя оскорбленія, которыя еще сильнѣе почувствуются, чѣмъ первыя и, кто знаетъ, примиреніе, можетъ-быть, еще надолго отложится...

Старушка плакала, меня слушаая. Наконецъ, когда я сказалъ, что мнѣ необходимо сейчасъ же къ Наташѣ и что я опоздалъ къ ней, она встrepенулась и объявила, что и забыла о *главномъ*. Вынимая письмо изъ-подъ бумагъ, она нечаянно опрокинула на него чернильницу. Дѣйствительно пѣлый уголъ былъ залитъ чернилами и старушка ужасно боялась, что старикъ, по этому пятну, узнаетъ, что безъ него перерыли бумаги и что Анна Андреевна прочла письмо къ Наташѣ. Ея страхъ былъ очень основателенъ: ужъ изъ одного того, что мы знаемъ его тайну, онъ со стыда и досады могъ продлить свою злобу и изъ гордости упорствовать въ прощеніи.

Но, разсмотрѣвъ дѣло, я уговорилъ старушку не беспокоиться. Онъ всталъ изъ-за письма въ такомъ волненіи, что могъ и не помнить всѣхъ мелочей и теперь, вѣроят-

но, подумаетъ, что самъ запачкалъ письмо и забылъ объ этомъ. Утѣшивъ такимъ образомъ Анну Андреевну, мы осторожно положили письмо на прежнее мѣсто, а я вздумалъ, уходя, поговорить съ нею серьезно о Нелли. Мнѣ казалось, что бѣдная брошенная сиротка, у которой мать была тоже проклята своимъ отцомъ, могла бы грустнымъ, трагическимъ разсказомъ о прежней своей жизни и о смерти своей матери тронуть старика и подвигнуть его на великодушныя чувства. Все готово, все созрѣло въ его сердцѣ; тоска по дочери стала уже пересиливать его гордость и оскорбленное самолюбіе. Недоставало только толчка, послѣдняго удобнаго случая, и этотъ удобный случай могла бы замѣнить Нелли. Старушка слушала меня съ чрезвычайнымъ вниманіемъ: все лицо ея оживилось надеждою и восторгомъ. Она тотчасъ же стала меня упрекать: зачѣмъ я давно ей этого не сказалъ; нетерпѣливо начала меня спрашивать о Нелли и кончила торжественнымъ обѣщаніемъ, что сама теперь будетъ просить старика, чтобъ взялъ въ домъ сиротку. Она уже начала искренно любить Нелли, жалѣла о томъ, что она больна, спрашивала о ней, принудила меня взять для Нелли банку варенья, за которымъ сама побѣжала въ чуланъ, принесла мнѣ пять цѣлковыхъ, предполагая, что у меня нѣтъ денегъ для доктора, и, когда я ихъ не взялъ, едва успокоилась и утѣшилась тѣмъ, что Нелли нуждается въ платьѣ и бѣльѣ, и что, стало-быть, можно еще ей быть полезною, вслѣдствіе чего стала тотчасъ же перерывать свой сундукъ и раскладывать всѣ свои платья, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя можно было подарить „сироткѣ“.

А я пошелъ къ Наташѣ. Подымаясь на послѣднюю лѣстницу, которая, какъ я уже сказалъ прежде, шла впитомъ, я замѣтилъ у ея дверей человѣка, который хотѣлъ уже было постучаться, но, слышавъ мои шаги, пріостановился. Наконецъ, вѣроятно, послѣ нѣкотораго колебанія, вдругъ оставилъ свое намѣреніе и пустился внизъ. Я столкнулся съ нимъ на послѣдней забѣжной ступенькѣ, и каково было мое изумленіе, когда я узналъ Ихменева. На лѣстницѣ и днемъ было очень темно. Онъ прислонился къ стѣнѣ, чтобы дать мнѣ пройти, и помню странный блескъ его глазъ, пристально меня разсматривавшихъ. Мнѣ казалось, что онъ ужасно покраснѣлъ; по крайней мѣрѣ, онъ ужасно смѣшался и даже потерялся.

— Эхъ, Ваня, да это ты! проговорилъ онъ нервнымъ

голосомъ.—А я здѣсь къ одному человѣку... къ писарю... все по дѣлу... недавно переѣхалъ... куда-то сюда... да не здѣсь, кажется, жить. Я ошибся. Прощай.

И онъ быстро пустился внизъ по лѣстницѣ.

Я рѣшилъ до времени не говорить Наташѣ объ этой встрѣчѣ, но непременно сказать ей тотчасъ же, когда она останется одна, по отъѣздѣ Алеши. Въ настоящее же время она была такъ разстроена, что хотя бы и поняла и осмыслила вполнѣ всю силу этого факта, по не могла бы его такъ принять и прочувствовать, какъ впоследствии, въ минуту подавляющей послѣдней тоски и отчаянія. Теперь же минута была не та.

Въ тотъ день я-бы могъ сходить къ Ихменевымъ и подмывало меня на это, но я не пошелъ. Мнѣ казалось, что старику тяжело будетъ смотрѣть на меня; онъ даже могъ подумать, что я нарочно прибѣжалъ вслѣдствіе встрѣчи. Пошелъ я къ нимъ уже на третій день; старикъ былъ грустенъ, но встрѣтилъ меня довольно развязно и все говорилъ о дѣлахъ.

— А что, къ кому это ты тогда ходилъ, такъ высоко, вотъ, помнишь, мы встрѣтились, — когда, бишь, это? — третьяго дня, кажется, спросилъ онъ вдругъ довольно небрежно, но все-таки какъ-то отводя отъ меня свои глаза въ сторону.

— Приятель одинъ живетъ, отвѣчалъ я, тоже отводя глаза въ сторону.

— А! А я писаря моего искалъ, Астафьева; на этотъ домъ указали... да ошибся... Ну, такъ вотъ я тебѣ про дѣло-то говорилъ: въ сенатѣ рѣшили... и т. д., и т. д.

Онъ даже покраснѣлъ, когда началъ говорить *о дѣлѣ*.

Я рассказалъ все въ этотъ же день Аннѣ Андреевнѣ, чтобъ обрадовать старушку, умолая ее, между прочимъ, не заглядывать ему теперь въ лицо съ особеннымъ видомъ, не вздыхать, не дѣлать намековъ и, однимъ словомъ, ни подъ какимъ видомъ не показывать, что ей извѣстна эта послѣдняя его выходка. Старушка до того удивилась и обрадовалась, что даже сначала мнѣ не повѣрила. Съ своей стороны, она рассказала мнѣ, что уже намекала Николаю Сергѣичу о сироткѣ, но что онъ промолчалъ, тогда какъ прежде самъ все упрашивалъ взять въ домъ дѣвочку. Мы рѣшили, что завтра она попроситъ его объ этомъ прямо, безъ всякихъ предисловіи и наме-

ковъ. Но на завтра оба мы были въ ужасномъ испугѣ и безпокойствѣ.

Дѣло въ томъ, что Ихменевъ видѣлся утромъ съ чиновникомъ, хлопотавшимъ по его дѣлу. Чиновникъ объявилъ ему, что видѣлъ князя и что князь хоть и оставляетъ Ихменевку за собой, но, *„вслѣдствіе нѣкоторыхъ семейныхъ обстоятельствъ“*, рѣшается вознаградить старика и выдать ему десять тысячъ. Отъ чиновника старикъ прямо прибѣжалъ ко мнѣ, ужасно разстроенный; глаза его сверкали бѣшенствомъ. Онъ вызвалъ меня, неизвѣстно зачѣмъ, изъ квартиры на лѣстницу и настоятельно сталъ требовать, чтобъ я немедленно шелъ къ князю и передалъ ему вызовъ на дуэль. Я былъ такъ пораженъ, что долго не могъ ничего сообразить. Началъ было его уговаривать. Но старикъ пришелъ въ такое бѣшенство, что съ нимъ сдѣлалось дурно. Я бросился къ себѣ за стаканомъ воды; но, воротясь, уже не засталъ Ихменева на лѣстницѣ.

На другой день я отправился къ нему, но его уже не было дома; онъ исчезъ на цѣлыхъ три дня.

На третій день мы узнали все. Отъ меня онъ кинулся прямо къ князю, не засталъ его дома и оставилъ ему записку; въ запискѣ онъ писалъ, что знаетъ о словахъ его, сказанныхъ чиновнику, что считаетъ ихъ себѣ смертельнымъ оскорбленіемъ, а князя низкимъ человѣкомъ, и вслѣдствіе всего этого вызываетъ его на дуэль, предупреждая при этомъ, чтобъ князь не смѣлъ уклониться отъ вызова, иначе будетъ обезчещенъ публично.

Анна Андреевна рассказывала мнѣ, что онъ воротился домой въ такомъ волненіи и разстройствѣ, что даже слегъ. Съ ней былъ очень нѣженъ, но на разпросы ея отвѣчалъ мало, и видно было, что онъ чего-то ждалъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ. На другое утро пришло по городской почтѣ письмо; прочтя его, онъ вскрикнулъ и схватилъ себя за голову. Анна Андреевна обмерла отъ страха. Но онъ тотчасъ же схватилъ шляпу, палку и выбѣжалъ вонъ.

Письмо было отъ князя. Сухо, коротко и вѣжливо онъ извѣщалъ Ихменева, что въ словахъ своихъ, сказанныхъ чиновнику, онъ никому не обязанъ никакимъ отчетомъ. Что хотя онъ очень сожалѣетъ Ихменева за проигранный процессъ, но, при всемъ своемъ сожалѣніи, никакъ не можетъ найти справедливымъ, чтобъ проигравшій въ тяжбѣ

имѣлъ право изъ мщенія вызывать своего соперника на дуэль. Что же касается до „публичнаго безчестія“, которымъ ему грозили, то князь просилъ Ихменева не беспокоиться объ этомъ, потому что никакого публичнаго безчестія не будетъ да и быть не можетъ; что письмо его немедленно будетъ представлено куда слѣдуетъ и что предупреденная полиція навѣрно въ состояніи принять надлежащія мѣры къ обезпеченію порядка и спокойствія.

Ихменевъ съ письмомъ въ рукѣ тотчасъ же бросился къ князю. Князя опять не было дома; но старикъ успѣлъ узнать отъ лакея, что князь теперь вѣрно у графа Н. Долго не думая, онъ побѣжалъ къ графу. Графскій швейцаръ остановилъ его, когда онъ подымался на лѣстницу. Взбѣшенный до послѣдней степени, старикъ ударилъ его палкой. Тотчасъ же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейскимъ, которые препроводили его въ часть. Доложили графу. Когда же случившійся тутъ князь объяснилъ сластолюбивому старичку, что это тотъ самый Ихменевъ, отецъ той самой Натальи Николаевны (а князь не разъ прислуживалъ графу по *этимъ дѣламъ*), то вельможный старичокъ только засмѣялся и перемѣнилъ гнѣвъ на милость: сдѣлано было распоряженіе отпустить Ихменева на всѣ четыре стороны; но выпустили его только на третій день, при чемъ (навѣрно по распоряженію князя) объявили старику, что самъ князь упросилъ графа его помиловать.

Старикъ воротился домой, какъ безумный, бросился на постель и цѣлый часъ лежалъ безъ движенія; наконецъ, приподнялся и, къ ужасу Анны Андреевны, объявилъ торжественно, что *навѣки* проклинаетъ свою дочь и лишаетъ ее своего родительскаго благословенія.

Анна Андреевна пришла въ ужасъ, но надо было помогать старику, и она, сама чуть не безъ памяти, весь этотъ день и почти всю ночь ухаживала за нимъ, примачивала ему голову уксусомъ, обкладывала льдомъ. Съ нимъ былъ жаръ и бредъ. Я оставилъ ихъ уже въ третьемъ часу ночи. Но на утро Ихменевъ всталъ и въ тотъ же день пришелъ ко мнѣ, чтобъ окончательно взять къ себѣ Нелли. Но о сценѣ его съ Нелли я уже рассказывалъ; эта сцена потрясла его окончательно. Воротясь домой, онъ слегъ въ постель. Все это происходило въ Страстную пятницу, когда было назначено свиданіе Кати и Наташи, наканунѣ отъѣзда Алеши и Кати изъ Петербурга. На

этомъ свиданіи я былъ: оно происходило рано утромъ, еще до прихода ко мнѣ старика и до перваго побѣга Нелли.

## ГЛАВА VI.

Алеша пріѣхалъ еще за часъ до свиданія предупредить Наташу. Я же пришелъ именно въ то мгновеніе, когда коляска Кати остановилась у нашихъ воротъ. Съ Катей была старушка-француженка, которая, послѣ долгихъ упрашиваній и колебаній, согласилась, наконецъ, сопровождать ее и даже отпустить ее наверхъ къ Наташѣ одну, но не иначе, какъ съ Алешей; сама же осталась дожидаться въ коляскѣ. Катя подозвала меня и, не выходя изъ коляски, попросила вызвать къ ней Алешу. Наташу я засталъ въ слезахъ: и Алеша, и она—оба плакали. Услышавъ, что Катя уже здѣсь, она встала со стула, отерла слезы и съ волненіемъ стала противъ дверей. Одѣта она была въ это утро вся въ бѣломъ. Темнорусые волосы ея были зачесаны гладко и назадъ связывались густымъ узломъ. Эту прическу я очень любилъ. Увидавъ, что я остался съ нею, Наташа попросила и меня пойти тоже навстрѣчу гостямъ.

— До сихъ поръ я не могла быть у Наташи, говорила мнѣ Катя, подымаясь на лѣстницу.—Меня такъ шпиюнили, что ужасъ. М-me Albert я уговаривала дѣлать двѣ недѣли, наконецъ-то согласилась. А вы, а вы, Иванъ Петровичъ, ни разу ко мнѣ не зашли! Писать я вамъ тоже не могла, да и охоты не было, потому что письмомъ ничего не разъяснишь. А какъ мнѣ надо было васъ видѣть... Боже мой, какъ у меня теперь сердце бьется...

— Лѣстница крутая, отвѣчалъ я.

— Ну, да... и лѣстница... А что, какъ вы думаете: не будетъ сердиться на меня Наташа?

— Нѣтъ, за что же?

— Ну да... конечно, за что-же; сейчасъ сама увижу; къ чему-же и спрашивать?..

Я велъ ее подъ руку. Она даже поблѣднѣла и, кажется, очень боялась. На послѣднемъ поворотѣ она остановилась перевести духъ, но взглянула на меня и рѣшительно поднялась наверхъ.

Еще разъ она остановилась въ дверяхъ и шепнула мнѣ: „я просто войду и скажу ей, что я такъ въ нее вѣрила, что пріѣхала не опасаясь... впрочемъ, что-жъ я разгова-

риваю, вѣдь я увѣрена, что Наташа благороднѣйшее существо. Не правда-ли?“

Она вошла робко, какъ виноватая, и пристально взглянула на Наташу, которая тотчасъ же улыбнулась ей. Тогда Катя быстро подошла къ ней, схватила ее за руки и прижалась къ ея губамъ своими пухленькими губками. Затѣмъ, еще ни слова не сказавъ Наташѣ, серьезно и даже строго обратилась къ Алешѣ и попросила его оставить насъ на полчаса однихъ.

— Ты не сердись, Алеша, прибавила она,—это я потому, что мнѣ много надо переговорить съ Наташей объ очень важномъ и серьезномъ, чего ты не долженъ слышать. Будь же уменъ, поди. А вы, Иванъ Петровичъ, останьтесь. Вы должны выслушать весь нашъ разговоръ.

— Сядемъ, сказала она Наташѣ по уходѣ Алеши,—я такъ, противъ васъ, сяду. Мнѣ хочется сначала на васъ посмотрѣть.

Она сѣла почти прямо противъ Наташи и нѣсколько мгновений пристально на нее смотрѣла. Наташа отвѣчала ей невольной улыбкой.

— Я уже видѣла вашу фотографію, сказала Катя,—мнѣ показывалъ Алеша.

— Что-жь, похожа я на портретѣ?

— Вы лучше, отвѣтила Катя рѣшительно и серьезно.— Да я такъ и думала, что вы лучше.

— Право? А я вотъ засматриваюсь на васъ. Какая вы хорошенькая!

— Чтò вы! Куда мнѣ!.. Голубчикъ вы мой! прибавила она, дрожавшей рукой взявъ руку Наташи, и обѣ опять примолкли, всматриваясь другъ въ друга.— Вотъ что, мой ангелъ, прервала Катя, — намъ всего полчаса быть вмѣстѣ; m-me Albert и на это едва согласилась, а намъ много надо переговорить... Я хочу... я должна... ну, я васъ просто спрошу: очень вы любите Алешу?

— Да, очень.

— А если такъ... если вы очень любите Алешу... то... вы должны любить и его счастье... прибавила она робко и шопотомъ.

— Да, я хочу, чтобъ онъ былъ счастливъ...

— Это такъ... но вотъ въ чемъ вопросъ: составляю-ли я его счастье? Имѣю-ли я право такъ говорить, потому что я его у васъ отнимаю. Если вамъ кажется, и мы рѣшимъ теперъ, что съ вами онъ будетъ счастливѣе, то... то...



— Это уже рѣшено, милая Катя, вѣдь вы же сами видите, что все рѣшено, отвѣчала тихо Наташа и склонила голову. Ей было видимо тяжело продолжать разговоръ.

Катя приготовилась, кажется, на длинное объясненіе на тему: кто лучше составить счастье Алеши и кому изъ нихъ придется уступить? Но послѣ отвѣта Наташи тотчасъ же поняла, что все уже давно рѣшено и говорить больше не о чемъ. Полуоткрывъ свои хорошенькія губки, она съ недоумѣніемъ и съ печалью смотрѣла на Наташу, все еще держа ея руку въ своей.

— А вы его очень любите? спросила вдругъ Наташа.

— Да; и вотъ я тоже хотѣла васъ спросить и ѣхала съ тѣмъ: скажите мнѣ, за что именно вы его любите?

— Не знаю, отвѣчала Наташа, и какъ будто горькое нетерпѣніе послышалось въ ея отвѣтѣ.

— Умень онъ, какъ вы думаете? спросила Катя.

— Нѣтъ, я такъ его, просто, люблю...

— И я тоже. Мнѣ его все какъ будто жалко.

— И мнѣ тоже, отвѣчала Наташа.

— Что съ нимъ дѣлать теперь! И какъ онъ могъ оставить васъ для меня, не понимаю! воскликнула Катя.— Вотъ, какъ теперь увидѣла васъ и не понимаю!

Наташа не отвѣчала и смотрѣла въ землю. Катя помолчала немного и вдругъ, поднявшись со стула, тихо обняла ее. Обѣ, обнявъ одна другую, заплакали. Катя сѣла на ручку кресель Наташи, не выпуская ея изъ своихъ объятій, и начала цѣловать ея руки.

— Если-бъ вы знали, какъ я васъ люблю! проговорила она, плача.— Будемъ сестрами, будемъ всегда писать другъ другу... а я васъ буду вѣчно любить, я васъ буду такъ любить, такъ любить...

— Онъ вамъ о нашей свадьбѣ, въ іюнѣ мѣсяцѣ, говорилъ? спросила Наташа.

— Говорилъ. Онъ говорилъ, что и вы согласны. Вѣдь это все только такъ, чтобъ его утѣшить, не правда-ли?

— Конечно.

— Я такъ и поняла. Я буду его очень любить, Наташа, и вамъ обо всемъ писать. Кажется, онъ будетъ теперь скоро моимъ мужемъ; на то идетъ. И они всѣ такъ говорятъ. Милая Наташечка, вѣдь вы пойдете теперь... въ вашъ домъ?

Наташа не отвѣчала ей, но молча и крѣпко подцѣловала ее.

— Будьте счастливы! сказала она.

— И... и вы... и вы тоже, проговорила Катя.

Въ это мгновеніе отворилась дверь и вошелъ Алеша. Онъ не могъ, онъ не въ силахъ былъ переждать эти полчаса и, увидя ихъ обѣихъ въ объятіяхъ другъ у друга и плакавшихъ, весь изнеможенный, страдающій, упалъ на колѣни передъ Наташей и Катей.

— Чего же ты-то плачешь? сказала ему Наташа.—Что разлучаешься со мной? Да надолго-ли? Къ юню вѣдь пріѣдешь?

— И свадьба ваша будетъ тогда, поспѣшила, сквозь слезы, проговорить Катя, тоже въ утѣшеніе Алешѣ.

— Но я не могу, я не могу тебя и на день оставить, Наташа. Я умру безъ тебя... ты не знаешь, какъ ты мнѣ теперь дорога! Именно теперь!..

— Ну, такъ вотъ какъ ты сдѣлай, сказала, вдругъ оживляясь, Наташа, — вѣдь графиня останется хоть скольконибудь въ Москвѣ?

— Да, почти недѣлю, подхватила Катя.

— Недѣлю! Такъ чего-жъ лучше: ты завтра проводишь ихъ до Москвы, это всего одинъ день, и тотчасъ же пріѣзжай сюда. Какъ имъ надо будетъ выѣзжать изъ Москвы, мы ужъ тогда совѣмъ, на мѣсяцъ, простимся и ты воротишься въ Москву ихъ провожать.

— Ну, такъ, такъ... А вы все-таки лишнихъ четыре дня пробудете вмѣстѣ! вскрикнула восхищенная Катя, обмѣнявшись многозначительнымъ взглядомъ съ Наташей.

Не могу выразить восторга Алеша отъ этого новаго проекта. Онъ вдругъ совершенно утѣшился; его лицо засіяло радостью, онъ обнималъ Наташу, цѣловалъ руки у Кати, обнималъ меня. Наташа съ грустною улыбкою смотрѣла на него, но Катя не могла вынести. Она переглянулась со мной горячимъ, сверкающимъ взглядомъ, обняла Наташу и встала со стула, чтобъ ѣхать. Какъ нарочно въ эту минуту француженка прислала челоуѣка съ просьбою окончить свиданіе поскорѣе, и что условленные полчаса уже прошли.

Наташа встала. Обѣ стояли одна противъ другой, держась за руки, и какъ будто силясь передать взглядомъ все, что скопилось въ душѣ.

— Вѣдь мы ужъ больше никогда не увидимся, сказала Катя.

— Никогда, Катя, отвѣчала Наташа.

— Ну, такъ простимся.

Объ обнялись.

— Не проклиняйте меня, прошептала наскоро Катя,— а я... всегда... будьте увѣрены... онъ будетъ счастливъ... Пойдемъ, Алеша, проводи меня! быстро произнесла она, схватывая его руку.

— Ваня! сказала мнѣ Наташа, взволнованная и измученная, когда они выпли,—ступай за ними и ты, и... не приходи назадъ: у меня будетъ Алеша до вечера, до восьми часовъ; а вечеромъ ему нельзя, онъ уйдетъ. Я останусь одна... Приходи часовъ въ девять. Пожалуйста!

Когда въ девять часовъ, оставивъ Нелли (послѣ разбитой чашки) съ Александрой Семеновной, я пришелъ къ Наташѣ, она уже была одна и съ нетерпѣніемъ ждала меня. Мавра подала намъ самоваръ; Наташа налила мнѣ чаю, сѣла на диванъ и подозвала меня поближе къ себѣ.

— Вотъ и кончилось все, сказала она, пристально взглянувъ на меня.

Никогда не забуду я этого взгляда.

— Вотъ и кончилась наша любовь. Полгода жизни! И на всю жизнь, прибавила она, сжимая мнѣ руку.

Ея рука горѣла. Я сталъ уговаривать ее одѣться по-теплѣе и лечь въ постель.

— Сейчасъ, Ваня, сейчасъ, мой добрый другъ. Дай мнѣ поговорить и припомнить немного... Я теперь какъ разбитая... Завтра въ послѣдній разъ его увижу, въ десять часовъ... *въ послѣдній!*

— Наташа, у тебя лихорадка, сейчасъ будетъ ознобъ; пожалѣй себя...

— Что же? Ждала я тебя теперь, Ваня, эти полчаса какъ онъ ушелъ, и какъ ты думаешь, о чемъ думала, о чемъ себя спрашивала? Спрашивала: любила я его, или не любила, и что это такое была наша любовь? Что, тебѣ смѣшно, Ваня, что я объ этомъ только теперь себя спрашиваю?

— Не тревожь себя, Наташа...

— Видишь, Ваня: вѣдь я рѣшила, что я его не любила какъ ровню, такъ, какъ обыкновенно женщина любитъ мужчину. Я любила его какъ... почти какъ мать. Мнѣ даже кажется, что совсѣмъ и не бываетъ на свѣтѣ такой любви, чтобъ оба другъ друга любили какъ ровные, а? Какъ ты думаешь?

Я съ безпокойствомъ смотрѣлъ на нее и боялся, не на-

чинается-ли съ ней горячка. Какъ будто что-то увлекало ее; она чувствовала какую-то особенную потребность говорить; инныя слова ея были какъ будто безъ связи и даже иногда она плохо выговаривала ихъ. Я очень боялся.

— Онъ былъ мой, продолжала она.—Почти съ первой встрѣчи съ нимъ у меня явилось тогда непреодолимое желаніе, чтобъ онъ былъ *мой*, поскорѣй *мой*, и чтобъ онъ ни на кого не глядѣлъ, никого и не зналъ, кромѣ меня, одной меня... Катя, давеча, хорошо сказала; я именно любила его такъ, какъ будто мнѣ все время было отчего-то его жалко... Было у меня всегда непреодолимое желаніе, даже мученіе, когда я оставалась одна, о томъ, чтобъ онъ былъ ужасно и вѣчно счастливъ. На его лицо (ты вѣдь знаешь выраженіе его лица, Ваня) я спокойно смотрѣть не могла: такого выраженія ни *у кого не бываетъ*, а засмѣется онъ, такъ у меня холодъ и дрожь была... Право!..

— Наташа, послушай...

— Вотъ говорили, перебила она,—да и ты, впрочемъ, говорилъ,—что онъ безъ характера и... и умомъ не дaleкъ, какъ ребенокъ. Ну, а я это-то въ немъ и любила больше всего... вѣришь-ли этому? Не знаю, впрочемъ, любила-ли именно одно это: такъ, просто, всего его любила, и будь онъ хоть чѣмъ-нибудь другой, съ характеромъ, иль умнѣе, я бы, можетъ, и не любила его такъ. Знаешь, Ваня, я тебѣ признаюсь въ одномъ; помнишь, у насъ была ссора, три мѣсяца назадъ, когда онъ былъ у той, какъ ее, у этой Минны... Я узнала, выслѣдила, и, вѣришь-ли: мнѣ ужасно было больно, а въ то же время какъ будто и пріятно... не знаю, почему... одна ужъ мысль, что онъ тѣшитя... или нѣтъ, не то: что онъ тоже, какъ *большой* какой-нибудь, вмѣстѣ съ другими *большими* по красавицамъ развѣзжаетъ, тоже къ Миннѣ похалъ! Я... Какое наслажденіе было мнѣ тогда въ этой ссорѣ; а потомъ простить его... о, милый!

Она взглянула мнѣ въ лицо и какъ-то странно разсмѣялась. Потомъ какъ будто задумалась, какъ будто все еще припоминала. И долго сидѣла она такъ, съ улыбкой на губахъ, вдумываясь въ прошедшее.

— Я ужасно любила его прощать, Ваня, продолжала она.—Знаешь чтѣ: когда онъ оставлялъ меня одну, я хожу, бывало, по комнатѣ, мучаюсь, плачу, а сама иногда подумаю: чѣмъ виноватѣе онъ передо мной, тѣмъ вѣдь лучше... да! И знаешь: мнѣ всегда представлялось, что

онъ какъ будто такой маленькій мальчикъ: я сижу, а онъ положилъ ко мнѣ на колѣни голову, заснулъ, а я его тихонько по головкѣ глажу, ласкаю... Всегда такъ воображала о немъ, когда его со мной не было... Послушай, Ваня, прибавила она вдругъ,—какая это прелесть Катя!

Мнѣ показалось, что она сама нарочно растравляетъ свою рану, чувствуя въ этомъ какую-то потребность,—потребность отчаянія, страданій... И такъ часто бываетъ это съ сердцемъ, много потерявшимъ!

— Катя, мнѣ кажется, можетъ его сдѣлать счастливымъ, продолжала она.—Она съ характеромъ и говоритъ какъ будто такая убѣжденная, и съ нимъ она такая серьезная, важная,—все объ умныхъ вещахъ говоритъ, точно большая. А сама-то, сама-то—настоящій ребенокъ! Милочка, милочка! О! Пусть они будутъ счастливы! Пусть, пусть, пусть!

И слезы, рыданія вдругъ разомъ такъ и хлынули изъ ея сердца. Цѣлыхъ полчаса она не могла придти въ себя и хоть сколько-нибудь успокоиться.

Милый ангелъ Наташа! Еще въ этотъ же вечеръ, не смотря на свое горе, она смогла таки принять участіе и въ моихъ заботахъ, когда я, видя, что она немножко успокоилась, или, лучше сказать, устала, и думая развлечь ее, рассказалъ ей о Нелли... Мы разстались въ этотъ вечеръ поздно, я дождался, пока она заснула, и, уходя, просилъ Мавру не отходить отъ своей больной госпожи всю ночь.

— О, поскорѣе, поскорѣе, восклицалъ я, возвращаясь домой,—поскорѣй конецъ этимъ мукамъ! Хоть-чѣмъ нибудь, хоть какъ-нибудь, но только скорѣе, скорѣе!

На утро, ровно въ девять часовъ, я уже былъ у нея. Въ одно время со мной приѣхалъ и Алеша... прощаться. Не буду говорить, не хочу вспоминать объ этой сценѣ. Наташа какъ будто дала себѣ слово скрѣпить себя, казаться веселѣе, равнодушнѣе, но не могла. Она обняла Алешу судорожно, крѣпко. Мало говорила съ нимъ, но глядѣла на него долго, пристально, мученическимъ и словно безумнымъ взглядомъ. Жадно вслушивалась въ каждое слово его и, кажется, ничего не понимала изъ того, что онъ ей говорилъ. Помню, онъ просилъ простить ему, простить ему и любовь эту, и все, чѣмъ онъ оскорблялъ ее въ это время, свои измѣны, свою любовь къ Катѣ, отъвѣдъ... Онъ говорилъ безсвязно, слезы душили его. Иногда

онъ вдругъ припимался утѣшать ее, говорилъ, что ѣдетъ только на мѣсяцъ, или много что на пять недѣль, что прїѣдетъ лѣтомъ, тогда будетъ ихъ свадьба, и отецъ согласится и, наконецъ, главное, что вѣдь онъ послѣзавтра прїѣдетъ изъ Москвы, и тогда цѣлыхъ четыре дня они еще пробудутъ вмѣстѣ и что, стало-быть, теперь разстаются на одинъ только день...

Странное дѣло: самъ онъ былъ вполне увѣренъ, что говоритъ правду и что непременно послѣзавтра воротится изъ Москвы... Чего же самъ онъ такъ плакалъ и мучился?

Наконецъ, часы пробили одиннадцать. Я насилу могъ уговорить его ѣхать. Московскій поѣздъ отправлялся ровно въ двѣнадцать. Оставался одинъ часъ. Наташа мнѣ сама потомъ говорила, что не помнитъ, какъ послѣдній разъ взглянула на него. Помню, что она перекрестила его, поцѣловала и, закрывъ руками лицо, бросилась назадъ въ комнату. Мнѣ же надо было проводить Алешу до самаго экипажа, иначе онъ непременно бы воротился и никогда бы не сошелъ съ лѣстницы.

— Вся надежда на васъ, говорилъ онъ мнѣ, сходя внизъ.— Другъ мой, Ваня! Я передъ тобой виноватъ и никогда не могъ заслужить твоей любви, но будь мнѣ до конца братомъ: люби ее, не оставляй ее, пиши мнѣ обо всемъ, какъ можно подробнѣе и мельче, какъ можно мельче пиши, чтобъ больше уписалось. Послѣзавтра я здѣсь опять, непременно, непременно! Но потомъ, когда я уѣду, пиши!

Я посадилъ его на дрожки.

— До послѣзавтра! закричалъ онъ мнѣ съ дороги.— Непременно!

Съ замиравшимъ сердцемъ воротился я наверхъ къ Наташѣ. Она стояла посреди комнаты, скрестивъ руки, и въ недоумѣннн на меня посмотрѣла, точно не узнавала меня. Волосы ея сбились какъ-то на сторону; взглядъ былъ мутный и блуждающій. Мавра, какъ потерянная, стояла въ дверяхъ, со страхомъ смотря на нее.

Вдругъ глаза Наташи засверкали.

— А! Это ты! Ты! вскричала она на меня.— Только ты одинъ теперь остался. Ты его ненавидѣлъ! Ты никогда ему не могъ простить, что я его полюбила... Теперь ты опять при мнѣ! Что-жъ? Опять *утѣшать* пришелъ меня, уговаривать, чтобъ я шла къ отцу, который меня бросилъ

и проклялъ. Я такъ и знала еще вчера, еще за два мѣсяца!.. Не хочу, не хочу! Я сама проклинаю ихъ!.. Поди прочь, я не могу тебя видѣть! Прочь, прочь!

Я понялъ, что она въ изступленіи и что мой видъ возбуждаетъ въ ней гнѣвъ до безумія, понялъ, что такъ и должно было быть, и разсудилъ лучше выйти. Я сѣлъ на лѣстницѣ, на первую ступеньку, и—ждалъ. Иногда я подымался, отворялъ дверь, подзывалъ къ себѣ Мавру и разспрашивалъ ее; Мавра плакала.

Такъ прошло часа полтора. Не могу изобразить, что я вынесъ въ это время. Сердце замирало во мнѣ и мучилось отъ непредѣльной боли. Вдругъ дверь отворилась и Наташа выбѣжала на лѣстницу, въ шляпкѣ и бурнусѣ. Она была какъ въ безпамятствѣ и сама потомъ говорила мнѣ, что едва помнить это и не знаетъ, куда и съ какимъ намѣреніемъ она хотѣла бѣжать.

Я не успѣлъ еще вскочить съ своего мѣста и куда-нибудь отъ нея спрятаться, какъ вдругъ она меня увидала и, какъ пораженная, остановилась передо мной безъ движенія. „Мнѣ вдругъ припомнилось, говорила она мнѣ потомъ,—что я, безумная, жестокая, могла выгнать тебя, тебя, моего друга, моего брата, моего спасителя! И какъ увидала, что ты, бѣдный, обиженный мною, сидишь у меня на лѣстницѣ, не уходишь и ждешь, пока я тебя опять позову. Боже!—если-бъ ты зналъ, Ваня, что тогда со мной случилось! Какъ будто въ сердце мнѣ что-то вонзили..“

— Ваня! Ваня! закричала она, протягивая мнѣ руки.— Ты здѣсь!..

И упала въ мои объятія.

Я подхватилъ ее и понесъ въ комнату. Она была въ обморокѣ. Что дѣлать? думалъ я. Съ ней будетъ горячка, это навѣрно!

Я рѣшился бѣжать къ доктору; надо было захватить болѣзнь. Съѣздить же можно было скоро; до двухъ часовъ мой старикъ-нѣмецъ обыкновенно сидѣлъ дома. Я побѣжалъ къ нему, умоляя Мавру ни на минуту, ни на секунду не уходить отъ Наташи и не пускать ее никуда. Богъ мнѣ помогъ: еще бы немного и я бы не засталъ моего старика дома. Онъ встрѣтился уже мнѣ на улицѣ, когда выходилъ изъ квартиры. Мигомъ я посадилъ его на моего извозчика, такъ что онъ еще не успѣлъ удивиться, и мы пустились обратно къ Наташѣ.

Да, Богъ мнѣ помогъ! Въ полчаса моего отсутствія слу-

чилось у Наташи такое происшествіе, которое бы могло совсѣмъ убить ее, если-бъ мы съ докторомъ не подоспѣли во-время. Не прошло и четверти часъ послѣ моего отъѣзда, какъ вошелъ князь. Онъ только что проводилъ своихъ и явился къ Наташѣ прямо съ желѣзной дороги. Этотъ визитъ, вѣроятно, уже давно былъ рѣшенъ и обдуманъ имъ. Наташа сама рассказывала мнѣ потомъ, что въ первое мгновеніе она даже и не удивилась князю. „Мой умъ мѣшался“, говорила она.

Онъ сѣлъ противъ нея, глядя на нее ласковымъ, соболѣзующимъ взглядомъ.

— Милая моя, сказалъ онъ, вздохнувъ, — я понимаю ваше горе; я зналъ, какъ будетъ тяжела вамъ эта минута, и потому положилъ себѣ за долгъ посѣтить васъ. Утѣштесь, если можете, хоть тѣмъ, что, отказавшись отъ Алеши, вы составили его счастье. Но вы лучше меня это понимаете, потому что рѣшились на великодушный подвигъ...

— Я сидѣла и слушала, рассказывала мнѣ Наташа, — но сначала, право, какъ будто не понимала его. Помню только, что пристально-пристально глядѣла на него. Онъ взялъ мою руку и началъ пожимать ее въ своей. Это ему, кажется, было очень пріятно. Я же до того была не въ себѣ, что и не подумала вырвать у него руку.

— Вы поняли, продолжалъ онъ, — что, ставъ женою Алеши, могли возбудить въ немъ впоследствии къ себѣ ненависть и у васъ достало благородной гордости, чтобъ сознать это и рѣшиться... но, — вѣдь не хвалить же я васъ пріѣхалъ. Я хотѣлъ только заявить предъ вами, что никогда и нигдѣ не найдете вы лучшаго друга, какъ я. Я вамъ сочувствую и жалѣю васъ. Во всемъ этомъ дѣлѣ я принималъ невольное участіе, но — я исполнялъ свой долгъ. Ваше прекрасное сердце пойметъ это и примирится съ моимъ... А мнѣ было тяжелѣе вашего; повѣрьте.

— Довольно, князь, сказала Наташа. — Оставьте меня въ покоѣ.

— Непремѣнно, я уйду скоро, отвѣчалъ онъ, — но я люблю васъ, какъ дочь свою, и вы позволите мнѣ посѣщать себя. Смотрите на меня теперь, какъ на вашего отца, и позвольте мнѣ быть вамъ полезнымъ.

— Мнѣ ничего не надо, оставьте меня, прервала опять Наташа.

— Знаю, вы горды... Но я говорю искренно, отъ сердца.



Что намѣрены теперь вы дѣлать? Помириться съ родителями? Доброе бы оно дѣло; но вашъ отецъ несправедливъ, гордъ и деспотъ; простите меня, но это такъ. Въ вашемъ домѣ вы встрѣтите теперь одни попреки и новыя мученья... Но однакоже надо, чтобъ вы были независимы, а моя обязанность, мой священный долгъ—заботиться теперь о васъ и помогать вамъ. Алеша умолялъ меня не оставлять васъ и быть вашимъ другомъ. Но и кромѣ меня есть люди, вамъ глубоко преданные. Вы мнѣ, вѣроятно, позволите представить вамъ графа N. Онъ съ превосходнымъ сердцемъ, родственникъ нашъ и даже, можно сказать, благодѣтель всего нашего семейства; онъ многое сдѣлалъ для Алеши. Алеша очень уважалъ и любилъ его. Онъ очень сильный человекъ, съ большимъ влияніемъ, уже старичокъ, и принимать его вамъ, дѣвицѣ, можно. Я ужъ говорилъ ему про васъ. Онъ можетъ пристроить васъ и, если захотите, доставить вамъ превосходное мѣсто... у одной изъ своихъ родственницъ. Я давно уже, прямо и откровенно, объяснилъ ему все наше дѣло и онъ до того увлекся своимъ добрымъ и благороднѣйшимъ чувствомъ, что даже самъ упрощиваетъ меня теперь какъ можно скорѣе представиться вамъ... Это человекъ, сочувствующій всему прекрасному, повѣрьте мнѣ, — щедрый, почтенный старичокъ, способный цѣнить достоинство и еще даже, недавно, благороднѣйшимъ образомъ обошелся съ вашимъ отцомъ, въ одной исторіи.

Наташа приподнялась, какъ уязвленный. Теперь она уже понимала его.

— Оставьте меня, оставьте сейчасъ же! закричала она.

— Но, мой другъ, вы забываете: графъ можетъ быть полезенъ и вашему отцу...

— Мой отецъ ничего не возьметъ отъ васъ. Оставьте-ли вы меня! закричала еще разъ Наташа.

— О, Боже, какъ вы нетерпѣливы и недовѣрчивы! Чѣмъ заслужилъ я это, произнесъ князь, съ нѣкоторымъ беспокойствомъ осматриваясь кругомъ.—Во всякомъ случаѣ, вы позволите мнѣ, продолжалъ онъ, вынимая большую пачку изъ кармана,—вы позволите мнѣ оставить у васъ это доказательство моего къ вамъ участія и въ особенности участія графа N., побудившаго меня своимъ совѣтомъ. Здѣсь, въ этомъ пакетѣ, десять тысячъ рублей. Подождите, мой другъ, подхватилъ онъ, видя, что Наташа съ гнѣвомъ поднялась со своего мѣста, — выслушайте терпѣ-

ливо все: вы знаете, отецъ вашъ проигралъ мнѣ тяжбу и эти десять тысячъ послужать вознагражденіемъ, которое...

— Прочь! закричала Наташа, — прочь съ этими деньгами! Я васъ вижу насквозь... о, низкій, низкій, низкій человѣкъ!

Князь поднялся со стула, блѣдный отъ злости.

Вѣроятно, онъ пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобъ оглядѣть мѣстность, разузнать положеніе и, вѣроятно, крѣпко рассчитывалъ на дѣйствіе этихъ десяти тысячъ рублей передъ нищею и оставленною всею Наташей... Низкій и грубый, онъ не разъ подслуживался графу Н., сластолюбивому старику, въ такого рода дѣлахъ. Но онъ ненавидѣлъ Наташу и, догадавшись, что дѣло не пошло на ладъ, тотчасъ переѣнилъ тонъ и съ злою радостію посипѣшил оскорбить ее, чтобъ *не уходитъ, по крайней мѣрѣ, даромъ*.

— Вотъ ужъ это и не хорошо, моя милая, что вы такъ горячитесь, произнесъ онъ нѣсколько дрожащимъ голосомъ, отъ нетерпѣливаго наслажденія видѣть поскорѣе эффектъ своей обиды,—вотъ ужъ это и не хорошо. Вамъ предлагаютъ покровительство, а вы поднимаете носикъ... А того и не знаете, что должны быть мнѣ благодарны; уже давно могъ бы я посадить васъ въ смирительный домъ, какъ отецъ развращаемаго вами молодого человѣка, котораго вы обирали, да вѣдь не сдѣлалъ же этого... хе-хе-хе!

Но мы уже входили. Услышавъ еще изъ кухни голоса, я остановилъ на одну секунду доктора и вслушался въ послѣднюю фразу князя. Затѣмъ раздался отвратительный хохотъ его и отчаянное восклицаніе Наташи: „О, Боже мой!“ Въ эту минуту я отворилъ дверь и бросился на князя.

Я плюнулъ ему въ лицо и изо всей силы ударилъ его по щекѣ. Онъ хотѣлъ было броситься на меня, но, увидавъ, что насъ двое, пустился бѣжать, схвативъ сначала со стола свою пачку съ деньгами. Да, онъ сдѣлалъ это; я самъ видѣлъ. Я бросилъ ему вдогонку скалкой, которую схватилъ въ кухнѣ, на столѣ... Вбѣжавъ опять въ комнату, я увидѣлъ, что докторъ удерживалъ Наташу, которая билась и рвалась у него изъ рукъ, какъ въ припадкѣ. Долго мы не могли успокоить ее; наконецъ, намъ удалось уложить ее въ постель; она была какъ въ горячешномъ бреду.

— Докторъ! Что съ ней? спросилъ я, замирая отъ страха.

— Подождите, отвѣчалъ онъ,—надо еще приглядѣться къ болѣзни и потомъ уже сообразить... но, вообще говоря, дѣло очень не хорошо. Можетъ бончиться даже горячкой... Впрочемъ, мы примемъ мѣры...

Но меня уже осѣнила другая мысль. Я умолилъ доктора остаться съ Наташей еще на два или на три часа, и взявъ съ него слово не уходить отъ нея ни на одну минуту. Онъ далъ мнѣ слово, и я побѣжалъ домой.

Нелли сидѣла въ углу, угрюмая и встревоженная, и странно поглядѣла на меня. Должно-быть, я и самъ былъ странень.

Я схватилъ ее на руки, сѣлъ на диванъ, посадилъ къ себѣ на колѣни и горячо поцѣловалъ ее. Она вспыхнула.

— Нелли, ангель! сказалъ я,—хочешь-ли ты быть нашимъ спасеніемъ? Хочешь-ли спасти всѣхъ насъ?

Она съ недоумѣніемъ посмотрѣла на меня.

— Нелли! Вся надежда теперь на тебя! Есть одинъ отецъ: ты его видѣла и знаешь; онъ проклялъ свою дочь и вчера приходилъ просить тебя къ себѣ вмѣсто дочери. Теперь ее, Наташу (а ты говорила, что любишь ее!), оставилъ тотъ, котораго она любила и для котораго ушла отъ отца. Онъ сынъ того князя, который пріѣзжалъ, помнишь, вечеромъ ко мнѣ, и засталъ еще тебя одну, а ты убѣжала отъ него и потомъ была больна... Ты вѣдь знаешь его? Онъ злой человѣкъ!

— Знаю, отвѣчала Нелли, вздрогнула и поблѣднѣла.

— Да, онъ злой человѣкъ. Онъ ненавидѣлъ Наташу за то, что его сынъ, Алеша, хотѣлъ на ней жениться. Сегодня уѣхалъ Алеша, а черезъ часъ его отецъ уже былъ у ней и оскорбилъ ее, и грозилъ ее посадить въ смиренный домъ, и смѣялся надъ ней. Понимаешь меня, Нелли?

Черные глаза ея сверкнули, но она тотчасъ же ихъ опустила.

— Понимаю, прошептала она чуть слышно.

— Теперь Наташа одна, больная; я оставилъ ее съ нашимъ докторомъ, а самъ прибѣжалъ къ тебѣ. Слушай, Нелли: пойдешь къ отцу Наташи; ты его не любишь, ты къ нему не хотѣла идти, но теперь пойдешь къ нему вмѣстѣ. Мы войдемъ, и я скажу, что ты теперь хочешь быть у нихъ вмѣсто дочери, вмѣсто Наташи. Старикъ теперь боленъ, потому что проклялъ Наташу и потому, что отецъ Алеши еще на-дняхъ смертельно оскорбилъ его.

Онъ не хочетъ и слышать теперь про дочь, но онъ ее любить, любить, Нелли, и хочетъ съ ней примириться; я знаю это, я все это знаю! Это такъ!.. Слышишь-ли, Нелли?..

— Слышу, произнесла она тѣмъ же шопотомъ.

Я говорилъ ей, обливаясь слезами. Она робко взглядывала на меня.

— Вѣришь-ли этому?

— Вѣрю.

— Ну, такъ я войду съ тобой, посажу тебя, и тебя примутъ, обласкаютъ и начнутъ разспрашивать. Тогда я самъ такъ подведу разговоръ, что тебя начнутъ разспрашивать о томъ, какъ ты жила прежде: о твоей матери и о твоёмъ дѣдушкѣ. Расскажи имъ, Нелли, все такъ, какъ ты мнѣ рассказывала. Все, все расскажи, просто и ничего не утаивая. Расскажи имъ, какъ твою мать оставилъ злой человѣкъ, какъ она умирала въ подвалѣ у Бубновой, какъ вы съ матерью вмѣстѣ ходили по улицамъ и просили милостыню; что говорила она тебѣ и о чемъ просила тебя, умирая... Расскажи тутъ же и про дѣдушку. Расскажи, какъ онъ не хотѣлъ прощать твою мать и какъ она послала тебя къ нему въ свой предсмертный часъ, чтобъ онъ пришелъ къ ней простить ее, и какъ онъ не хотѣлъ... и какъ она умерла. Все, все расскажи! И какъ расскажешь все это, то старикъ почувствуетъ все это и въ своемъ сердцѣ. Онъ вѣдь знаетъ, что сегодня бросилъ ее Алеша, и она осталась униженная и поруганная, одна, безъ помощи и безъ защиты, на поруганіе своему врагу. Онъ все это знаетъ... Нелли! Спаси Наташу! Хочешь-ли ѣхать?

— Да, отвѣчала она, тяжело переводя духъ и какимъ-то страннымъ взглядомъ, пристально и долго посмотрѣвъ на меня; что-то похожее на укоръ было въ этомъ взглядѣ, и я почувствовала это въ моемъ сердцѣ.

Но я не могъ оставить мою мысль. Я слишкомъ вѣрилъ въ нее. Я схватилъ за руку Нелли, и мы вышли. Былъ уже третій часъ пополудни. Находила туча. Все послѣднее время погода стояла жаркая и удушливая, но теперь послышался, гдѣ-то далеко, первый, ранній весенній громъ. Вѣтеръ пронесся по пыльнымъ улицамъ.

Мы сѣли на извозчика. Всю дорогу Нелли молчала, изрѣдка только взглядывала на меня все тѣмъ же страннымъ и загадочнымъ взглядомъ. Грудь ея волновалась, и, придерживая ее на дрожжахъ, я слышалъ, какъ въ моей

ладони колотилось ея маленькое сердечко, какъ будто хотѣло выскочить вонъ.

## ГЛАВА VII.

Дорога мнѣ казалась безконечною. Наконецъ, мы приѣхали, и я вошелъ къ моимъ старикамъ съ замираніемъ сердца. Я не зналъ, какъ выйду изъ ихъ дома, но зналъ, что мнѣ, во что бы то ни стало, надо выйти съ прощеніемъ и примиреніемъ.

Быль уже четвертый часъ. Старики сидѣли одни, по обыкновенію. Николай Сергѣичъ былъ очень разстроенъ и боленъ и полулежалъ, протянувшись въ своемъ покойномъ креслѣ, блѣдный и изнеможенный, съ головой, обвязанной платкомъ. Анна Андреевна сидѣла возлѣ него, изрѣдка примачивала ему виски уксуомъ и безпрестанно, съ пытливымъ и страдальческимъ видомъ, заглядывала ему въ лицо, что, кажется, очень беспокоило старика и даже досаждало ему. Онъ упорно молчалъ, она не смѣла заговорить. Нашъ внезапный приѣздъ поразилъ ихъ обоихъ. Анна Андреевна чего-то вдругъ испугалась, увидя меня съ Нелли, и въ первыя минуты смотрѣла на насъ такъ, какъ будто въ чемъ-нибудь вдругъ почувствовала себя виноватою.

— Вотъ я привезъ къ вамъ мою Нелли, сказалъ я, входя.—Она надумалась, и теперь сама захотѣла къ вамъ. Примите и полюбите...

Старикъ подозрительно взглянулъ на меня, и уже по одному взгляду можно было угадать, что ему все извѣстно, то-есть, что Наташа теперь уже одна, оставлена, брошена и, можетъ-быть, уже оскорблена. Ему очень хотѣлось проникнуть въ тайну нашего прибытія, и онъ вопросительно смотрѣлъ на меня и на Нелли. Нелли дрожала, крѣпко сжимая своей рукой мою, смотрѣла въ землю и изрѣдка только бросала кругомъ себя пугливый взглядъ, какъ пойманный звѣрокъ. Но скоро Анна Андреевна опомнилась и догадалась: она такъ и кинулась къ Нелли, поцѣловала ее, приласкала, даже заплакала и съ нѣжностью усадила ее возлѣ себя, не выпуская изъ своей руки ея руку. Нелли съ любопытствомъ и съ какимъ-то удивленіемъ оглядѣла ее искоса.

Но, обласкавъ и усадивъ Нелли подлѣ себя, старушка уже и не знала больше, что дѣлать и съ наивнымъ ожиданіемъ стала смотрѣть на меня. Старикъ поморщился,

чуть-ли не догадавшись, для чего я привелъ Нелли. Увидѣвъ, что я замѣчаю его недовольную мину и нахмуренный лобъ, онъ поднесъ къ головѣ свою руку и сказалъ мнѣ отрывисто:

— Голова болить, Ваня.

Мы все еще сидѣли и молчали; я обдумывалъ, что начать. Въ комнатѣ было сумрачно; надвигалась черная туча и вновь послышался отдаленный раскатъ грома.

— Громъ-то какъ рано въ эту весну, сказалъ старикъ. — А вотъ въ тридцать седьмомъ году, помню, въ нашихъ мѣстахъ былъ еще раньше.

Анна Андреевна вздохнула.

— Не поставить-ли самоварчикъ? робко спросила она; но никто ей не отвѣтилъ, и она опять обратилась къ Нелли. — Какъ тебя, моя голубушка, звать? спросила она ее.

Нелли слабымъ голосомъ назвала себя и еще больше потупилась. Старикъ пристально поглядѣлъ на нее.

— Это Елена, что-ли? продолжала, оживляясь, старушка.

— Да, отвѣчала Нелли.

И опять послѣдовало минутное молчаніе.

— У сестрицы Прасковьи Андреевны была племянница Елена, проговорилъ Николай Сергѣичъ, — тоже Нелли звали. Я помню.

— Что-жъ у тебя, голубушка, ни родныхъ, ни отца, ни матери нѣту? спросила опять Анна Андреевна.

— Нѣтъ, отрывисто и пугливо прошептала Нелли.

— Слышала я это, слышала. А давно-ли матушка твоя померла?

— Недавно.

— Голубчикъ ты мой, сироточка, продолжала старушка, жалостливо на нее поглядывая.

Николай Сергѣичъ въ нетерпѣніи барабанилъ по столу пальцами.

— Матушка-то твоя изъ иностранокъ, что-ли, была? Такъ, что-ли, вы рассказывали, Иванъ Петровичъ? продолжались робкіе разспросы старушки.

Нелли бѣгло взглянула на меня своими черными глазами, какъ будто призывая меня на помощь. Она какъ-то неровно и тяжело дышала.

— У ней, Анна Андреевна, началъ я, — мать была дочь англичанина и русской, такъ что скорѣе была русская; Нелли же родилась за границей.

— Какъ же ея матушка - то съ супругомъ своимъ за границу поѣхала?

Нелли вдругъ вся вспыхнула. Старушка мигомъ догадалась, что обмолвилась, и вздрогнула подъ гнѣвнымъ взглядомъ старика. Онъ строго посмотрѣлъ на нее и отворотился было къ окну.

— Ея мать была дурнымъ и подлымъ человѣкомъ обманута, произнесъ онъ, вдругъ обращаясь къ Аннѣ Андреевнѣ. — Она уѣхала съ нимъ отъ отца и передала отцовскія деньги любовнику; а тотъ выманилъ ихъ у нея обманомъ, завезъ за границу, обокралъ и бросилъ. Одинъ добрый человѣкъ ея не оставилъ и помогалъ ей до самой своей смерти. А когда онъ умеръ, она, два года тому назадъ, воротилась назадъ къ отцу. Такъ, что-ли, ты разсказывалъ, Ваня? спросилъ онъ отрывисто.

Нелли въ величайшемъ волненіи встала съ мѣста и хотѣла было идти къ дверямъ.

— Поди сюда, Нелли, сказалъ старикъ, протягивая, наконецъ, ей руку. — Сядь здѣсь, сядь возлѣ меня, вотъ тутъ, — сядь!

Онъ нагнулся, поцѣловалъ ее въ лобъ и тихо началъ гладить ее по головкѣ. Нелли такъ вся и затрепетала... но сдержала себя. Анна Андреевна въ умиленіи, съ радостною надеждою, смотрѣла, какъ ея Николай Сергѣичъ приголубилъ, наконецъ, сиротку.

— Я знаю, Нелли, что твою мать погубилъ злой человѣкъ, злой и безнравственный, но знаю тоже, что она отца своего любила и почитала, съ волненіемъ произнесъ старикъ, продолжая гладить Нелли по головкѣ и, не стерпѣвъ, чтобъ не бросить намъ въ эту минуту этотъ вызовъ.

Легкая краска покрыла его блѣдныя щеки; но онъ старался не взглядывать на насъ.

— Мамаша любила дѣдушку больше, чѣмъ ее дѣдушка любилъ, робко, но твердо проговорила Нелли, тоже стараясь ни на кого не взглянуть.

— А ты почему знаешь? рѣзко спросилъ старикъ, не выдержавъ, какъ ребенокъ, и какъ будто самъ стыдятся своего нетерпѣнія.

— Знаю, отрывисто отвѣтила Нелли. — Онъ не принялъ матушку и... прогналъ ее...

Я видѣлъ, что Николаю Сергѣичу хотѣлось было что-то сказать, возразить, сказать, напимѣръ, что старикъ

за дѣло не принялъ дочь, но онъ поглядѣлъ на насъ и смолчалъ.

— Какъ же, гдѣ же вы жили-то, когда дѣдушка васъ не принялъ? спросила Анна Андреевна, въ которой вдругъ родилось упорство и желаніе продолжать именно на эту тему.

— Когда мы приѣхали, то долго отыскивали дѣдушку, отвѣчала Нелли,—но никакъ не могли отыскать. Мамаша мнѣ и сказала тогда, что дѣдушка былъ прежде очень богатый и фабрику хотѣлъ строить, а что теперь онъ очень бѣдный, потому что тотъ, съ кѣмъ мамаша уѣхала, взялъ у ней всѣ дѣдушкины деньги и не отдалъ ей. Она мнѣ это сама сказала.

— Гм!.. отозвался старикъ.

— И она говорила мнѣ еще, продолжала Нелли, все болѣе и болѣе оживляясь и какъ будто желая возразить Николаю Сергѣичу, но обращаясь къ Аннѣ Андреевнѣ,—она мнѣ говорила, что дѣдушка на нее очень сердитъ и что она сама во всемъ передъ нимъ виновата, и что нѣтъ у ней теперь на всей землѣ никого кромѣ дѣдушки. И когда говорила мнѣ, то плакала... „Онъ меня не проститъ“, говорила она, еще когда мы сюда ѣхали,—„но, можетъ-быть, тебя увидитъ и тебя полюбитъ, а за тебя и меня проститъ“. Мамаша очень любила меня и когда это говорила, то всегда меня цѣловала, а къ дѣдушкѣ идти очень боялась. Меня же учила молиться за дѣдушку и сама молилась и много мнѣ еще рассказывала, какъ она прежде жила съ дѣдушкой и какъ дѣдушка ее очень любилъ, больше всѣхъ. Она ему на фортепьяно играла и книги читала по вечерамъ, а дѣдушка ее цѣловалъ и много ей дарилъ... все дарилъ, такъ что одинъ разъ они и поссорились, въ мамашины именины; потому что дѣдушка думалъ, что мамаша еще не знаетъ, какой будетъ подарокъ, а мамаша уже давно узнала какой. Мамашѣ хотѣлось серьги, а дѣдушка все нарочно обманывалъ ее и говорилъ, что подаритъ не серьги, а брошку; и когда онъ принесъ серьги и какъ увидѣлъ, что мамаша ужъ знаетъ, что будутъ серьги, а не брошка, то разсердился за то, что мамаша узнала, и половину дня не говорилъ съ ней, а потомъ самъ пришелъ ее цѣловать и прощенья просить...

Нелли рассказывала съ увлеченіемъ и даже краска заиграла на ея блѣдныхъ, больныхъ щечкахъ.



Видно было, что ея мамаша не разъ говорила съ своей маленькой Нелли о своихъ прежнихъ счастливыхъ дняхъ, сидя въ своемъ углѣ, въ подвалѣ, обнимая и цѣлуя свою дѣвочку (все, что у ней осталось отраднаго въ жизни) и плача надъ ней, а въ то же время и не подозрѣвая, съ какою силою отзовутся эти рассказы ея въ болѣзненно-впечатлительномъ и рано развившемся сердцѣ больного ребенка.

Но увлекшаяся Нелли какъ будто вдругъ опомнилась, недовѣрчиво осмотрѣлась кругомъ и притихла. Старикъ наморщилъ лобъ и снова забарабанилъ по столу; у Анны Андреевны показалась на глазахъ слезинка и она молча отерла ее платкомъ.

— Мамаша пріѣхала сюда очень больная, прибавила Нелли тихимъ голосомъ.—У ней грудь очень болѣла. Мы долго искали дѣдушку и не могли найти, а сами нанесли въ подвалѣ, въ углу.

— Въ углу, больная-то! вскричала Анна Андреевна.

— Да... въ углу... отвѣчала Нелли.—Мамаша была бѣдная. Мамаша мнѣ говорила, прибавила она, оживляясь,— что не грѣхъ быть бѣдной, а что грѣхъ быть богатымъ и обижать... и что ее Богъ наказываетъ.

— Что же вы, на Васильевскомъ нанимали? Это тамъ, у Бубновой, что-ли? спросилъ старикъ, обращаясь ко мнѣ и стараясь выказать нѣкоторую небрежность въ своемъ вопросѣ. Спросилъ же, какъ будто ему неловко было сидѣть молча.

— Нѣтъ, не тамъ... а сперва въ Мѣщанской, отвѣчала Нелли.—Тамъ было очень темно и сыро, продолжала она, помолчавъ,—и матушка очень заболѣла, но еще тогда ходила. Я ей бѣлье мыла, а она плакала. Тамъ тоже жила одна старушка, капитанша, и жилъ отставной чиновникъ и все приходилъ пьяный, и всякую ночь кричалъ и шумѣлъ. Я очень боялась его. Матушка брала меня къ себѣ на постель и обнимала меня, а сама вся, бывало, дрожить, а чиновникъ кричить и бранится. Онъ хотѣлъ одинъ разъ прибить капитаншу, а та была старая старушка и ходила съ палочкой. Мамашѣ стало жалъ ее, и она за нее заступилась; чиновникъ и ударилъ мамашу, а я чиновника...

Нелли остановилась. Воспоминаніе взволновало ее; глазки ея засверкали.

— Господи Боже мой! вскричала Анна Андреевна, до

последней степени заинтересованная рассказомъ и не спускавшая глазъ съ Нелли, которая преимущественно обращалась къ ней.

— Тогда мамаша вышла, продолжала Нелли, — и меня увела съ собой. Это было днемъ. Мы все ходили по улицамъ, до самаго вечера, и мамаша все плакала и все ходила, а меня вела за руку. Я очень устала; мы и не ѣли этотъ день. А мамаша все сама съ собой говорила и мнѣ все говорила: „будь бѣдная, Нелли, и когда я умру, не слушай никого и ничего. Ни къ кому не ходи; будь одна, бѣдная, и работай, а нѣтъ работы, такъ милостыню проси, а къ нимъ не ходи“. Только въ сумерки мы переходили черезъ одну большую улицу; вдругъ мамаша закричала: „Азорка! Азорка!“ — и вдругъ большая собака, безъ шерсти, подбѣжала къ мамашѣ, завизжала и бросилась къ ней, а мамаша испугалась, стала блѣдная, закричала и бросилась на колѣни передъ высокимъ старикомъ, который шелъ съ палкой и смотрѣлъ въ землю. А этотъ высокій старикъ и бы дѣдушка, и такой сухощавый, въ дурномъ платьѣ. Тутъ-то я въ первый разъ и увидала дѣдушку. Дѣдушка тоже очень испугался и весь поблѣднѣлъ и какъ увидалъ, что мамаша лежитъ подлѣ него и обхватила его ноги, — онъ вырвался, толкнулъ мамашу, ударилъ по камню палкой и пошелъ скоро отъ насъ. Азорка еще остался и все вылъ и лизалъ мамашу, потомъ побѣжалъ къ дѣдушкѣ, схватилъ его за полу и потащилъ назадъ, а дѣдушка его ударилъ палкой. Азорка опять къ намъ было побѣжалъ, да дѣдушка кликнулъ его; онъ и побѣжалъ за дѣдушкой и все вылъ. А мамаша лежала, какъ мертвая, кругомъ народъ собрался, полицейскіе пришли. Я все кричала и подымала мамашу. Она и встала, оглядѣлась кругомъ и пошла за мной. Я ее повела домой. Люди на насъ долго смотрѣли и все головой качали...

Нелли приостановилась перевести духъ и скрѣпить себя. Она была очень блѣдна, но рѣшительность сверкала въ ея взглядѣ. Видно было, что она рѣшилась, наконецъ, все говорить. Въ ней было даже что-то вызывающее въ эту минуту.

— Что-жъ, замѣтилъ Николай Сергѣичъ, неровнымъ голосомъ, съ какою-то раздражительною рѣзкостью. — Что-жъ, твоя мать оскорбила своего отца и онъ за дѣло отвергъ ее...

— Матушка мнѣ то же говорила, рѣзко подхватила

Нелли,—и какъ мы шли домой, все говорила: это твой дѣдушка, Нелли, а я виновата передъ нимъ, вотъ онъ и проклялъ меня, за это меня теперь Богъ и наказываетъ, и весь вечеръ этотъ и всѣ слѣдующіе дни все это же говорила. А говорила, какъ будто себя не помнила...

Старикъ смолчалъ.

— А потомъ какъ же вы на другую - то квартиру переехали? спросила Анна Андреевна, продолжавшая тихо плакать.

— Мамаша въ ту же ночь заболѣла, а капитанша отыскала квартиру у Бубновой, а на третій день мы и переѣхали и капитанша съ нами; и какъ переѣхали, мамаша совсѣмъ и слегла, и три недѣли лежала больная, а я ходила за ней. Деньги у насъ совсѣмъ всѣ вышли, и намъ помогла капитанша и Иванъ Александрычъ.

— Гробовщикъ, хозяинъ, сказалъ я въ поясненіе.

— А когда мамаша встала съ постели и стала ходить, тогда мнѣ про Азорку и рассказала.

Нелли пріостановилась. Старикъ какъ будто обрадовался, что разговоръ перешелъ на Азорку.

— Что-жъ она про Азорку тебѣ рассказывала? спросилъ онъ, еще болѣе нагнувшись въ своихъ креслахъ, точно чтобъ еще больше скрыть свое лицо и смотрѣть внизъ.

— Она все мнѣ говорила про дѣдушку, отвѣчала Нелли,—и больная все про него говорила, и когда въ бреду была тоже говорила. Вотъ она какъ стала... доравливать, то и начала мнѣ опять рассказывать, ... она прежде жила... тутъ и про Азорку рассказала, потому что разъ гдѣ-то на рѣкѣ, за городомъ, мальчишки тащили Азорку на веревкѣ топить, а мамаша дала имъ денегъ и купила у нихъ Азорку. Дѣдушка, какъ увидѣлъ Азорку, сталъ надъ нимъ очень смѣяться. Только Азорка и убѣжалъ. Мамаша стала плакать; дѣдушка испугался и сказалъ, что дастъ сто рублей тому, кто приведетъ Азорку. На третій день его и привели; дѣдушка сто рублей отдалъ и съ этихъ поръ сталъ любить Азорку. А мамаша такъ его стала любить, что даже на постель съ собой брала. Она мнѣ рассказывала, что Азорка прежде съ комедіантами по улицамъ ходилъ, и служить умѣлъ, и обезьяну на себѣ возилъ, и ружьемъ умѣлъ дѣлать, и много еще умѣлъ... А когда мамаша уѣхала отъ дѣдушки, то дѣдушка и оставилъ Азорку у себя и все съ нимъ ходилъ, такъ что на улицѣ, какъ только мамаша

увидала Азорку, тотчас же и догадалась, что тутъ же и дѣдушка...

Старикъ видимо ожидалъ не того объ Азоркѣ, и все больше и больше хмурился. Онъ ужъ не спрашивалъ болѣе ничего.

— Такъ какъ же, вы такъ больше и не видали дѣдушку? спросила Анна Андреевна.

— Нѣтъ, когда мамаша стала выздоравливать, тогда я встрѣтила опять дѣдушку. Я ходила въ лавочку за хлѣбомъ: вдругъ увидела человѣка съ Азоркѣй, посмотрѣла и узнала дѣдушку. Я посторонилась и прижалась къ стѣнѣ. Дѣдушка посмотрѣлъ на меня, долго смотрѣлъ и такой былъ страшный, что я его очень испугалась, и прошла мимо; Азорка же меня припомнилъ и началъ скакать подлѣ меня и мнѣ руки лизать. Я поскорѣй пошла домой, посмотрѣла назадъ, а дѣдушка зашелъ въ лавочку. Тутъ я подумала: вѣрно спрашиваетъ, и испугалась еще больше, и когда пришла домой, то мамашѣ ничего не сказала, чтобъ мамаша опять не сдѣлалась больна. Сама же въ лавочку на другой день не ходила; сказала, что у меня голова болитъ; а когда пошла на третій день, то никого не встрѣтила и ужасно боялась, такъ что бѣгомъ бѣжала. А еще черезъ день вдругъ я иду, только что за уголъ зашла, а дѣдушка передо мной и Азорка. Я побѣжала и поворотила въ другую улицу и съ другой стороны въ лавочку зашла; только вдругъ прямо на него опять и наткнулась и такъ испугалась, что тутъ же и остановилась и не могу идти. Дѣдушка сталъ передо мною и опять долго смотрѣлъ на меня, а потомъ погладилъ меня по головкѣ, взялъ за руку и повелъ меня, а Азорка за нами и хвостомъ махаетъ. Тутъ я и увидала, что дѣдушка и ходить прямо ужъ не можетъ и все на палку упирается, а руки у него совсѣмъ дрожатъ. Онъ меня привелъ къ разносчику, который на углу сидѣлъ и продавалъ пряники и яблоки. Дѣдушка купилъ пряничнаго иштушка и рыбку, и одну конфетку, и яблоко, и когда вынималъ деньги изъ кожанаго кошелька, то руки у него очень тряслись и онъ уронилъ пятакъ, а я подняла ему. Онъ мнѣ этотъ пятакъ подарилъ, и пряники отдалъ, и погладилъ меня по головкѣ, но опять ничего не сказалъ, а пошелъ отъ меня домой.

Тогда я пришла къ мамашѣ и рассказала ей все про дѣдушку, и какъ я сначала его боялась и пряталась отъ

него. Мамаша мнѣ сперва не повѣрила, а потомъ такъ обрадовалась, что весь вечеръ меня спрашивала, цѣловала и плакала, и когда я ужъ ей все рассказала, то она мнѣ впередъ приказала: чтобъ я никогда не боялась дѣдушку, и что, стало-быть, дѣдушка любить меня, коль нарочно приходилъ ко мнѣ. И велѣла, чтобъ я ласкалась къ дѣдушкѣ и говорила съ нимъ. А на другой день все меня выслала нѣсколько разъ поутру, хотя я и сказала ей, что дѣдушка приходилъ всегда только передъ вечеромъ. Сама же она за мной издали шла и за угломъ пряталась и на другой день такъ же, но дѣдушка не пришелъ, а въ эти дни шелъ дождь, и матушка очень простудилась, потому что все со мной выходила за ворота, и опять слегла.

Дѣдушка же пришелъ черезъ недѣлю и опять мнѣ купилъ одну рыбку и яблоко и опять ничего не сказалъ. А когда ужъ онъ пошелъ отъ меня, я тихонько пошла за нимъ, потому что заранѣе такъ вздумала, чтобъ узнать гдѣ живетъ дѣдушка, и сказать мамашѣ. Я шла издали по другой сторонѣ улицы, такъ, чтобъ дѣдушка меня не видалъ. А жилъ онъ очень далеко, не тамъ, гдѣ послѣ жилъ и умеръ, а въ Гороховой, тоже въ большомъ домѣ, въ четвертомъ этажѣ. Я все это узнала и поздно воротилась домой. Мамаша очень испугалась, потому что не знала, гдѣ я была. Когда же я рассказала, то мамаша опять очень обрадовалась, и тотчасъ же хотѣла идти къ дѣдушкѣ, на другой же день; но на другой день стала думать и бояться и все боялась, цѣлыхъ три дня; такъ и не ходила. А потомъ позвала меня и сказала: „вотъ что, Нелли, я теперь больна и не могу идти, а я написала письмо къ твоему дѣдушкѣ, поди къ нему и отдай письмо. И смотри, Нелли, какъ онъ его прочтетъ, и что скажетъ, и что будетъ дѣлать; а ты стань на колѣни, цѣлуй его и проси его, чтобъ онъ простилъ твою мамашу...“ И мамаша очень плакала, и все меня цѣловала и крестила въ дорогу и Богу молилась, и меня съ собой на колѣни передъ образомъ поставила, и хоть очень была больна, но вышла меня провожать къ воротамъ и когда я оглядывалась, она все стояла и глядѣла на меня, какъ я иду...

Я пришла къ дѣдушкѣ и отворила дверь, а дверь была безъ крючка. Дѣдушка сидѣлъ за столомъ и кушалъ хлѣбъ съ картофелемъ, а Азорка стоялъ передъ нимъ, смотрѣлъ, какъ онъ ѣстъ, и хвостомъ махалъ. У дѣдушки тоже и

въ той квартирѣ были окна низкія, темныя, и тоже только одинъ столъ и стулъ. А жилъ онъ одинъ. Я вошла, и онъ такъ испугался, что весь поблѣднѣлъ и затрясся. Я тоже испугалась и ничего не сказала, а только подошла къ столу и положила письмо. Дѣдушка какъ увидаль письмо, то такъ разсердился, что вскочилъ, схватилъ палку и замахнулся на меня, но не ударилъ, а только вывелъ меня въ сѣни и толкнулъ меня. Я еще не успѣла и съ первой лѣстницы сойти, какъ онъ отворилъ опять дверь и выбросилъ мнѣ назадъ письмо, нераспечатанное. Я пришла домой и все рассказала. Тутъ матушка слегла опять...

### ГЛАВА VIII.

Въ эту минуту раздался довольно сильный ударъ грома, и дождь крупнымъ ливнемъ застучалъ въ стекла; въ комнатѣ стемнѣло. Старушка словно испугалась и перекрестилась. Мы всѣ вдругъ остановились.

— Сейчасъ пройдетъ, сказалъ старикъ, поглядывая на окна; затѣмъ всталъ и прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ.

Нелли искоса слѣдила за нимъ взглядомъ. Она была въ чрезвычайномъ, болѣзненномъ волненіи. Я видѣлъ это; но на меня она какъ-то избѣгала глядѣть.

— Ну, что-жъ дальше? спросилъ старикъ, снова усѣвшись въ свои кресла.

Нелли пугливо оглядѣлась кругомъ.

— Такъ ты ужъ больше и не видала своего дѣдушку?

— Нѣтъ, видѣла...

— Да, да! Рассказывай, голубчикъ мой, рассказывай, подхватила Анна Андреевна.

— Я его три недѣли не видала, начала Нелли, — до самой зимы. Тутъ зима стала и снѣгъ выпалъ. Когда же я встрѣтила дѣдушку опять, на прежнемъ мѣстѣ, то очень обрадовалась... потому что мамаша тосковала, что онъ не ходитъ. Я какъ увидѣла его, нарочно побѣжала на другую сторону улицы, чтобъ онъ видѣлъ, что я бѣгу отъ него. Только я оглянулась и вижу, что дѣдушка сначала скоро пошелъ за мной, а потомъ и побѣжалъ, чтобъ меня догнать, и сталъ кричать мнѣ: „Нелли, Нелли!“ И Азорка бѣжалъ за нимъ. Мнѣ жалко стало, я и остановилась. Дѣдушка подошелъ и взялъ меня за руку и повелъ, а когда увидѣлъ, что я плачу, остановился, посмотрѣлъ на меня, нагнулся и поцѣловалъ. Тутъ онъ увидаль, что

у меня башмаки худые и спросилъ: развѣ у меня нѣтъ другихъ. Я тотчасъ же сказала ему поскорѣй, что у мамы совсѣмъ нѣтъ денегъ и что намъ хозяева изъ одной жалости ѣсть даютъ. Дѣдушка ничего не сказалъ, но повелъ меня на рынокъ и купилъ мнѣ башмаки и велѣлъ тутъ же ихъ надѣть, а потомъ повелъ меня къ себѣ, въ Гороховую, а прежде зашелъ въ лавочку и купилъ пирогъ и двѣ конфетки и, когда мы пришли, сказалъ, чтобъ я ѣла пирогъ, и смотрѣлъ на меня, когда я ѣла, а потомъ далъ мнѣ конфетки. А Азорка положилъ лапы на столъ и тоже просилъ пирога, я ему и дала, и дѣдушка засмѣялся. Потомъ взялъ меня, поставилъ подлѣ себя, началъ по головѣ гладить и спрашивать: училась-ли я чему-нибудь и что я знаю? Я ему сказала, а онъ велѣлъ мнѣ, какъ только мнѣ можно будетъ, каждый день, въ три часа, ходить къ нему и что онъ самъ будетъ учить меня. Потомъ сказалъ мнѣ, чтобъ я отвернулась и смотрѣла въ окно, покажеться онъ скажетъ, чтобъ я опять повернулась къ нему. Я такъ и стояла, но тихонько обернулась назадъ и увидѣла, что онъ распоролъ свою подушку, съ нижняго уголка, и вынулъ четыре цѣлковыхъ. Когда вынулъ, принесъ ихъ мнѣ и сказалъ: „Это тебѣ одной“. Я было взяла, но потомъ подумала и сказала: „Коли мнѣ одной, такъ я не возьму“. Дѣдушка вдругъ разсердился и сказалъ мнѣ: „ну, бери какъ знаешь, ступай“. Я вышла, а онъ и не поцѣловалъ меня.

Какъ я пришла домой, все мамашѣ и рассказала. А мамашѣ все становилось хуже и хуже. Къ гробовщику ходилъ одинъ студентъ; онъ лѣчилъ мамашу и велѣлъ ей лѣкарства принимать.

А я ходила къ дѣдушкѣ часто: мамаша такъ приказывала. Дѣдушка купилъ Новый Завѣтъ и Географію, и сталъ меня учить; а иногда рассказывалъ мнѣ, какія на свѣтѣ есть земли и какіе люди живутъ, и какія моря, и что было прежде, и какъ Христось насъ всѣхъ простилъ. Когда я его сама спрашивала, то онъ былъ очень радъ; потому я и стала часто его спрашивать, и онъ все рассказывалъ, и про Бога много говорилъ. А иногда мы не учились и съ Азоркой играли: Азорка меня очень стала любить, и я его выучила черезъ палеку скакать, и дѣдушка смѣялся и все меня по головкѣ гладилъ. Только дѣдушка рѣдко смѣялся. Одинъ разъ много говорить, а то вдругъ замолчить и сидеть, какъ будто заснулъ, а

глаза открыты. Такъ и досидитъ до сумерокъ, а въ сумерки онъ такой становится страшный, старый такой... А то, бывало, приду къ нему, а онъ сидитъ на своемъ стулѣ, думаетъ и ничего не слышитъ, и Азорка подлѣ него лежитъ. Я жду, жду и кашляю; дѣдушка все не оглядывается. Я такъ и уйду. А дома мамаша такъ ужъ и ждетъ меня; она лежитъ, а я ей рассказываю все, все, такъ что и ночь придетъ, а я все говорю и она все слушаетъ про дѣдушку: что онъ дѣлалъ сегодня, и что мнѣ рассказывалъ, какія исторіи, и что на урокъ мнѣ задалъ. А какъ начну про Азорку, что я его черезъ палку заставляла скакать и что дѣдушка смѣялся, то и она вдругъ начнетъ смѣяться, и долго, бывало, смѣется и радуется, и опять заставляетъ повторить, а потомъ молиться начнетъ. А я все думала: что-жъ мамаша такъ любитъ дѣдушку, а онъ ее не любитъ, и когда пришла къ дѣдушкѣ, то нарочно стала ему рассказывать, какъ мамаша его любитъ. Онъ все слушалъ, такой сердитый, а все слушалъ и ни слова не говорилъ; тогда я и спросила, отчего мамаша его такъ любитъ, что все о немъ спрашиваетъ, а онъ никогда про мамашу не спрашиваетъ. Дѣдушка разсердился и выгналъ меня за дверь; я немножко постояла за дверью, а онъ вдругъ опять открылъ и позвалъ меня назадъ, и все сердился и молчалъ. А когда потомъ мы начали Законъ Божій читать, я опять спросила: отчего же Иисусъ Христосъ сказалъ: „любите другъ друга и прощайте обиды“, а онъ не хочетъ простить маму? Тогда онъ вскочилъ и закричалъ, что это мамаша меня научила, вытолкала меня въ другой разъ вонъ и сказалъ, чтобъ я никогда не смѣла теперь къ нему приходиться. А я сказала, что я и сама теперь къ нему не приду и ушла отъ него... А дѣдушка на другой день изъ квартиры переѣхалъ...

— Я сказалъ, что дождь скоро пройдетъ, вотъ и прошелъ, вотъ и солнышко... смотри, Ваня, сказалъ Николай Сергѣичъ, оборотясь къ окну.

Анна Андреевна поглядѣла на него въ чрезвычайномъ недоумѣніи, и вдругъ негодованіе засверкало въ глазахъ доселѣ смирной и напуганной старушки. Молча взяла она Нелли за руку и посадила къ себѣ на колѣни.

— Рассказывай мнѣ, ангелъ мой, сказала она, — я буду тебя слушать. Пусть тѣ, у кого жестокия сердца...

Она не договорила и заплакала. Нелли вопросительно



взглянула на меня, какъ бы въ недоумѣннн и въ испугѣ. Старикъ посмотрѣлъ на меня, пожалъ было плечамн, но тотчасъ же отвернулся.

— Продолжай, Нелли, сказалъ я.

— Я три дня не ходила къ дѣдушкѣ, начала опять Нелли,—а въ это время мамашѣ стало худо. Деньги у насъ всѣ вышли, а лѣкарства не на что было купить, да и не ѣли мы ничего, потому что у хозяевъ тоже ничего не было, и они стали насъ попрекать, что мы на ихъ счетъ живемъ. Тогда я на третій день утромъ встала и начала одѣваться. Мамаша спросила: куда я иду? Я и сказала: къ дѣдушкѣ, просить денегъ, и она обрадовалась, потому что я уже рассказала мамашѣ все, какъ онъ прогналъ меня отъ себя, и сказала ей, что не хочу больше ходить къ дѣдушкѣ, хоть она и плакала и уговаривала меня идти. Я пришла и узнала, что дѣдушкѣ переѣхаль, и пошла искать его въ новый домъ. Какъ только я пришла къ нему въ новую квартиру, онъ вскочилъ, бросился на меня и затопалъ ногами, и я ему тотчасъ сказала, что мамаша очень больна, что на лѣкарство надо денегъ, пятьдесятъ копеекъ, а намъ ѣсть нечего. Дѣдушка закричалъ и вытолкалъ меня на лѣстницу и заперъ за мной дверь на крючокъ. Но когда онъ толкалъ меня, я ему сказала, что я на лѣстницѣ буду сидѣть и до тѣхъ поръ не уйду, покамѣстъ онъ денегъ не дастъ. Я и сидѣла на лѣстницѣ. Немного спустя онъ отворилъ дверь и увидѣлъ, что я сижу, и опять затворилъ. Потомъ долго прошло; онъ опять отворилъ, опять увидѣлъ меня и опять затворилъ. И потомъ много разъ отворялъ и смотрѣлъ. Наконецъ, вышелъ съ Азоркой, заперъ дверь и прошелъ мимо меня со двора и ни слова мнѣ не сказалъ. И я ни слова не сказала и такъ и осталась сидѣть, и сидѣла до сумерокъ.

— Голубушка моя, вскричала Анна Андреевна, — да вѣдь холодно, знать, на лѣстницѣ-то было!

— Я была въ шубкѣ, отвѣчала Нелли.

— Да что-жъ въ шубкѣ... голубчикъ ты мой, сколько ты натерпѣлась! Что-жъ онъ, дѣдушка-то твой?

Губки у Нелли начало было потрогивать, но она сдѣлала чрезвычайное усиліе и скрѣпила себя.

— Онъ пришелъ, какъ уже стало совсѣмъ темно, и входя наткнулся на меня и закричалъ: кто тутъ? Я сказала, что это я. А онъ вѣрно думалъ, что я давно ушла,

и какъ увидалъ, что я все еще тутъ, то очень удивился и долго стоялъ передо мной. Вдругъ ударилъ по ступенькамъ палкой, побѣжалъ, отперъ свою дверь и черезъ минуту вынесъ мнѣ мѣдныхъ денегъ, все пятаки, и бросилъ ихъ мнѣ на лѣстницу.—„Вотъ тебѣ, закричалъ,—возьми, это у меня все, что было, и скажи твоей матери, что я ее проклиная“,—а самъ захлопнулъ дверь. А пятаки покатились по лѣстницѣ. Я начала подбирать ихъ въ темнотѣ, и дѣдушка видно догадался, что онъ разбросалъ пятаки и что въ темнотѣ мнѣ ихъ трудно собрать, отворилъ дверь и вынесъ свѣчку, и при свѣчкѣ я скоро ихъ собрала. И дѣдушка самъ собиралъ вмѣстѣ со мной и сказалъ мнѣ, что тутъ всего должно быть семь гривенъ, и самъ ушелъ. Когда я пришла домой, я отдала деньги и все рассказала мамашѣ, и мамашѣ сдѣлалось хуже, а сама я всю ночь была больна и на другой день тоже вся въ жару была, но я только объ одномъ думала, потому что сердилась на дѣдушку, и когда мамаша заснула, пошла на улицу, къ дѣдушкиной квартирѣ, и не доходя, стала на мосту. Тутъ и прошелъ *тотъ*...

— Это Архиповъ, сказала я, — тотъ, о которомъ я говорилъ, Николай Сергѣичъ,—вотъ, что съ купцомъ у Бубновой былъ и котораго тамъ отколотили. Это въ первый разъ Нелли его тогда увидала... Продолжай, Нелли.

— Я остановила его и попросила денегъ, рубль серебромъ. Онъ посмотрѣлъ на меня и спросилъ: „рубль серебромъ?“ Я сказала: „да“. Тогда онъ засмѣялся и сказалъ мнѣ: пойдемъ со мной. Я не знала, идти-ли; вдругъ подошелъ одинъ старичокъ, въ золотыхъ очкахъ, а онъ слышалъ, какъ я спрашивала рубль серебромъ, нагнулся ко мнѣ и спросилъ: для чего я непременно столько хочу. Я сказала ему, что мамаша больна и что нужно столько на лѣкарство. Онъ спросилъ: гдѣ мы живемъ, и записалъ, и далъ мнѣ бумажку рубль серебромъ. А *тотъ*, какъ увидалъ старика въ очкахъ, ушелъ и не звалъ меня больше съ собой. Я пошла въ лавочку и размѣняла рубль на мѣдныя; тридцать копеекъ завернула въ бумажку и отложила мамашѣ, а семь гривенъ не завернула въ бумажку, а нарочно зажала въ рукахъ и пошла къ дѣдушкѣ. Какъ пришла къ нему, то отворила дверь, стала на порогѣ, размахнулась и бросила ему съ размаха всѣ деньги, такъ онъ и покатились по полу. „Вотъ возьмите ваши деньги! сказала я ему.—Не надо ихъ отъ васъ мамашѣ, потому

что вы ее проклинаете“. хлопнула дверью и тотчас же убѣжала прочь.

Ея глаза засверкали, и она съ наивно-вызывающимъ видомъ взглянула на старика.

— Такъ и надо, сказала Анна Андреевна, не смотря на Николая Сергѣича и крѣпко прижимая къ себѣ Нелли.— Такъ и надо съ нимъ; твой дѣдушка былъ злой и жестокосердый...

— Гм! отозвался Николай Сергѣичъ.

— Ну, такъ какъ же, какъ же? съ нетерпѣніемъ спрашивала Анна Андреевна.

— Я перестала ходить больше къ дѣдушкѣ и онъ пересталъ ходить ко мнѣ, отвѣчала Нелли.

— Что-жъ, какъ же вы остались съ мамашей-то? Охъ, бѣдныя вы, бѣдныя!

— А мамашѣ стало еще хуже, и она уже рѣдко вставала съ постели, продолжала Нелли, и голосъ ея задрожалъ и прервался.— Денегъ у насъ ужъ ничего больше не было, я и стала ходить съ капитаншей. А капитанша по домамъ ходила, тоже и на улицѣ людей хорошихъ останавливала и просила, тѣмъ и жила. Она говорила мнѣ, что она не нищая, а что у ней бумаги есть, гдѣ ея чинъ написанъ и написано тоже, что она бѣдная. Эти бумаги она и показывала, и ей за это деньги давали. Она и говорила мнѣ, что у всѣхъ просить не стыдно. Я и ходила съ ней, и намъ подавали, тѣмъ мы и жили. Мамаша узнала про это, потому что жильцы стали попрекать, что она нищая, а Бубнова сама приходила къ мамашѣ и говорила, что лучше-бъ она меня къ ней отпустила, а не просить милостыню. Она и прежде къ мамашѣ приходила и ей денегъ носила; а когда мамаша не брала отъ нея, то Бубнова говорила: зачѣмъ вы такія гордыя, и кушанье присылала. А какъ сказала она это теперь про меня, то мамаша заплакала, испугалась, а Бубнова начала ее бранить, потому что была пьяна, и сказала, что я и безъ того нищая и съ капитаншей хожу, и въ тотъ же вечеръ выгнала капитаншу изъ дому. Мамаша, какъ узнала про все, то стала плакать, потомъ вдругъ встала съ постели, одѣлась, схватила меня за руку и повела за собой. Иванъ Александрычъ сталъ ее останавливать, но она не слушала, и мы вышли. Мамаша едва могла ходить и каждую минуту садилась на улицѣ, а я ее придерживала. Мамаша все говорила, что идетъ

къ дѣдушкѣ и чтобъ я вела ее, а ужъ давно стала ночь. Вдругъ мы пришли въ большую улицу; тутъ передъ однимъ домомъ останавливались кареты и много выходило народу, а въ окнахъ вездѣ былъ свѣтъ и слышна была музыка. Мамаша остановилась, схватила меня и сказала мнѣ тогда: „Нелли, будь бѣдная, будь всю жизнь бѣдная, не ходи къ нимъ, кто бы тебя ни позвалъ, кто бы ни пришелъ. И ты бы могла тамъ быть, богатая и въ хорошемъ платьѣ, да я этого не хочу. Они злые и жестокіе, и вотъ тебѣ мое приказаніе: оставайся бѣдной, работай и милостыню проси, а если кто придетъ за тобой, скажи: не хочу къ вамъ!..“ Это мнѣ говорила мамаша, когда больна была, и я всю жизнь хочу ее слушаться, прибавила Нелли, дрожа отъ волненія, съ разгорѣвшимся личикомъ,—и всю жизнь буду служить и работать, и къ вамъ пришла тоже служить и работать, а не хочу быть, какъ дочь...

— Полно, полно, голубка моя, полно! вскрикнула старушка, крѣпко обнимая Нелли.—Вѣдь, матушка твоя была въ это время больна, когда говорила.

— Безумная была! рѣзко замѣтилъ старикъ.

— Пусть безумная! подхватила Нелли, рѣзко обращаясь къ нему.—Пусть безумная, но она мнѣ такъ приказала, такъ я и буду всю жизнь. И когда она мнѣ это сказала, то даже въ обморокъ упала.

— Господи Боже! вскрикнула Анна Андреевна.—Большая-то, на улицѣ, зимой!..

— Насъ хотѣли взять въ полицію, но одинъ господинъ вступился, разспросилъ у меня квартиру, далъ мнѣ десять рублей и велѣлъ отвезти мамашу къ намъ домой на своихъ лошадахъ. Послѣ этого мамаша ужъ и не вставала, а черезъ три недѣли умерла...

— А отецъ-то что-жъ? Такъ и не простилъ? вскрикнула Анна Андреевна.

— Не простилъ! отвѣчала Нелли, съ мученіемъ пересиливая себя.—За недѣлю до смерти, мамаша подозвала меня и сказала: „Нелли, сходи еще разъ къ дѣдушкѣ, въ послѣдній разъ, и попроси, чтобъ онъ пришелъ ко мнѣ и простилъ меня; скажи ему, что я черезъ нѣсколько дней умру и тебя одну на свѣтъ оставляю. И скажи ему еще, что мнѣ тяжело умирать“... Я и пошла, постучалась къ дѣдушкѣ, онъ отворилъ, и какъ увидѣлъ меня, тотчасъ хотѣлъ было передо мной дверь затворить, но я

ухватилась за дверь обѣими руками и закричала ему: „мамаша умираетъ, васъ зоветъ, идите!..“ Но онъ оттолкнулъ меня и захлопнулъ дверь. Я воротилась къ мамашѣ, легла подлѣ нея, обняла ее и ничего не сказала... Мамаша тоже обняла меня и ничего не спрашивала...

Тутъ Николай Сергѣичъ тяжело оперся рукой на столъ и всталъ, но, обедя насъ всѣхъ какимъ-то страннымъ, мутнымъ взглядомъ, какъ бы въ безсиліи опустился въ кресла. Анна Андреевна уже не глядѣла на него, но, рыдая, обнимала Нелли...

— Вотъ въ послѣдній день, передъ тѣмъ, какъ ей умереть, передъ вечеромъ, мамаша подозвала меня къ себѣ, взяла меня за руку и сказала: „Я сегодня умру, Нелли“, хотѣла было еще говорить, но ужъ не могла. Я смотрю на нее, а она ужъ какъ будто меня и не видитъ, только въ рукахъ мою руку крѣпко держитъ. Я тихонько вынула руку и побѣжала изъ дому, и всю дорогу бѣжала бѣгомъ и прибѣжала къ дѣдушкѣ. Какъ онъ увидѣлъ меня, то вскочилъ со стула и смотреть, и такъ испугался, что совсѣмъ сталъ такой блѣдный и весь задрожалъ. Я схватила его за руку и только одно и выговорила: „сейчасъ умереть“. Тутъ онъ вдругъ такъ и заметался; схватилъ свою палку и побѣжалъ за мной; даже и шляпу забылъ, а было холодно. Я схватила шляпу и надѣла ее ему, и мы вмѣстѣ выбѣжали. Я торопила его и говорила, чтобъ онъ нанялъ извозчика, потому что мамаша сейчасъ умереть; но у дѣдушки было только семь копеекъ всѣхъ денегъ. Онъ останавливалъ извозчиковъ, торговался, но они только смѣялись, и надъ Азоркой смѣялись, а Азорка съ нами бѣжалъ, и мы все дальше и дальше бѣжали. Дѣдушка усталъ и дышалъ трудно, но все торопился и бѣжалъ. Вдругъ онъ упалъ и шляпа съ него соскочила. Я подняла его, надѣла ему опять шляпу и стала его рукой вести, и только передъ самой ночью мы пришли домой... Но матушка уже лежала мертвая. Какъ увидѣлъ ее дѣдушка, всплеснулъ руками, задрожалъ и сталъ надъ ней, а самъ ничего не говорить. Тогда я подошла къ мертвой мамашѣ, схватила дѣдушку за руку и закричала ему: „вотъ, жестокой и злой чловѣкъ, вотъ, смотри!.. Смотри!“ Тутъ дѣдушка закричалъ и упалъ на полъ, какъ мертвый...

Нелли вскочила, высвободилась изъ объятій Анны Андреевны и стала посреди насъ, блѣдная, измученная и

испуганная. Но Анна Андреевна бросилась къ ней, и снова обнявъ ее, закричала, какъ будто въ какомъ-то вдохновеніи:

— Я, я буду тебѣ мать теперь, Нелли, а ты мое дитя! Да, Нелли, уйдемъ, бросимъ ихъ всѣхъ, жестокихъ и злыхъ! Пусть потѣшаются надъ людьми, Богъ, Богъ зачтетъ имъ... Пойдемъ, Нелли, пойдемъ отсюда, пойдемъ!..

Я никогда, ни прежде, ни послѣ, не видалъ ее въ такомъ состояніи, да и не думалъ, чтобъ она могла быть когда-нибудь такъ взволнована. Николай Сергѣичъ выпрямился въ креслахъ, приподнялся и прерывающимся голосомъ спросилъ:

— Куда ты, Анна Андреевна?

— Къ ней, къ дочери, къ Наташѣ! закричала она и потащила Нелли за собою къ дверямъ.

— Постой, постой, подожди!

— Нечего ждать, жестокосердый и злой человѣкъ! Я долга ждала и она долго ждала, а теперь прощай!..

Отвѣтивъ это, старушка обернулась, взглянула на мужа и остолбенѣла. Николай Сергѣичъ стоялъ передъ ней, захвативъ свою шляпу, и дрожавшими, бессильными руками торопливо натягивалъ на себя свое пальто.

— И ты... и ты со мной! вскрикнула она, съ мольбою сложивъ руки и недовѣрчиво смотря на него, какъ будто не смѣя и повѣрить такому счастью.

— Наташа, гдѣ моя Наташа? Гдѣ она? Гдѣ дочь моя? вырвалось, наконецъ, изъ груди старика. — Отдайте мнѣ мою Наташу! Гдѣ, гдѣ она?

И, схвативъ костыль, который я ему подаль, онъ бросился къ дверямъ.

— Простилъ! Простилъ! вскричала Анна Андреевна.

Но старикъ не дошелъ до порога. Дверь быстро открылась, и въ комнату вбѣжала Наташа, блѣдная, съ сверкающими глазами, какъ будто въ горячкѣ. Платье ея было измято и смочено дождемъ. Платочекъ, которымъ она накрыла голову, сбился у ней на затылокъ и на разбившихся густыхъ прядяхъ ея волосъ сверкали крупныя капли дождя. Она вбѣжала, увидала отца и съ крикомъ бросилась передъ нимъ на колѣни, простирая къ нему руки.

## ГЛАВА IX.

Но онъ уже держалъ ее въ своихъ объятіяхъ!..

Онъ схватилъ ее и, поднявъ какъ ребенка, отнесъ въ

свои кресла, посадилъ ее, а самъ упалъ передъ ней на колѣни. Онъ цѣловалъ ея руки, ноги, онъ торопился цѣловать ее, торопился наглядѣться на нее, какъ будто еще не вѣря, что она опять вмѣстѣ съ нимъ, что онъ опять ее видитъ и слышитъ,—ее, свою дочь, свою Наташу. Анна Андреевна, рыдая, схватила ее, прижала голову ея къ своей груди и такъ и замерла въ этомъ объятіи, не въ силахъ произнести слова.

— Другъ мой!.. Жизнь моя!.. Радость моя!.. безсвязно восклицалъ старикъ, схвативъ руки Наташи и, какъ влюбленный, смотря въ блѣдное, худенькое, но прекрасное личико ея, въ глаза ея, въ которыхъ блистали слезы. — Радость моя, дитя мое! повторялъ онъ, и опять смолкалъ и съ благоговѣйнымъ упоеніемъ глядѣлъ на нее.—Что же, что же мнѣ сказали, что она похудѣла! проговорилъ онъ съ торопливою, какъ будто дѣтскою улыбкою, обращаясь къ намъ и все еще стоя передъ ней на колѣняхъ.—Худенькая, правда, блѣдненькая, но посмотри на нее, какая хорошенькая! Еще лучше, чѣмъ прежде была, да, лучше! прибавилъ онъ, невольно умолкая подъ душевной болью, радостною болью, отъ которой какъ будто душу ломить на-двое.

— Встаньте, папаша! Да встаньте же, говорила Наташа.—Вѣдь, мнѣ тоже хочется васъ цѣловать...

— О, милая! Слышишь, слышишь, Аннушка, какъ она это хорошо сказала.

И онъ судорожно обнялъ ее.

— Нѣтъ, Наташа, мнѣ, мнѣ надо у твоихъ ногъ лежать до тѣхъ поръ, пока сердце мое услышитъ, что ты простила меня, потому что никогда, никогда не могу заслужить я теперь отъ тебя прощенія! Я отвергъ тебя, я проклиналъ тебя, слышишь, Наташа, я проклиналъ тебя,—и я могъ это сдѣлать!.. А ты, а ты, Наташа: и могла ты повѣрить, что я тебя проклялъ! И повѣрила—вѣдь, повѣрила! Не надо было вѣрить! Не вѣрила бы, просто бы не вѣрила! Жестокое сердечко! Что же ты не шла ко мнѣ? Вѣдь ты знала, какъ я приму тебя... О, Наташа, вѣдь, ты помнишь, какъ я прежде тебя любилъ: ну, а теперь, и во все это время я тебя вдвое, въ тысячу разъ больше любилъ, чѣмъ прежде! Я тебя съ кровью любилъ! Душу бы изъ себя съ кровью вынулъ, сердце свое располосовалъ, да къ ногамъ твоимъ положилъ бы!.. О, радость моя!

— Да поцѣлуйте же меня, жестокой вы человекъ, въ губы, въ лицо поцѣлуйте, какъ мамаша цѣлуетъ! воскликнула Наташа большимъ, расслабленнымъ, полнымъ слезами радости голосомъ.

— И въ глазки тоже! И въ глазки тоже! Помнишь, какъ прежде, повторялъ старикъ, послѣ долгаго, сладкаго объятія съ дочерью.—О, Наташа! Снилось-ли тебѣ когда про насъ? А мнѣ ты снилась чуть не каждую ночь и каждую ночь ты ко мнѣ приходила, и я надъ тобой плакалъ, а одинъ разъ ты какъ маленькая пришла, помнишь, когда еще тебѣ только десять лѣтъ было, и ты на фортепьяно только что начинала учиться,—пришла въ коротенькомъ платицѣ, въ хорошенькихъ башмачкахъ и съ ручками красненькими... вѣдь, у ней красненькія такія ручки были тогда, помнишь, Аннушка?—пришла ко мнѣ, на колѣни сѣла и обняла меня... И ты, и ты, дѣвочка ты злая! И ты могла думать, что я проклялъ тебя, что я не приму тебя, если-бъ ты пришла!.. Да вѣдь я... слушай, Наташа: да вѣдь я часто къ тебѣ ходилъ, и мать не знала, и никто не зналъ; то подъ окнами у тебя стою, то жду: полсутки иной разъ жду, гдѣ-нибудь на тротуарѣ у твоихъ воротъ! Не выйдешь-ли ты, чтобъ издали только посмотреть на тебя! А то у тебя по вечерамъ свѣча на окошкѣ часто горѣла; такъ сколько разъ я, Наташа, по вечерамъ къ тебѣ ходилъ, хоть на свѣчку твою посмотреть, хоть тѣнь твою въ окнѣ увидать, благословить тебя на ночь. А ты благословляла-ли меня на ночь? Думала-ли обо мнѣ! Слышало-ли твое сердечко, что я тутъ подъ окномъ? А сколько разъ, зимой, я поздно ночью на твою лѣстницу подымусь и въ темныхъ сѣняхъ стою, сквозь дверь прислушиваюсь: не услышу-ли твоего голоса. Не засмѣешься-ли ты? Проклялъ? Да вѣдь я въ этотъ вечеръ къ тебѣ приходилъ, простить тебя хотѣлъ и только отъ дверей воротился... О, Наташа!

Онъ всталъ, приподнял ея изъ кресель и крѣпко-крѣпко прижалъ ея къ сердцу.

— Она здѣсь, опять у моего сердца! вскричалъ онъ.— О, благодарю Тебя, Боже, за все, за все, и за гнѣвъ Твой, и за милость Твою!.. И за солнце Твое, которое просіяло теперь, послѣ грозы, на насъ! За всю эту минуту благодарю! О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вмѣстѣ, и пусть, пусть теперь торжествуютъ эти гордые и надменные, унижившіе и оскорбившіе насъ!



Пусть они бросятъ въ насъ камень! Не бойся, Наташа... Мы пойдемъ рука въ руку, и я скажу имъ: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это безгрѣшная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я, я люблю, и которую благословляю во вѣки вѣковъ!

— Ваня! Ваня!.. слабымъ голосомъ проговорила Наташа, протягивая мнѣ изъ объятій отца свою руку.

О, никогда я не забуду, что въ эту минуту она вспомнила обо мнѣ и позвала меня!

— Гдѣ же Нелли? спросилъ старикъ, озираясь.

— Ахъ, гдѣ же она? вскрикнула старушка.—Голубчикъ мой! Вѣдь, мы такъ ее и оставили!

Но ее не было въ комнатѣ; она незамѣтно проскользнула въ спальню. Всѣ пошли туда. Нелли стояла въ углу, за дверью, и пугливо пряталась отъ насъ.

— Нелли, что съ тобой, дитя мое! воскликнулъ старикъ, желая обнять ее.

Но она какъ-то долго на него посмотрѣла...

— Мамаша, гдѣ мамаша? проговорила она, какъ въ безпамятствѣ. — Гдѣ моя мамаша? вскрикнула она еще разъ, протягивая свои дрожащія руки къ намъ.

И вдругъ, страшный, ужасный крикъ вырвался изъ ея груди; судороги пробѣжали по лицу ея и она въ страшномъ припадкѣ упала на полъ...



## Э п и л о г ъ .

### Послѣднія воспоминанія.

Половина іюня. День жаркій и удушливый; въ городѣ невозможно оставаться: пыль, известь, перестройки, раскаленные камни, отравленный испареніями воздухъ... Но вотъ—о, радости!—загремѣлъ гдѣ-то громъ; мало-по-малу небо нахмурилось; повѣялъ вѣтеръ, гоня передъ собою клубы городской пыли. Нѣсколько крупныхъ капель тяжело упало на землю, а за ними вдругъ какъ будто разверзлось все небо и дѣлая рѣка воды пролилась надъ городомъ. Когда черезъ полчаса снова просіяло солнце, я отворилъ окно моей каморки и жадно, всею усталой грудью, дохнулъ свѣжимъ воздухомъ. Въ упоеніи я было хотѣлъ уже бросить перо и всѣ дѣла мои, и самого антрепренера, и бѣжать къ *нашимъ* на Васильевскій. Но хоть и великъ былъ соблазнъ, я—таки успѣлъ побороть себя и съ какою-то яростью снова напалъ на бумагу: во что бы то ни стало нужно было кончить! Антрепренеръ велить и иначе не дастъ денегъ. Меня *тамъ* ждуть, но зато я вечеромъ буду свободенъ, совершенно свободенъ, какъ вѣтеръ, и сегодняшній вечеръ вознаградитъ меня за эти послѣдніе два дня и двѣ ночи, въ которые я написалъ три печатныхъ листа съ половиною.

И вотъ, наконецъ, кончена и работа, бросаю перо и поднимаюсь, ощущаю боль въ спинѣ и въ груди и дурманъ въ головѣ. Знаю, что въ эту минуту нервы мои разстроены въ сильной степени и какъ будто слышу послѣднія слова, сказанныя мнѣ моимъ старичкомъ-докторомъ: „Нѣтъ, никакое здоровье не выдержитъ подобныхъ напряженій, по-

тому что это невозможно!“ Однакожь, покамѣсть это возможно! Голова моя кружится, я едва стою на ногахъ; но радость, безпредѣльная радость наполняетъ мое сердце. Повѣсть моя совершенно кончена, и антрепренеръ, хотя я ему и много теперь долженъ, все-таки дастъ мнѣ хоть сколько-нибудь, увидя въ своихъ рукахъ добычу, — хоть пятьдесятъ рублей, а я давнымъ-давно не видалъ у себя въ рукахъ такихъ денегъ. Свобода и деньги!.. Въ восторгѣ я схватилъ шляпу, рукопись подъ мышку и бѣгу стремглавъ, чтобъ застать дома нашего драгоцѣннѣйшаго Александра Петровича.

Я застаю его, но уже на выходѣ. Онъ, въ свою очередь, только что кончилъ одну нелитературную, но зато очень выгодную спекуляцію, и, выпроводивъ, наконецъ, какого-то черномазенькаго жидка, съ которымъ просидѣлъ два часа сряду въ своемъ кабинетѣ, привѣтливо подаетъ мнѣ руку и своимъ мягкимъ, милымъ баскомъ, спрашиваетъ о моемъ здоровьи. Это добрейшій человекъ, и я, безъ шутокъ, многимъ ему обязанъ. Чѣмъ же онъ виновать, что въ литературѣ онъ всю жизнь былъ *только* антрепренеромъ? Онъ смекнулъ, что литературѣ надо антрепренера, и смекнулъ очень въ-время, честь ему и слава за это, — антрепренерская, разумѣется.

Онъ съ пріятной улыбкой узнаетъ, что повѣсть кончена и что слѣдующій номеръ книжки такимъ образомъ обезпеченъ въ главномъ отдѣлѣ, и удивляется, какъ это я могъ хоть что-нибудь *кончить*, и при этомъ премило острить. Затѣмъ идетъ къ своему желѣзному сундуку, чтобъ выдать мнѣ обѣщанные пятьдесятъ рублей, а мнѣ между тѣмъ протягиваетъ другой враждебный толстый журналъ, и указываетъ на нѣсколько строкъ, въ отдѣлѣ критики, гдѣ говорится два слова и о послѣдней моей повѣсти.

Смотрю: это статья „Переписчика“. Меня не то чтобъ ругаютъ, но и не то чтобъ хвалить, и я очень доволенъ. Но „Переписчикъ“ говорить, между прочимъ, что отъ сочиненій моихъ вообще „пахнетъ потомъ“, то-есть я до того надъ ними потѣю, тружусь, до того ихъ обдѣлываю и отдѣлываю, что становится приторно.

Мы съ антрепренеромъ хохочемъ. Я докладываю ему, что прошлая повѣсть моя была написана въ двѣ ночи, а теперь въ два дня и двѣ ночи написано мною три съ половиной печатныхъ листа, и если бъ зналъ это „Пере-

писчикъ“, упрекающій меня въ излишней кснотливости и въ тугой медленности моей работы!

— Однакожъ, вы сами виноваты, Иванъ Петровичъ. За чѣмъ же вы такъ запаздываете, что приходится вотъ работать по ночамъ?

Александръ Петровичъ, конечно, милѣйшій человекъ, хотя у него есть особенная слабость—похвастаться своимъ литературнымъ сужденіемъ именно передъ тѣми, которые, какъ и самъ онъ подозрѣваетъ, понимаютъ его насквозь. Но мнѣ не хочется разсуждать съ нимъ о литературѣ, я получаю деньги и беру съ шляпу. Александръ Петровичъ ѣдетъ на Острова на свою дачу и услышавъ, что я на Васильевскій, благодушно предлагаетъ довести меня въ своей каретѣ.

— У меня, вѣдь, новая каретка; вы не видали? Премиленькая.

Мы сходимъ къ подъѣзду. Карета дѣйствительно премиленькая, и Александръ Петровичъ на первыхъ порахъ своего владѣнія ею ощущаетъ чрезвычайное удовольствіе и даже нѣкоторую душевную потребность *подвозитъ* въ ней своихъ знакомыхъ.

Въ каретѣ Александръ Петровичъ опять нѣсколько разъ пускается въ разсужденія о современной литературѣ. При мнѣ онъ не конфузится и преспокойно повторяетъ разныя чужія мысли, слышанныя имъ на-дняхъ отъ кого-нибудь изъ литераторовъ, которымъ онъ вѣритъ и чье сужденіе уважаетъ. При этомъ ему случается иногда уважать удивительныя вещи. Случается ему тоже перевернуть чужое мнѣніе или вставлять его не туда, куда слѣдуетъ, такъ что выходитъ бурда. Я сижу, молча слушаю и дивлюсь разнообразію и прихотливости страстей человѣческихъ. „Ну, вотъ человекъ, думаю я про себя,—сколачивалъ бы себѣ деньги, да сколачивалъ; нѣтъ, ему еще нужно славы, литературной славы, славы хорошаго издателя, критика!“

Въ настоящую минуту онъ силится подробно изложить мнѣ одну литературную мысль, слышанную имъ дня три тому назадъ отъ меня же, и противъ которой онъ, три дня тому назадъ, со мной же спорилъ, а теперь выдаетъ ее за свою. Но съ Александромъ Петровичемъ такая забывчивость поминутно случается, и онъ извѣстенъ этой невинной слабостью между всѣми своими знакомыми. Какъ онъ радъ теперь, ораторствуя въ *своей* каретѣ, какъ до-

воленъ судьбой, какъ благодушень! Онъ ведетъ учено-литературный разговоръ и даже мягкій, приличный его басокъ отзывается ученостью. Мало-по-малу, онъ *замберальничался*, и переходитъ къ невинно-скептическому убѣжденію, что въ литературѣ нашей, да и вообще ни въ какой и никогда, не можетъ быть ни у кого честности и скромности, а есть только одно „взаимное битье другъ друга по мордасамъ“—особенно при началѣ подписки. Я думаю про себя, что Александръ Петровичъ наклоненъ даже всякаго честнаго и искренняго литератора, за его честность и искренность, считать, если не дуракомъ, то, по крайней мѣрѣ, простофилей. Разумѣется, такое сужденіе прямо выходитъ изъ чрезвычайной невинности Александра Петровича.

Но я уже его не слушаю. На Васильевскомъ островѣ онъ выпускаетъ меня изъ кареты, и я бѣгу къ нашимъ. Вотъ и тринадцатая линія, вотъ и ихъ домикъ. Анна Андреевна, увидя меня, грозитъ мнѣ пальцемъ, махаетъ на меня руками и *шикаетъ* на меня, чтобъ я не шумѣлъ.

— Нелли только что заснула, бѣдняжка! шепчетъ она мнѣ поскорѣе. — Ради Бога, не разбудите! Только ужъ очень она, голубушка, слаба. Боимся мы за нее. Докторъ говоритъ, что это покамѣстъ ничего. Да чтò отъ него путнаго - то добьешся, отъ *вашего* доктора! И не грѣхъ вамъ это, Иванъ Петровичъ! Ждали васъ, ждали къ обѣду-то... вѣдь, двое сутокъ не были!..

— Но вѣдь я объявилъ еще третьяго дня, что не буду двое сутокъ, шепчу я Аннѣ Андреевнѣ.—Надо было работу кончать...

— Да вѣдь къ обѣду сегодня обѣщался же придти! Что-жъ не приходилъ? Нелли нарочно съ постельки встала, ангельчикъ мой, въ кресло покойное ее усадили, да и вывезли къ обѣду. „Хочу, дескать, съ вами вмѣстѣ Ваню ждать“, а нашъ Ваня и не бывалъ. Вѣдь шесть часовъ скоро! Гдѣ протаскался-то? Грѣховодники вы этакіе! Вѣдь ее вы такъ разстроили, что ужъ я не знала, какъ и уговорить... благо заснула, голубушка. А Николай Сергѣичъ къ тому же въ городъ ушелъ (къ чаю - то будетъ): одна и бьюсь... Мѣсто-то ему, Иванъ Петровичъ, выходитъ; только какъ подумаю, что въ Перми, такъ и захолонетъ у меня на душѣ...

— А гдѣ Наташа?

— Въ садикѣ, голубка, въ садикѣ! Сходите къ ней...

Что-то она тоже у меня такая... какая-то и не соображу... Охъ, Иванъ Петровичъ, тяжело мнѣ душой! Увѣряетъ, что весела и довольна, да не вѣрю я ей... Сходи-ка къ ней, Ваня, да мнѣ и Расскажи уже потихоньку, что съ ней... Слышишь?

Но я уже не слушаю Анну Андреевну, а бѣгу въ садикъ. Этотъ садикъ принадлежитъ къ дому; онъ шаговъ въ двадцать пять длиною и столько же въ ширину, и весь заросъ зеленью. Въ немъ три высокихъ, старыхъ, раскидистыхъ дерева, нѣсколько молодыхъ березокъ, нѣсколько кустовъ сирени, жимолости, есть уголокъ малиника, двѣ грядки съ клубникой и двѣ узенькихъ, извилистыхъ дорожки, вдоль и поперекъ садика. Старикъ отъ него въ восторгѣ и увѣряетъ, что въ немъ скоро будутъ расти грибы. Главное же въ томъ, что Нелли полюбила этотъ садикъ, и ее часто вывозятъ въ креслахъ на садовую дорожку, а Нелли теперь идола всего дома. Но вотъ и Наташа; она съ радостью встрѣчаетъ меня и протягиваетъ мнѣ руку. Какъ она худа, какъ она блѣдна! Она тоже едва оправилась отъ болѣзни.

— Совсѣмъ-ли кончилъ, Ваня? спрашиваетъ она меня.

— Совсѣмъ, совсѣмъ! И на весь вечеръ совершенно свободенъ.

— Ну, слава Богу! Торопился? Портить?

— Что-жъ дѣлать! Впрочемъ, это ничего. У меня выработывается, въ такую напряженную работу, какое-то особенное раздраженіе нервовъ; я яснѣе соображаю, живѣе и глубже чувствую и даже слогъ мнѣ вполне подчиняется, такъ что въ напряженной-то работѣ и лучше выходитъ. Все хорошо...

— Эхъ, Ваня, Ваня!

Я замѣчаю, что Наташа въ послѣднее время стала страшно ревнива къ моимъ литературнымъ успѣхамъ, къ моей славѣ. Она перечитываетъ все, что я въ послѣдній годъ напечаталъ, поминутно спрашиваетъ о дальнѣйшихъ планахъ моихъ, интересуется каждой критикой, на меня написанной, сердится на инья и непременно хочетъ, чтобъ я высоко поставилъ себя въ литературѣ. Желанія ея выражаются до того сильно и настойчиво, что я даже удивляюсь теперешнему ея направленію.

— Ты только испишешься, Ваня, говоритъ она мнѣ, — изнасилуешь себя и испишешься; а кромѣ того и здоровье погубишь. Вонъ С<sup>\*\*\*</sup>, тотъ въ два года по одной повѣсти

пишетъ, а N\* въ десять лѣтъ всего только одинъ романъ написалъ. Зато какъ у нихъ отчеканено, отдѣлано! Ни одной небрежности не найдешь.

— Да, но они обезпечены и пишутъ не на срокъ, а л—почтовая кляча! Ну, да это все вздоръ! Оставимъ это, другъ мой. Чтò, нѣтъ-ли новаго?

— Много. Во-первыхъ, отъ *него* письмо.

— Еще?

— Еще.

И она подала мнѣ письмо отъ Алеши. Это уже третье послѣ разлуки. Первое онъ написалъ еще изъ Москвы и написалъ точно въ какомъ-то припадкѣ. Онъ увѣдомлялъ, что обстоятельства такъ сошлись, что ему никакъ нельзя воротиться изъ Москвы въ Петербургъ, какъ было проектировано при разлукѣ. Во второмъ письмѣ онъ спѣшилъ извѣстить, что пріѣзжаетъ къ намъ на-дняхъ, чтобъ поскорѣй обвѣнчаться съ Наташей, что это рѣшено и никакими силами не можетъ быть остановлено. А между тѣмъ, по тону всего письма было ясно, что онъ въ отчаяніи, что постороннія вліянія уже вполне отяготѣли надъ нимъ, и что онъ уже самъ себѣ не вѣрилъ. Онъ упоминалъ, между прочимъ, что Катя—его провидѣніе и что она одна утѣшаетъ и поддерживаетъ его. Я съ жадностью раскрылъ его теперешнее, *третье*, письмо.

Оно было на двухъ листахъ, написано отрывочно, безпорядочно, наскоро и неразборчиво, закапано чернилами и слезами. Начиналось тѣмъ, что Алеша отрекался отъ Наташи и уговаривалъ ее забыть его. Онъ силился доказать, что союзъ ихъ невозможенъ, что постороннія, враждебныя вліянія сильнѣе всего, и что, наконецъ, такъ и должно быть: и онъ, и Наташа вмѣстѣ будутъ несчастны, потому что они не ровня. Но онъ не выдержалъ и вдругъ, бросивъ свои разсужденія и доказательства, тутъ же, прямо, не разорвавъ и не отбросивъ первой половины письма, признавался, что онъ преступникъ передъ Наташей, что онъ погибшій человекъ, и не въ силахъ возстать противъ желаній отца, пріѣхавшаго въ деревню. Писалъ онъ, что не въ силахъ выразить своихъ мученій; признавался, между прочимъ, что вполне сознаетъ въ себѣ возможность составить счастье Наташи, начиналъ вдругъ доказывать, что они вполне ровня; съ упорствомъ, со злобою опровергалъ доводы отца; въ отчаяніи рисовалъ картину блаженства всей жизни, которое готовилось бы имъ обоимъ,

ему и Наташѣ, въ случаѣ ихъ брака, проклиналъ себя за свое малодушіе и—прощался навѣки! Письмо было написано съ мученіемъ; онъ, видимо, писалъ внѣ себя, у меня навернулись слезы... Наташа подала мнѣ другое письмо, отъ Кати. Это письмо пришло въ одномъ конвертѣ съ Алешинымъ, но особо запечатанное. Катя довольно кратко, въ нѣсколькихъ строкахъ, увѣдомляла, что Алеша дѣйствительно очень груститъ, много плачетъ и какъ будто въ отчаяніи, даже боленъ немного, но что она съ нимъ и что онъ будетъ счастливъ. Между прочимъ, Катя силилась растолковать Наташѣ, чтобъ она не подумала, что Алеша такъ скоро могъ утѣшиться и что будто грусть его не серьезна. „Онъ васъ не забудетъ никогда“, прибавила Катя, „да и не можетъ забыть никогда, потому что у него не такое сердце; любитъ онъ васъ безпредѣльно, будетъ всегда любить, такъ что если разлюбить васъ, хоть когда-нибудь, если хоть когда-нибудь перестанетъ тосковать при воспоминаніи о васъ, то я сама разлюблю его за это тотчасъ же“...

Я возвратилъ Наташѣ оба письма: мы переглянулись съ ней и не сказали ни слова. Такъ было и при первыхъ двухъ письмахъ, да и вообще о прошломъ мы теперь избѣгали говорить, какъ будто между нами это было условлено. Она страдала невыносимо, я это видѣлъ, но не хотѣла высказываться даже и передо мною. Послѣ возвращенія въ родительскій домъ, она три недѣли вылежала въ горячкѣ и теперь едва оправилась. Мы даже мало говорили и о близкой перемѣнѣ нашей, хотя она и знала, что старикъ получаетъ мѣсто и что намъ придется скоро разстаться. Несмотря на то, она до того была ко мнѣ нѣжна, внимательна, до того занималась всѣмъ, что касалось до меня, во все это время; съ такимъ настойчивымъ, упорнымъ вниманіемъ выслушивала все, что я долженъ былъ ей рассказывать о себѣ, что сначала мнѣ это было даже тяжело: мнѣ казалось, что она хотѣла меня вознаградить за прошлое. Но эта тягость быстро исчезла: я понялъ, что въ ней совсѣмъ другое желаніе, что она *просто* любитъ меня, любитъ безконечно, не можетъ жить безъ меня и не заботиться о всемъ, что до меня касается, и я думаю, никогда сестра не любила до такой степени своего брата, какъ Наташа любила меня. Я очень хорошо зналъ, что предстоявшая наша разлука давила ея сердце, что Наташа мучилась; она знала тоже, что и я не могу



безъ нел жить; но мы объ этомъ не говорили, хотя и подробно разговаривали о предстоящихъ событіяхъ...

Я спросилъ о Николаѣ Сергѣичѣ.

— Онъ скоро, я думаю, воротится, отвѣчала Наташа.— Общала къ чаю.

— Это онъ все о мѣстѣ хлопочетъ?

— Да; впрочемъ, мѣсто ужъ теперь, безъ сомнѣнія, будетъ; да и уходить ему былъ осегодня, кажется, не зачѣмъ, прибавила она въ раздумьѣ.—Могъ бы и завтра.

— Зачѣмъ же онъ ушелъ?

— А потому, что я письмо получила...

— Онъ до того *боленъ* мной, прибавила Наташа, помолчавъ,—что мнѣ это даже тяжело, Ваня. Онъ, кажется, и во снѣ только одну меня видитъ. Я увѣрена, что онъ кромѣ того: что со мной, какъ живу я, о чемъ теперь думаю?—ни о чемъ болѣе и не помышляетъ. Всякая тоска моя отзывается въ немъ. Я вѣдь вижу, какъ онъ неловко иногда старается пересилить себя и показать видъ, что обо мнѣ не тоскуетъ, напускаетъ на себя веселость, старается смѣяться и насъ смѣшить. Маменька тоже въ эти минуты сама не своя и тоже не вѣритъ его смѣху, и задыхается... Такая она неловкая... Прямая душа! прибавила она со смѣхомъ.— Вотъ, какъ я получила сегодня письма, ему и понадобилось сейчасъ убѣжать, чтобъ не встрѣчаться со мной глазами... Я его больше себя, больше всѣхъ на свѣтѣ люблю, Ваня, прибавила она, потупивъ голову и сжавъ мою руку,—даже больше тебя...

Мы прошли два раза по саду, прежде чѣмъ она начала говорить.

— У насъ сегодня Маслобоевъ былъ, и вчера тоже былъ, сказала она.

— Да, онъ въ послѣднее время очень часто повадился къ вамъ.

— И знаешь-ли, зачѣмъ онъ здѣсь? Маменька въ него вѣруеть, какъ не знаю во что. Она думаетъ, что онъ до того все это знаетъ (ну, тамъ законы и все это), что всякое дѣло можетъ обдѣлать. Какъ ты думаешь, какая у ней теперь мысль бродить? Ей, про себя, очень больно и жаль, что я не сдѣлалась княгиней. Эта мысль ей жить не даетъ, и, кажется, она вполнѣ открылась Маслобоеву. Съ отцомъ она боится говорить объ этомъ и думаетъ: не поможетъ-ли ей въ чемъ-нибудь Маслобоевъ, нельзя-ли какъ хоть по законамъ? Маслобоевъ, кажется, ей не про-

тиворѣчить, а она его виномъ потчуетъ, прибавила съ усмѣшкой Наташа.

— Отъ этого проказника станется. Да почему же ты знаешь?

— Да вѣдь маменька мнѣ сама проговорила... намеками...

— Что Нелли? Какъ она? спросилъ я.

— Я даже удивляюсь тебѣ, Ваня: до сихъ поръ ты о ней не спросилъ? съ упрекомъ сказала Наташа.

Нелли была идоломъ у всѣхъ въ этомъ домѣ. Наташа ужасно полюбила ее и Нелли отдалась ей, наконецъ, всѣмъ своимъ сердцемъ. Бѣдное дитя! Она и не ждала, что същегь когда-нибудь такихъ людей, что найдеть столько любви къ себѣ, и я съ радостью видѣлъ, что озлобленное сердце размягчилось и душа отворилась для насъ всѣхъ. Она съ какимъ-то болѣзненнымъ жаромъ откликнулась на всеобщую любовь, которою была окружена, въ противоположность всему своему прежнему, развившему въ ней недовѣріе, злобу и упорство. Впрочемъ, и теперь Нелли долго упорствовала, долго намѣренно таила отъ насъ слезы примиренія, накипавшія въ ней, и, наконецъ, отдалась намъ совсѣмъ. Она сильно полюбила Наташу, затѣмъ старика. Я же сдѣлался ей чѣмъ-то до того необходимымъ, что болѣзнь ея усиливалась, если я долго не приходилъ. Въ послѣдній разъ, разставаясь на два дня, чтобъ кончить, наконецъ, запущенную мною работу, я долженъ былъ много уговаривать ее... конечно, обиняками. Нелли все еще стыдилась слишкомъ прямого, слишкомъ безза-вѣтнаго проявленія своего чувства...

Она всѣхъ насъ очень безпокоила. Молча и безо всякихъ разговоровъ рѣшено было, что она останется навѣки въ домѣ Николая Сергѣича, а между тѣмъ отъѣздъ приближался, а ей становилось все хуже и хуже. Она заболѣла съ того самаго дня, какъ мы пришли съ ней тогда къ старикамъ, въ день примиренія ихъ съ Наташей. Впрочемъ, что-жь я? Она и всегда была больна. Болѣзнь постепенно росла въ ней и прежде, но теперь начала усиливаться съ необычайною быстротою. Я не знаю и не могу опредѣлить въ точности ея болѣзни. Припадки, правда, повторялись съ ней нѣсколько чаще прежняго; но, главное, какое-то изнуреніе и упадокъ всѣхъ силъ, непрерывное лихорадочное и напряженное состояніе, — это довело ее въ послѣдніе дни до того, что она уже не

вставала съ постели. И странно: чѣмъ болѣе одолевала ее болѣзнь, тѣмъ мягче, тѣмъ ласковѣе, тѣмъ открытѣе къ намъ становилась Нелли. Три дня тому назадъ она поймала меня за руку, когда я проходилъ мимо ея кровати, и потянула меня къ себѣ. Въ комнатѣ никого не было. Лицо ея было въ жару (она ужасно похудѣла), глаза сверкали огнемъ. Она судорожно-страстно потянулась ко мнѣ, и когда я наклонился къ ней, она крѣпко обхватила мою шею своими смуглыми худенькими руками и крѣпко поцѣловала меня, а потомъ тотчасъ же потребовала къ себѣ Наташу; я позвалъ ее; Нелли непременно хотѣлось, чтобъ Наташа присѣла къ ней на кровать и смотрѣла на нее...

— Мнѣ самой на васъ смотрѣть хочется, сказала она.— Я васъ вчера во снѣ видѣла и сегодня ночью увижу... вы мнѣ часто снитесь... всякую ночь...

Ей, очевидно, хотѣлось что-то высказать, чувство давило ее; но она и сама не понимала своихъ чувствъ и не знала, какъ ихъ выразить...

Николай Сергѣича она любила почти болѣе всѣхъ, кромѣ меня. Надо сказать, что и Николай Сергѣичъ чуть-ли не такъ же любилъ ее, какъ и Наташу. Онъ имѣлъ удивительное свойство развеселять и смѣшить Нелли. Только что онъ, бывало, придетъ къ ней, тотчасъ же и начинается смѣхъ и даже шалости. Больная дѣвочка развеселялась, какъ ребенокъ, кокетничала со старикомъ, подсмѣивалась надъ нимъ, рассказывала ему свои сны и всегда что-нибудь выдумывала, заставляла разсказывать и его, и старикъ до того былъ радъ, до того былъ доволенъ, смотря на свою „маленькую дочку Нелли“, что каждый день все болѣе и болѣе приходилъ отъ нея въ восторгъ.

— Ее намъ всѣмъ Богъ послалъ, въ награду за наши страданія, сказалъ онъ мнѣ разъ, уходя отъ Нелли и перекрестивъ ее, по обыкновенію, на ночь.

Каждый день, но вечерамъ, когда мы всѣ собирались вмѣстѣ (Маслобоевъ тоже приходилъ почти каждый вечеръ), пріѣзжалъ иногда и старикъ-докторъ, привязавшійся всею душою къ Ихменевымъ; вывозили и Нелли въ ея креслѣ, къ намъ, за круглый столъ. Дверь на балконъ отворялась. Зеленый садикъ, освѣщенный заходящимъ солнцемъ, былъ весь на виду. Изъ него пахло свѣжей зеленью и только что распустившеюся сиренью. Нелли сидѣла въ своемъ креслѣ, ласково на всѣхъ насъ посма-

тривала и прислушивалась къ нашему разговору. Иногда же оживлялась и сама непримѣтно начинала тоже что-нибудь говорить... Но въ такія минуты мы всё слушали ее обыкновенно даже съ безпокойствомъ, потому что въ ея воспоминаніяхъ были темы, которыхъ нельзя было касаться. И я, и Наташа, и Ихменевы чувствовали и признавали всю нашу вину передъ ней, въ тотъ день, когда она, трепещущая и измученная, *должна* была рассказать намъ свою исторію. Докторъ особенно былъ противъ этихъ воспоминаній и разговоръ обыкновенно старались переменить. Въ такихъ случаяхъ Нелли старалась не показать намъ, что понимаетъ наши усилія и начинала смѣяться съ докторомъ или съ Николаемъ Сергѣичемъ.

И однакожь ей дѣлалось все хуже и хуже. Она стала чрезвычайно впечатлительна. Сердце ея билось неправильно. Докторъ сказалъ мнѣ даже, что она можетъ умереть очень скоро.

Я не говорилъ этого Ихменевымъ, чтобъ не растревожить ихъ. Николай Сергѣичъ былъ вполне увѣренъ, что она выздоровѣетъ къ дорогѣ.

— Вотъ и папенька воротился, сказала Наташа, слышавъ его голосъ.—Пойдемъ, Ваня.

Николай Сергѣичъ, едва переступивъ за порогъ, по обыкновенію своему, громко заговорилъ. Анна Андреевна такъ и замахала на него руками. Старикъ тотчасъ же присмирѣлъ, и, увидя меня и Наташу, шопотомъ и съ утормоленнымъ видомъ сталъ намъ рассказывать о результатахъ своихъ походовъ: мѣсто, о которомъ онъ хлопоталъ, было за нимъ, и онъ очень былъ радъ.

— Черезъ двѣ недѣли можно и ѣхать, сказалъ онъ, потирая руки и заботливо, искоса, взглянулъ на Наташу.

Но та отвѣтила ему улыбкой и обняла его, такъ что сомнѣнія его мигомъ разсѣялись.

— Поѣдемъ, поѣдемъ, друзья мои, поѣдемъ! заговорилъ онъ, обрадовавшись.—Вотъ только ты, Ваня, только съ тобой расставаться больно... (Замѣчу, что онъ ни разу не предложилъ мнѣ ѣхать съ ними вмѣстѣ, что, судя по его характеру, непременно бы сдѣлалъ... при другихъ обстоятельствахъ, то-есть, если бъ не зналъ моей любви къ Наташѣ).

— Ну, что-жъ дѣлать, друзья, что-жъ дѣлать! Больно мнѣ, Ваня; но переменя мѣста насъ всѣхъ оживить... Пе-

ремѣна мѣста—значить, перемѣна *всего!* прибавилъ онъ, еще разъ взглянувъ на дочь.

Онъ вѣрилъ въ это и былъ радъ своей вѣрѣ.

— А Нелли? сказала Анна Андреевна.

— Нелли? Что-жь... она, голубчикъ мой, больна немножко, но къ тому-то времени ужъ навѣрно выздоровѣетъ. Ей и теперь лучше: какъ ты думаешь, Ваня? проговорилъ онъ, какъ бы испугавшись, и съ безпокойствомъ смотрѣлъ на меня, точно я-то и долженъ былъ разрѣшить его недоумѣннѣ.

— Что она? Какъ спала? Не было-ли съ ней чего? Не проснулась-ли она теперь? Знаешь что, Анна Андреевна: мы столикъ-то придвинемъ поскорѣй на террасу, принесутъ самоваръ, придутъ наши, мы всѣ усядемся и Нелли къ намъ выйдетъ... Вотъ и прекрасно. Да ужъ не проснулась-ли она? Пойду я къ ней. Только посмотрю на нее... не разбужу, не безпокойся! прибавилъ онъ, видя, что Анна Андреевна снова замахала на него руками.

Но Нелли уже проснулась. Черезъ четверть часа мы всѣ по обыкновенію сидѣли вокругъ стола за вечернимъ самоваромъ.

Нелли вывели въ креслахъ. Явился докторъ, явился и Маслобоевъ. Онъ принесъ для Нелли большой букетъ сирени, но самъ былъ чѣмъ-то озабоченъ и какъ будто раздосадованъ.

Кстати: Маслобоевъ ходилъ чуть не каждый день. Я уже говорилъ, что всѣ, и особенно Анна Андреевна, чрезвычайно его полюбили, но никогда ни слова не упоминалось у насъ вслухъ объ Александрѣ Семеновнѣ; не упоминалъ о ней и самъ Маслобоевъ. Анна Андреевна, узнавъ отъ меня, что Александра Семеновна еще не успѣла сдѣлаться его *законной* супругой, рѣшила про себя, что и принимать ее, и говорить о ней въ домѣ нельзя. Такъ и наблюдалось, и этимъ очень обрисовывалась и сама Анна Андреевна. Впрочемъ, не будь у ней Наташи и, главное, не случись того, что случилось, она бы, можетъ-быть, и не была такъ разборчива.

Нелли въ этотъ вечеръ была какъ-то особенно грустна и даже чѣмъ-то озабочена. Какъ будто она видѣла дурной сонъ и задумалась о немъ. Но подарку Маслобоева она очень обрадовалась и съ наслажденіемъ поглядывала на цвѣты, которые поставили передъ ней въ стаканѣ.

— Такъ ты очень любишь цвѣточки, Нелли? сказалъ

старикъ.—Постой же! прибавилъ онъ съ одушевленіемъ,—завтра же... ну, да вотъ увидишь сама!..

— Люблю, отвѣчала Нелли,—и помню, какъ мы мамашу съ цвѣтами встрѣчали. Мамаша, еще когда мы были *тамъ* (*тамъ* значило теперь за границей), была одинъ разъ цѣлый мѣсяцъ очень больна. Я и Генрихъ сговорились, что когда она встанетъ и первый разъ выйдетъ изъ своей спальни, откуда она цѣлый мѣсяцъ не выходила, то мы и уберемъ всѣ комнаты цвѣтами. Вотъ мы такъ и сдѣлали. Мамаша сказала съ вечера, что завтра утромъ она непременно выйдетъ вмѣстѣ съ нами завтракать. Мы встали рано-рано. Генрихъ принесъ много цвѣтовъ, и мы всю комнату убрали зелеными листьями и гирляндами. И плющъ былъ, и еще такіе широкіе листья—ужъ не знаю какъ они называются, и еще другіе листья, которые за все цѣпляются, и бѣлые цвѣты большіе были, и нарцисы были, а я ихъ больше всѣхъ цвѣтовъ люблю, и розы были, такіе славные розы, и много-много было цвѣтовъ. Мы ихъ всѣ развѣсили въ гирляндахъ и въ горшкахъ разставили, и такіе цвѣты тутъ были, что какъ цѣлыя деревья, въ большихъ кадкахъ; ихъ мы по угламъ разставили и у креселъ мамашы, и какъ мамаша вышла, то удивилась и очень обрадовалась, а Генрихъ былъ радъ... Я это теперь помню...

Въ этотъ вечеръ Нелли была какъ-то особенно слаба и слабонервна. Докторъ съ безпокойствомъ взглядывалъ на нее. Но ей очень хотѣлось говорить. И долго, до самыхъ сумерокъ рассказывала она о своей прежней жизни *тамъ*; мы ее не прерывали. *Тамъ* съ мамашей и съ Генрихомъ они много ѣздили, и прежнія воспоминанія ярко возставали въ ея памяти. Она съ волненіемъ рассказывала о голубыхъ небесахъ, о высокихъ горахъ, со снѣгомъ и льдами, которыя она видѣла и проѣзжала, о горныхъ водопадахъ; потомъ объ озерахъ и долинахъ Италіи, о цвѣтахъ и деревьяхъ, о сельскихъ жителяхъ, объ ихъ одеждѣ и объ ихъ смуглыхъ лицахъ и черныхъ глазахъ; рассказывала про разныя встрѣчи и случаи, бывшіе съ ними. Потомъ о большихъ городахъ и дворцахъ, о высокой церкви съ куполомъ, который весь вдругъ иллюминировался разноцвѣтными огнями; потомъ о жаркомъ, южномъ городѣ съ голубыми небесами и съ голубымъ моремъ... Никогда еще Нелли не рассказывала намъ такъ подробно воспоминаній своихъ. Мы слушали ее съ напряженнымъ вниманіемъ. Мы всѣ

знали только до сихъ поръ другія ея воспоминанія—въ мрачномъ, угрюмомъ городѣ, съ давящей, одуряющей атмосферой, съ зараженнымъ воздухомъ, съ драгоценными палатами, всегда запачканными грязью; съ тусклымъ, блѣднымъ солнцемъ и съ злыми, полусумасшедшими людьми, отъ которыхъ такъ много и она, и мамаша ея вытерпѣли. И мнѣ представилось, какъ онѣ обѣ, въ грязномъ подвалѣ, въ сырой сумрачный вечеръ, обнявшись на бѣдной постели своей, вспоминали о своемъ прошедшемъ, о покойномъ Генрихѣ и о чудесахъ другихъ земель... Представилась мнѣ и Нелли, вспоминая все это уже одна, безъ мамы своей, когда Бубнова побоями и звѣрскою жестокостью хотѣла сломить ее и принудить на недоброе дѣло...

Но, наконецъ, съ Нелли сдѣлалось дурно, и ее отнесли назадъ. Старикъ очень испугался и досадовалъ, что ей дали такъ много говорить. Съ ней былъ какой-то припадокъ, въ родѣ обмиранія. Этотъ припадокъ повторялся съ нею уже нѣсколько разъ. Когда онъ кончился, Нелли настоятельно потребовала меня видѣть. Ей надо было что-то сказать мнѣ одному. Она такъ упрашивала объ этомъ, что въ этотъ разъ докторъ самъ настоялъ, чтобъ исполнили ея желаніе, и всѣ вышли изъ комнаты.

— Вотъ что, Ваня, сказала Нелли, когда мы остались вдвоемъ,—я знаю, они думаютъ, что я съ ними поѣду; но я не поѣду, потому что не могу, и останусь пока у тебя, и мнѣ это надо было сказать тебѣ.

Я сталъ было ее уговаривать; сказалъ, что у Ихменевыхъ ее всѣ такъ любятъ, что ее за родную дочь почитаютъ. Что всѣ будутъ очень жалѣть о ней. Что у меня, напротивъ, ей тяжело будетъ жить, и что хоть я и очень ее люблю, но что, нечего дѣлать, разстаться надо.

— Нѣтъ, нельзя! настойчиво отвѣтила Нелли,—потому что я вижу часто мамашу во снѣ, и она говоритъ мнѣ, чтобъ я не ѣздила съ ними и осталась здѣсь; она говорить, что я очень много согрѣшила, что дѣдушку одного оставила, и все плачетъ, когда это говорить. Я хочу остаться здѣсь и ходить за дѣдушкой, Ваня.

— Но вѣдь твой дѣдушка ужъ умеръ, Нелли, сказалъ я, выслушавъ ее съ удивленіемъ.

Она подумала и пристально посмотрѣла на меня.

— Расскажи мнѣ, Ваня, еще разъ, сказала она,—какъ дѣдушка умеръ. Все расскажи и ничего не пропускай.

Я былъ изумленъ ея требованіемъ, но однакожь при-

пился рассказывать во всей подробности. Я подозрѣвала, что съ нею бредъ, или, по крайней мѣрѣ, что послѣ припадка голова ея еще не совсѣмъ свѣжа.

Она внимательно выслушала мой рассказъ, и, помню, какъ ея черные, сверкающіе больнымъ, лихорадочнымъ блескомъ глаза пристально и неотступно слѣдили за мной во все продолженіе рассказа. Въ комнатѣ было уже темно.

— Нѣтъ, Ваня, онъ не умеръ! сказала она рѣшительно, все выслушавъ и еще разъ подумавъ.—Мамаша мнѣ часто говоритъ о дѣдушкѣ, и когда я вчера сказала ей: „да вѣдь дѣдушка умеръ“, она очень огорчилась, заплакала и сказала мнѣ, что нѣтъ, что мнѣ нарочно такъ сказали, а что онъ ходитъ теперь и милостыню проситъ, „такъ же какъ мы съ тобой прежде просили, говорила мамаша;—и все ходитъ по тому мѣсту, гдѣ мы съ тобой его въ первый разъ встрѣтили, когда я упала передъ нимъ и Азорка узналъ меня“...

— Это сонъ, Нелли, сонъ больной, потому что ты сама больна, сказалъ я ей.

— Я и сама все думала, что это только сонъ, сказала Нелли,—и не говорила никому. Только тебѣ одному рассказать хотѣла. Но сегодня, когда я заснула послѣ того, какъ ты не пришелъ, то увидѣла во снѣ и самого дѣдушку. Онъ сидѣлъ у себя дома и ждалъ меня и былъ такой страшный, худой, и сказалъ, что онъ два дня ничего не ѣлъ и Азорка тоже, и очень на меня сердился и упрекалъ меня. Онъ мнѣ тоже сказалъ, что у него совсѣмъ нѣтъ нюхательнаго табаку, а что безъ этого табаку онъ и жить не можетъ. Онъ и въ самомъ дѣлѣ, Ваня, мнѣ прежде это одинъ разъ говорилъ, ужъ послѣ того какъ мамаша умерла, когда я приходила къ нему. Тогда онъ былъ совсѣмъ больной и почти ничего ужъ не понималъ. Вотъ, какъ я услышала это отъ него сегодня, и думаю: пойду я, стану на мосту и буду милостыню просить, попрошу и куплю ему хлѣба, и варенаго картофеля, и табаку. Вотъ будто я стою, прошу и вижу, что дѣдушка около ходить, помедлить немного и подойдетъ ко мнѣ и посмотреть, сколько я набрала, и возьметъ себѣ. Это, говорить, на хлѣбъ, теперь на табакъ собирай. Я собираю, а онъ подойдетъ и отниметъ у меня. Я ему и говорю, что и безъ того все отдамъ ему и ничего себѣ не спрячу. „Нѣтъ, говорить, ты у меня воруетъ; мнѣ и Бубнова го-



ворила, что ты воровка, оттого-то я тебя къ себѣ никогда и не возьму. Куда ты еще пятакъ дѣла?" Я заплакала тому, что онъ мнѣ не вѣритъ, а онъ меня не слушаетъ и все кричить: „ты украла одинъ пятакъ!“ И сталъ бить меня, тутъ же на мосту, и больно билъ. И я очень плакала... Вотъ я и подумала теперь, Ваня, что онъ непремѣнно живъ и гдѣ-нибудь одинъ ходитъ и ждетъ, чтобъ я къ нему пришла...

Я снова началъ ее уговаривать и разувѣрять и, наконецъ, кажется, разувѣрилъ. Она отвѣчала, что боится теперь заснуть, потому что дѣдушку увидитъ. Наконецъ, крѣпко обняла меня...

— А все-таки я не могу тебя покинуть, Ваня! сказала она мнѣ, прижимаясь къ моему лицу своимъ личкомъ. — Если бъ и дѣдушки не было, я все съ тобой не разстанусь.

Въ домѣ всѣ были испуганы припадкомъ Нелли. Я потихоньку пересказала доктору всѣ ея грѣзы и спросилъ у него окончательно, какъ онъ думаетъ объ ея болѣзни.

— Ничего еще не извѣстно, отвѣчалъ онъ, соображая, — я покамѣстъ догадываюсь, размышляю, наблюдаю, — но... ничего не извѣстно. Вообще выздоровленіе невозможно. Она умретъ. Я имъ не говорю, потому что вы такъ просили, но мнѣ жаль, и я предложу завтра же консилиумъ. Можетъ-быть, болѣзнь приметъ послѣ консилиума другой оборотъ. Но мнѣ очень жаль эту дѣвочку, какъ дочь мою... Милая, милая дѣвочка! И съ такимъ игривымъ умомъ!

Николай Сергѣичъ былъ въ особенномъ волненіи.

— Вотъ чтò, Ваня, я придумалъ, сказалъ онъ, — она очень любитъ цвѣты. Знаешь что? Устроимъ-ка ей завтра, какъ она проснется, такой же пріемъ, съ цвѣтами, какъ она съ этимъ Генрихомъ для свой мамы устроила, вотъ что сегодня рассказывала... Она это съ такимъ волненіемъ рассказывала...

— То-то съ волненіемъ, отвѣчалъ я. — Волненія-то ей теперь вредны...

— Да, но пріятныя волненія—другое дѣло! Ужъ повѣрь, голубчикъ, опытности моей повѣрь: пріятныя волненія ничего; пріятныя волненія даже излѣчить могутъ, на здорье подѣйствовать...

Однимъ словомъ, выдумка старика до того прельщала его самого, что онъ уже пришелъ отъ нея въ восторгъ. Невозможно было и возражать ему. Я спросилъ совѣта

у доктора, но прежде чѣмъ тотъ собрался сообразить, старикъ уже схватилъ свой картузь и побѣжалъ обдѣлывать дѣло.

— Вотъ что, сказалъ онъ мнѣ, уходя,—тутъ, неподалеку, есть одна оранжерея; богатая оранжерея. Садовники распродаютъ цвѣты, можно достать, и предешево. Удивительно даже какъ дешево!.. Ты внуши это Аннѣ Андреевнѣ, а то она сейчасъ разсердится за расходы... Ну, такъ вотъ... Да! Вотъ что еще, дружище: куда ты теперь? Вѣдь отдѣлался, кончилъ работу, такъ чего-жъ тебѣ домой-то спѣшить? Ночуй у насъ, наверху, въ свѣтелкѣ: помнишь, какъ прежде бывало. И тюфякъ твой, и кровать—все тамъ на прежнемъ мѣстѣ стоитъ и не тронуто. Заснешь, какъ французскій король. А? останься-ка. Завтра проснемся пораньше, принесутъ цвѣты и къ восьми часамъ мы вмѣстѣ всю комнату уберемъ. И Наташа поможетъ: у ней вкусу-то вѣдь больше, чѣмъ у насъ съ тобой... Ну, соглашаешься? Ночуешь?

Рѣшили, что я останусь ночевать. Старикъ обдѣлалъ дѣло. Докторъ и Маслобоевъ простились и ушли. У Ихменевыхъ ложились спать рано, въ одиннадцать часовъ. Уходя, Маслобоевъ былъ въ задумчивости и хотѣлъ мнѣ что-то сказать, но отложилъ до другого раза. Когда же я, простясь со стариками, поднялся въ свою свѣтелку, то, къ удивленію моему, увидѣлъ его опять. Онъ сидѣлъ въ ожиданіи меня за столикомъ и перелистывалъ какую-то книгу.

— Воротился съ дороги, Ваня, потому лучше ужъ теперь рассказать. Садись-ка. Видишь, дѣло-то все такое глупое, досадно даже...

— Да что такое?

— Да подлець твой князь разозлилъ, еще двѣ недѣли тому назадъ; да такъ разозлилъ, что я до сихъ поръ злюсь.

— Что, что такое? Развѣ ты все еще съ княземъ въ сношеніяхъ?

— Ну, вотъ ужъ ты сейчасъ „что, что такое?“ точно и Богъ знаетъ что случилось. Ты, братъ, Ваня, ни дать, ни взять, моя Александра Семеновна и вообще все это несносное бабье... Терпѣть не могу бабья!.. Ворона каркнетъ—сейчасъ и „что, что такое?“

— Да ты не сердись.

— Да я вовсе не сержусь, а на всякое дѣло надо

смотря бы обыкновенными глазами, не преувеличивая... Вотъ что.

Онъ немного помолчалъ, какъ будто все еще сердясь на меня. Я не прерывалъ его.

— Видишь, братъ, началъ онъ опять, — напалъ я на одинъ слѣдъ... то-есть въ сущности вовсе не напалъ, и не было никакого слѣда, а такъ мнѣ показалось... то-есть изъ нѣкоторыхъ соображеній я было вывелъ, что Нелли... можетъ-быть... Ну, однимъ словомъ, князева законная дочь.

— Что ты!

— Ну, и заревѣлъ сейчасъ: „что ты!“ То-есть ровно ничего говорить нельзя съ этими людьми! вскричалъ онъ, неистово махнувъ рукой. — Я развѣ говорилъ тебѣ что-нибудь положительно, легкомысленная ты голова? Говорилъ я тебѣ, что она *доказанная законная князева дочь?* Говорилъ или нѣтъ?..

— Послушай, душа моя, прервалъ я его въ сильномъ волненіи, — ради Бога не кричи и объясняйся точно и ясно. Ей-Богу пойму тебя. Пойми, до какой степени это важное дѣло и какія послѣдствія...

— То-то послѣдствія, а изъ чего? Гдѣ доказательства? Дѣла не такъ дѣлаются, и я тебѣ подь секретомъ теперь говорю. А зачѣмъ я объ этомъ съ тобой заговорилъ—потомъ объясню. Значить, такъ надо было. Молчи и слушай, и знай, что все это секретъ... Видишь, какъ было дѣло. Еще зимой, еще прежде, чѣмъ Смитъ умеръ, только что князь воротился изъ Варшавы, и началъ онъ это дѣло. То-есть, начато оно было и гораздо раньше, еще въ прошломъ году. Но тогда онъ одно разыскивалъ, а теперь началъ разыскивать другое. Главное дѣло въ томъ, что онъ нитку потерялъ. Тринадцать лѣтъ какъ онъ разстался въ Парижѣ со Смитихой и бросилъ ее, но всѣ эти тринадцать лѣтъ онъ неуклонно слѣдилъ за нею, зналъ, что она живетъ съ Генрихомъ, про котораго сегодня рассказывали, зналъ, что у ней Нелли, зналъ, что сама она больна; ну, однимъ словомъ, все зналъ, только вдругъ и потерялъ нитку. А случилось это, кажется, вскорѣ по смерти Генриха, когда Смитиха собралась въ Петербургъ. Въ Петербургѣ онъ, разумѣется, скоро бы ее отыскалъ, подь какимъ бы именемъ она ни воротилась въ Россію; да дѣло въ томъ, что заграничные его агенты его ложнымъ свидѣтельствомъ обманули; увѣрили его, что она живетъ въ одномъ какомъ-то заброшенномъ городишкѣ въ

южной Германіи; сами они обманулись по небрежности: одну приняли за другую. Такъ и продолжалось годъ или больше. По прошествіи года, князь началъ сомнѣваться: по нѣкоторымъ фактамъ ему еще прежде стало казаться, что это не та. Теперь вопросъ: куда дѣлась настоящая Смитиха. И пришло ему въ голову (такъ, даже безо всякихъ данныхъ): не въ Петербургѣ-ли она? Покамѣстъ за границей шла одна справка, онъ уже здѣсь затѣялъ другую, но видно не хотѣлъ употреблять слишкомъ офиціальнаго пути и познакомился со мной. Ему меня рекомендовали: такъ и такъ, дескать, занимается дѣлами, любитель, — ну, и такъ далѣе, и такъ далѣе...

— Ну, такъ вотъ и разъяснилъ онъ мнѣ дѣло; только темно, чортовъ сынъ, разъяснилъ, темно и двусмысленно. Ошибокъ было много, повторялся нѣсколько разъ, факты въ различныхъ видахъ въ одно и то же время передавалъ... Ну, извѣстно, какъ ни хитри, всѣхъ нитокъ не спрячешь. Я, разумѣется, началъ съ подобострастія и простоты душевной, словомъ, рабски преданъ; а по правилу, разъ навсегда мною принятому, а вмѣстѣ съ тѣмъ и по закону природы (потому что это законъ природы) сообразилъ, во-первыхъ: ту-ли надобность мнѣ высказали? Во-вторыхъ: не скрывается-ли подъ высказанной надобностью какой-нибудь другой, недосказанной? Ибо въ послѣднемъ случаѣ, какъ вѣроятно и ты, милый сынъ, можешь понять поэтической своей головой, — онъ меня обкрадывалъ: ибо одна надобность, положимъ, рубль стѣитъ, а другая вчетверо стѣитъ; такъ дуракъ же я буду, если за рубль передамъ ему то, чтѣ четырехъ стѣитъ. Началъ я вникать и догадываться, и мало-по-малу сталъ нападать на слѣды; одно у него самого выпыталъ, другое — кой отъ кого изъ постороннихъ, насчетъ третьяго своимъ умомъ дошелъ. Спросишь ты неравно: почему именно я такъ вздумалъ дѣйствовать? Отвѣчу: хотъ бы по тому одному, что князь слишкомъ ужъ что-то захлопоталъ, чего-то ужъ очень испугался. Потому, въ сущности, чего бы, кажется, пугаться? Увезъ отъ отца любовницу, она забеременѣла, а онъ ее бросилъ. Ну, чтѣ тутъ удивительнаго? Милая, пріятная шалость и больше ничего. Не такому человѣку, какъ князь, этого бояться! Ну, а онъ боялся... Вотъ мнѣ и сомнительно стало. Я, братъ, на нѣкоторые прелюбопытные слѣды напалъ, между прочимъ, черезъ Генриха. Онъ, конечно, умеръ, но отъ одной изъ кузинъ его (те-

перь за однимъ булочникомъ здѣсь, въ Петербургѣ), страстно влюбленной въ него прежде и продолжавшей любить его лѣтъ пятнадцать сряду, несмотря на толстаго фатера-булочника, съ которымъ невзначай прижила восьмерыхъ дѣтей,—отъ этой-то кузины, говорю, я и успѣлъ, черезъ посредство разныхъ многосложныхъ маневровъ, узнать важную вещь. Генрихъ писалъ ей, по нѣмецкому обыменовенію, письма и дневники, а передъ смертью прислалъ ей кой-какія свои бумаги. Она, дура, важнаго-то въ этихъ письмахъ не понимала, а понимала въ нихъ только тѣ мѣста, гдѣ говорится о лунѣ, о мейнъ либеръ Августинѣ и о Виландѣ еще, кажется. Но я-то свѣдѣнія пужныя получилъ и черезъ эти письма на новый слѣдъ попалъ. Узналъ я, напримѣръ, о господинѣ Смитѣ, о капиталѣ, у него похищенномъ дочкой, о князѣ, забравшемъ въ свои руки капиталъ; наконецъ, среди разныхъ восклицаній, обиняковъ и аллегорій, проглянула мнѣ въ письмахъ и настоящая суть: то-есть, Ваня, понимаешь! Ничего положительнаго. Дурачина-Генрихъ нарочно объ этомъ скрывалъ и только намекалъ, ну, а изъ этихъ намековъ, изъ всего-то вмѣстѣ взятаго стала выходить для меня небесная гармонія: князь-то вѣдь былъ на Смитихѣ-то женатъ! Гдѣ женился, какъ, когда именно, за границей или здѣсь, гдѣ документы?—ничего неизвѣстно. То-есть, братъ Ваня, я волосы рвалъ съ досады и отыскивалъ-отыскивалъ, то-есть дни и ночи разыскивалъ?

Разыскалъ я, наконецъ, и Смита, а онъ вдругъ и умри. Я даже на него живого-то и не успѣлъ посмотрѣть. Тутъ, по одному случаю, узнаю я вдругъ, что умерла одна подозрительная для меня женщина на Васильевскомъ островѣ, справляюсь — и нападаю на слѣдъ. Стремлюсь на Васильевскій и, помнишь, мы тогда встрѣтились. Много я тогда почерпнулъ. Однимъ словомъ, помогла мнѣ тутъ во многомъ и Нелли...

— Послушай, прервалъ я его, — неужели ты думаешь, что Нелли знаетъ...

— Чтò?

— Что она дочь князя?

— Да вѣдь ты самъ знаешь, что она дочь князя, отвѣчалъ онъ, глядя на меня съ какою-то злобною укоризною.—Ну, къ чему такіе праздные вопросы дѣлать, пустой ты человекъ? Главное не въ этомъ, а въ томъ, что она не просто дочь князя, а законная дочь князя,—понимаешь ты это?

— Быть не может! вскричалъ я.

— Я и самъ говорилъ себѣ „быть не можетъ“ сначала, даже и теперь иногда говорю себѣ „быть не можетъ!“ Но въ томъ-то и дѣло, что это *быть можетъ*, и по всей вѣроятности *есть*.

— Нѣтъ, Маслобоевъ, это не такъ, ты увлекся! вскричалъ я. — Она не только не знаетъ этого, но она и въ самомъ дѣлѣ незаконная дочь. Неужели мать, имѣя хоть какіе-нибудь документы въ рукахъ, могла выносить такую злую долю, какъ здѣсь въ Петербургѣ, и, кромѣ того, оставить свое дитя на такое сиротство? Полно! Этого быть не можетъ.

— Я и самъ это думалъ, то-есть, это даже до сихъ поръ стоитъ передо мной недоумѣніемъ. Но опять-таки дѣло въ томъ, что вѣдь !Смитиха была сама по себѣ безумнѣйшая и сумасброднѣйшая женщина въ мірѣ. Необыкновенная она женщина была; ты сообрази только всѣ обстоятельства: вѣдь это романтизмъ,— все это надзвѣздныя глупости въ самомъ дикомъ и сумасшедшемъ размѣрѣ. Возьми одно: съ самаго начала она мечтала только о чемъ-то въ родѣ неба на землѣ и объ ангелахъ, влюбилась беззавѣтно, повѣрила безгранично и, я увѣренъ, съ ума сошла потомъ не оттого, что онъ ее разлюбилъ и бросилъ, а оттого, что въ немъ она обманулась, что онъ *способенъ былъ* ее обмануть и бросить; оттого, что ея ангелъ превратился въ грязь, оплевалъ и унизилъ ее. Ея романтическая и безумная душа не вынесла этого превращенія. А сверхъ того и обида: понимаешь, какая обида? Въ ужасѣ и, главное, въ гордости, она отшатнулась отъ него съ безграничнымъ презрѣніемъ. Она разорвала всѣ связи, всѣ документы; плюнула на деньги, даже забыла, что онѣ не ея, а отцовы, и отказалась отъ нихъ, какъ отъ грязи, какъ отъ пыли, чтобъ подавить своего обманщика душевнымъ величіемъ, чтобъ считать его своимъ воромъ и имѣть право всю жизнь презирать его, и тутъ же, вѣроятно, сказала, что безчестіемъ себѣ почитаетъ называться и женой его. У насъ развода нѣтъ, но *de facto* они развелись, и ей-ли было послѣ умолять его о помощи! Вспомни, что она, сумасшедшая, говорила Нелли уже на смертномъ одрѣ: не ходи къ нимъ, работай, погибни, но не ходи къ нимъ, кто бы *ни звалъ тебя* (то-есть она и тутъ мечтала еще, что ее *позовутъ*, а слѣдовательно будетъ случай отмстить еще разъ, подавить презрѣніемъ зо-

*вущаго*, однимъ словомъ, кормила себя вмѣсто хлѣба злобной мечтой). Много, братъ, я выпыталъ и у Нелли; даже и теперь иногда выпытываю. Конечно, мать ея была больна, въ чахоткѣ; эта болѣзнь особенно развиваетъ озлобленіе и всякаго рода раздраженія; но однакожъ я навѣрно знаю, черезъ одну куму у Бубновой, что она писала къ князю: да, къ князю, къ самому князю...

— Писала! И дошло письмо? вскричалъ я съ нетерпѣніемъ.

— Вотъ то-то и есть, не знаю, дошло-ли оно. Разъ Смитиха сошлась съ этой кумой (помнишь, у Бубновой, дѣвка-то набѣленная? Теперь она въ смирительномъ домѣ), ну и послала съ ней это письмо, и написала ужъ его, да и не отдала, назадъ взяла; это было за три недѣли до ея смерти... Фактъ значительный: если разъ ужъ рѣшилась послать, такъ все равно, хотъ и взяла обратно, могла другой разъ посылать. И такъ, посылала-ли она письмо или не посылала,—не знаю; но есть одно основаніе предположить, что не посылала, потому что князь узналъ *навѣрно*, что она въ Петербургѣ и гдѣ именно, кажется, уже послѣ смерти ея. То-то, должно-быть, обрадовался!

— Да, я помню, Алеша говорилъ о какомъ-то письмѣ, которое его очень обрадовало, но это было очень недавно, всего какихъ-нибудь два мѣсяца. Ну, что-жъ дальше, дальше; какъ же ты-то съ княземъ?

— Да чтѣ я-то съ княземъ? Пойми: полнѣйшая нравственная увѣренность и ни одного положительнаго доказательства,—*ни одного*, какъ я ни бился. Положеніе критическое! Надо было за границей справки дѣлать, а гдѣ за границей? — неизвѣстно. Я, разумѣется, понялъ, что предстоитъ мнѣ бой, что я только могу его испугать намеками, прикинуться, что знаю больше, чѣмъ въ самомъ дѣлѣ знаю...

— Ну, и что-жъ?

— Не дался въ обманъ, а, впрочемъ, струсилъ, до того струсилъ, что трусить и теперь. У насъ было нѣсколько сходовъ: какимъ онъ лазаремъ было прикинулся! Разъ, по дружбѣ, самъ мнѣ все принялся рассказывать. Это когда думалъ, что я *все* знаю. Хорошо рассказывалъ, съ чувствомъ, откровенно,—разумѣется, безсовѣстно лгалъ. Вотъ тутъ я и измѣрилъ, до какой степени онъ меня боялся. Прикидывался я передъ нимъ одно время ужаснѣйшимъ

простофилей, а наружу показывалъ, что хитрю. Неловко его запугивалъ, то-есть нарочно неловко; грубостей ему нарочно надѣлалъ, грозить ему было началъ,—ну, все для того, чтобъ онъ меня за простофилю принялъ и какъ-нибудь да проговорился. Догадался, подлець! Другой разъ я пьянымъ прикинулся, тоже толку не вышло,—хитерь! Ты, братъ, можешь-ли это понять, Ваня: мнѣ все надо было узнать, въ какой степени онъ меня опасается, и второе: представить ему, что я больше знаю, чѣмъ знаю въ самомъ дѣлѣ...

— Ну, что-жъ наконецъ-то?

— Да ничего не вышло. Надо было доказательствъ, а ихъ у меня не было. Одно только онъ понялъ, что я все-таки могу сдѣлать скандалъ. Конечно, онъ только скандала одного и боялся, тѣмъ болѣе, что здѣсь связи началъ заводить. Вѣдь ты знаешь, что онъ женится?

— Нѣтъ...

— Въ будущемъ году! Невѣсту онъ себѣ еще въ прошломъ году приглядѣлъ; ей было тогда всего четырнадцать лѣтъ, теперь ей ужъ пятнадцать, кажется, еще въ фартучкѣ ходитъ, бѣдняжка. Родители рады! Понимаешь, какъ ему надо было, чтобъ жена умерла? Генеральская дочка, денежная дѣвочка—много денегъ! Мы, братъ Ваня, съ тобой никогда такъ не женимся... Только чего я себѣ во всю жизнь не прощу, вскричалъ Маслобоевъ, крѣпко стукнувъ кулакомъ по столу,—это—что онъ оплелъ меня, двѣ недѣли назадъ... подлець!

— Какъ такъ?

— Да такъ. Я вижу, онъ понялъ, что у меня нѣтъ ничего *положительнаго*, и, наконецъ, чувствую про себя, что чѣмъ больше дѣло тянуть, тѣмъ скорѣе, значитъ, пойметъ онъ мое безсиліе. Ну, и согласился принять отъ него двѣ тысячи.

— Ты взялъ двѣ тысячи!..

— Серебромъ, Ваня; скрѣпя сердце взялъ. Ну, двухъ-ли тысячъ такое дѣло могло стоить! Съ униженіемъ взялъ. Стою передъ нимъ, какъ оплеванный; онъ говоритъ: „я вамъ, Маслобоевъ, за ваши прежніе труды еще не заплатилъ (а за прежніе онъ давно заплатилъ сто пятьдесятъ рублей, по условію), ну, такъ вотъ я ѣду; тутъ двѣ тысячи, и потому, надѣюсь, *все наше* дѣло совершенно теперь кончено“. Ну, я и отвѣчалъ ему: „совершенно кончено, князь“, а самъ и взглянуть въ его рожу не смѣи;



думаю: такъ и написано теперь на ней: „что, много взялъ? Такъ только, изъ благодушія одного дураку даю!“ Не помню, какъ отъ него и вышелъ!

— Да вѣдь это подло, Маслобоевъ! вскричалъ я, — что-жъ ты сдѣлалъ съ Нелли?

— Это не просто подло, это каторжно, это пагостно... Это... это... да тутъ и словъ нѣтъ, чтобъ выразить!

— Боже мой! Да вѣдь онъ, по крайней мѣрѣ, долженъ бы хотъ обезпечить Нелли!

— То-то долженъ. А чѣмъ принудить? Запугать? Небось, не испугается: вѣдь я деньги взялъ. Самъ, самъ передъ нимъ признался, что всего страху-то у меня на двѣ тысячи рублей серебромъ, самъ себя оцѣнилъ въ эту сумму! Чѣмъ его теперь напугаешь?

— И неужели, неужели дѣло Нелли такъ и пропало? вскричалъ я почти въ отчаяніи.

— Ни за что! вскричалъ съ жаромъ Маслобоевъ, и даже какъ-то весь встрепенулся.—Нѣтъ, я ему этого не спущу! Я опять начну новое дѣло, Ваня: я ужъ рѣшилъ! Что-жъ, что я взялъ двѣ тысячи? Наплевать. Я, выходитъ, за обиду взялъ, потому что онъ, бездѣльникъ, меня надулъ, стало-быть, насмѣялся надо мною. Надулъ, да еще насмѣялся! Нѣтъ, я не позволю надъ собой смѣяться... Теперь я, Ваня, ужъ съ самой Нелли начну. По нѣкоторымъ наблюденіямъ я вполне увѣренъ, что въ ней заключается вся развязка этого дѣла. Она *все* знаетъ, *все*... Ей сама мать разсказала. Въ горячкѣ, въ тоскѣ могла разсказать. Некому было жаловаться, подвернулась Нелли, она ей и разсказала. А, можетъ-быть, и на документики какіе-нибудь попадемъ, прибавилъ онъ въ сладкомъ восторгѣ, потирая руки.—Понимаешь теперь, Ваня, зачѣмъ я сюда шлюсь? Во-первыхъ, изъ дружбы къ тебѣ, это само собою; но главное—наблюдаю Нелли, а въ-третьихъ, другъ Ваня, хочешь не хочешь, а ты долженъ мнѣ помогать, потому что ты имѣешь вліяніе на Нелли!..

— Непремѣнно, клянусь тебѣ, вскричалъ я,—и надѣюсь, Маслобоевъ, что ты, главное, для Нелли будешь стараться, — для бѣдной, обиженной сироты, а не для одной только собственной выгоды...

— Да тебѣ-то какое дѣло, для чьей выгоды я буду стараться, блаженный ты человѣкъ? Только бы сдѣлать,— вотъ что главное! Конечно, главное для сиротки, это и человѣколюбіе велить. Но ты, Ванюша, не осуждай меня

безвозвратно, если я и о себѣ позабочусь. Я человѣкъ бѣдный, а онъ бѣдныхъ людей не смѣй обижать. Онъ у меня мое отнимаетъ, да еще и надулъ подлець вдобавокъ. Такъ я, по-твоему, такому мошеннику долженъ въ зубы смотрѣть? Моргенъ-фри!

Но цвѣточный праздникъ нашъ на другой день не удался. Нелли сдѣлалось хуже и она уже не могла выйти изъ комнаты.

И ужъ никогда больше она не выходила изъ этой комнаты.

Она умерла двѣ недѣли спустя. Въ эти двѣ недѣли своей агоніи она уже ни разу не могла совершенно придти въ себя и избавиться отъ своихъ странныхъ фантазій. Разсудокъ ея какъ будто помутился. Она твердо была увѣрена, до самой смерти своей, что дѣдушка зоветъ ее къ себѣ и сердится на нее, что она не приходитъ, стучить на нее палкой и велить ей идти просить у добрыхъ людей на хлѣбъ и на табакъ. Часто она начинала плакать во снѣ и, просыпаясь, рассказывала, что видѣла мамашу.

Иногда только разсудокъ какъ будто возвращался къ ней вполне. Однажды мы оставались одни; она потянулась ко мнѣ и схватила мою руку своей худенькой, воспаленной отъ горячечнаго жару ручкой.

— Ваня, сказала она мнѣ, — когда я умру, женись на Наташѣ!

Это, кажется, была постоянная и давнишняя ея идея. Я молча улыбнулся ей. Увидя мою улыбку, она улыбнулась сама, съ шаловливымъ видомъ погрозила мнѣ своимъ худенькимъ пальчикомъ и тотчасъ же начала меня цѣловать.

За три дня до своей смерти, въ прелестный лѣтній вечеръ, она попросила, чтобъ подняли штору и открыли окно въ ея спальнѣ. Окно выходило въ садикъ; она долго смотрѣла на густую зелень, на заходящее солнце и вдругъ попросила, чтобъ насъ оставили однихъ.

— Ваня, сказала она едва слышнымъ голосомъ, потому что была уже очень слаба, — я скоро умру. Очень скоро, и хочу тебѣ сказать, чтобъ ты меня помнилъ. На память я тебѣ оставляю вотъ это (и она показала мнѣ большую ладонку, которая висѣла у ней на груди, вмѣстѣ съ крестомъ). Это мнѣ мамаша оставила, умирая. Такъ вотъ, когда я умру, ты и свими эту ладонку, возьми себѣ и

прочти, что въ ней есть. Я и всѣмъ имъ сегодня скажу, чтобъ они одному тебѣ отдали эту ладонь. И когда ты прочтешь, что въ ней написано, то поди къ *нему* и скажи, что я умерла, а *его* не простила. Скажи ему тоже, что я Евангеліе недавно читала. Тамъ сказано: прощайте всѣмъ врагамъ своимъ. Ну, такъ я это читала, а *его* все-таки не простила, потому что, когда мамаша умирала и еще могла говорить, то послѣднее, что она сказала, было: *проклинаю его*, ну, такъ и я *его* проклинаю, не за себя, а за мамашу проклинаю... Расскажи же ему, какъ умирала мамаша, какъ я осталась одна у Бубновой; расскажи, какъ ты видѣлъ меня у Бубновой,—все, все расскажи, и скажи тутъ же, что я лучше хотѣла быть у Бубновой, а къ *нему* не пошла...

Говоря это, Нелли поблѣднѣла, глаза ея засверкали и сердце начало стучать такъ сильно, что она опустилась на подушки и минуты двѣ не могла проговорить слова.

— Позови ихъ, Ваня, сказала она, наконецъ, слабымъ голосомъ,—я хочу съ ними со всѣми проститься. Прощай, Ваня!..

Она крѣпко-крѣпко обняла меня въ послѣдній разъ. Вошли всѣ наши. Старикъ не могъ понять, что она умираетъ; допустить этой мысли не могъ. Онъ до послѣдняго времени спорилъ со всѣми нами и увѣрялъ, что она выздоровѣетъ непременно. Онъ весь высохъ отъ заботы, онъ просиживалъ у кровати Нелли по цѣлымъ днямъ и даже почамъ. Послѣднія ночи онъ буквально не спалъ. Онъ старался предупредить малѣйшее желаніе Нелли, и, выходя отъ нея къ намъ, горько плакалъ, но черезъ минуту опять начиналъ надѣяться и увѣрять насъ, что она выздоровѣетъ. Онъ заставилъ цвѣтами всю ея комнату. Одинъ разъ купилъ онъ цѣлый букетъ прелестнѣйшихъ розъ, бѣлыхъ и красныхъ, куда-то далеко ходилъ за ними и принесъ своей Нелличкѣ... Всѣмъ этимъ онъ очень волновалъ ее. Она не могла не отзываться всѣмъ сердцемъ своимъ на такую всеобщую любовь. Въ этотъ вечеръ, въ вечеръ прощанья ея съ нами, старикъ никакъ не хотѣлъ прощаться съ ней навсегда. Нелли улыбнулась ему и весь вечеръ старалась казаться веселою, шутила съ нимъ, даже смѣялась... Мы всѣ вышли отъ нея почти въ надеждѣ, но на другой день она уже не могла говорить. Черезъ два дня она умерла.

Помню, какъ старикъ убиралъ ея гробикъ цвѣтами и

съ отчаяніемъ смотрѣлъ на ея исхудалое мертвое личико, на ея мертвую улыбку, на руки ея, сложенные крестомъ на груди. Онъ плакалъ надъ ней, какъ надъ своимъ роднымъ ребенкомъ. Наташа, я, мы всё утѣшали его, но онъ былъ неутѣшенъ и серьезно заболѣлъ послѣ похоронъ Нелли.

Анна Андреевна сама отдала мнѣ ладонку, которую сняла съ ея груди. Въ этой ладонкѣ было письмо матери Нелли къ князю. Я прочиталъ его въ день смерти Нелли. Она обращалась къ князю съ проклятіемъ, говорила, что не можетъ простить ему, описывала всю послѣднюю жизнь свою, всё ужасы, на которые оставляетъ Нелли, и умоляла его сдѣлать хоть что-нибудь для ребенка. „Онъ вашъ, писала она,—это дочь *ваша* и *вы сами знаете*, что она *ваша настоящая* дочь. Я велѣла ей идти къ вамъ, когда я умру, и отдать вамъ въ руки это письмо. Если вы не отвергнете Нелли, то, можетъ-быть, *тамъ* я прошу васъ, и въ день суда сама стану передъ престоломъ Божиимъ и буду умолять Судію простить вамъ грѣхи ваши. Нелли знаетъ содержаніе письма моего; я читала его ей; я разъяснила ей *все*, она знаетъ *все, все*“...

Но Нелли не исполнила завѣщанія; она знала все, но не пошла къ князю и умерла непримиренная.

Когда мы воротились съ похоронъ Нелли, мы съ Наташей вышли въ садъ. День былъ жаркій, сіяющій свѣтомъ. Черезъ недѣлю они уѣзжали. Наташа взглянула на меня долгимъ, страннымъ взглядомъ.

— Ваня, сказала она,—Ваня, вѣдь это былъ сонъ.

— Что было сонъ? спросилъ я.

— Все, все, отвѣчала она, — все, за весь этотъ годъ. Ваня, зачѣмъ я разрушила твое счастье?

И въ глазахъ ея я прочелъ:

„Мы бы могли быть навѣки счастливы вмѣстѣ!“



# ВѢЧНЫЙ МУЖЪ. \*)

Разсказъ.

I.

Вельчаниновъ.

Пришло лѣто—и Вельчаниновъ, сверхъ ожиданія, остался въ Петербургѣ. Поѣздка его на югъ Россіи разстроилась, а дѣлу и конца не предвидѣлось. Это дѣло—тяжба по имѣнію—принимало предурной оборотъ. Еще три мѣсяца тому назадъ оно имѣло видъ весьма несложный, чуть не безспорный; но какъ-то вдругъ все измѣнилось. „Да и вообще все стало измѣняться къ худшему!“—эту фразу Вельчаниновъ съ злорадствомъ и часто сталъ повторять про себя. Онъ употреблялъ адвоката ловкаго, дорогого, извѣстнаго, и денегъ не жалѣлъ; но въ петербургскихъ и отъ мнительности повадился заниматься дѣломъ и самъ: читалъ и писалъ бумаги, которыя сплошь браковалъ адвокатъ, бѣгалъ по присутственнымъ мѣстамъ, наводилъ справки и, вѣроятно, очень мѣшалъ всему; по крайней мѣрѣ, адвокатъ жаловался и гналъ его на дачу. Но онъ даже и на дачу выѣхать не рѣшился. Пыль, духота, бѣлыя петербургскія ночи, раздражающія нервы,—вотъ чѣмъ наслаждался онъ въ Петербургѣ. Квартира его была гдѣ-то у Большого театра, недавно нанятая имъ, и тоже не удалась; „все не удавалось!“ Ипохондрія его росла съ каждымъ днемъ; но къ ипохондріи онъ ужъ былъ склоненъ давно.

Это былъ человѣкъ много и широко пожившій, уже далеко не молодой, лѣтъ тридцати восьми или даже тридцати девяти, и вся эта „старость“—какъ онъ самъ выражался—

\*) Въ первый разъ напечатанъ въ журналѣ „Заря“ 1870 г., I, II.

пришла къ нему „совсѣмъ почти неожиданно“; но онъ самъ понималъ, что состарѣлся скорѣе не количествомъ, а, такъ сказать, качествомъ лѣтъ, и что если ужъ и начались его немощи, то скорѣе изнутри, чѣмъ снаружи. На взглядъ онъ и до сихъ поръ смотрѣлъ молодцомъ. Это былъ парень высокій и плотный, свѣтлорусъ, густоволосъ и безъ единой сѣдинки въ головѣ и въ длинной, чуть не до половины груди, русой бородѣ; съ перваго взгляда какъ бы нѣсколько неуклюжій и опустившійся, но взглядывшись пристальнѣе, вы тотчасъ же отличили бы въ немъ господина, выдержаннаго отлично и когда-то получившаго воспитаніе самое великосвѣтское. Приемы Вельчанинова и теперь были свободны, смѣлы и даже граціозны, несмотря на всю благопріобрѣтенную имъ брюзгливость и мѣшковатость. И даже до сихъ поръ онъ былъ полонъ самой непоколебимой, самой великосвѣтски-нахальной самоувѣренности, которой размѣра, можетъ-быть, и самъ не подозрѣвалъ въ себѣ, несмотря на то, что былъ человѣкъ не только умный, но даже иногда толковый, почти образованный и съ несомнѣнными дарованіями. Цвѣтъ лица его, открытаго и румянаго, отличался встарину женственною нѣжностью и обращалъ на него вниманіе женщинъ; да и теперь иной, взглянувъ на него, говорилъ: „экой здоровенный, кровь съ молокомъ!“ И однакожъ этотъ „здоровенный“ былъ жестоко зараженъ ипохондріей. Глаза его, большіе и голубые, лѣтъ десять назадъ, имѣли тоже много въ себѣ побѣдительнаго; это были такіе свѣтлые, такіе веселые и беззаботные глаза, что невольно влекли къ себѣ cadaго, съ кѣмъ только онъ ни сходилъ. Теперь, къ сороковымъ годамъ, ясность и доброта почти погасли въ этихъ глазахъ, уже окружившихся легкими морщинками, въ нихъ появились, напротивъ, цинизмъ не совсѣмъ нравственнаго и уставшаго человѣка, хитрость, всего чаще насмѣшка и еще новый оттѣнокъ, котораго не было прежде: оттѣнокъ грусти и боли,—какой-то разсѣянной грусти, какъ бы безпредметной, но сильной. Особенно проявлялась эта грусть, когда онъ оставался одинъ. И странно, этотъ шумливый, веселый и разсѣянный всего еще года два тому назадъ человѣкъ, такъ славно рассказывавшій такіе смѣшные рассказы,—ничего такъ не любилъ теперь, какъ оставаться совершенно одинъ. Онъ намѣренно оставилъ множество знакомствъ, которыхъ даже и теперь могъ бы не оставлять, несмотря на окон-

чательное разстройство своихъ денежныхъ обстоятельствъ. Правда, тутъ помогло и тщеславіе: съ его мнительностью и тщеславіемъ нельзя было вынести прежнихъ знакомствъ. Но и тщеславіе его, мало-по-малу, стало измѣняться въ уединеніи. Оно не уменьшилось, даже—напротивъ; но оно стало вырождаться въ какое-то особаго рода тщеславіе, котораго прежде не было: стало иногда страдать уже со-всѣмъ отъ другихъ причинъ, чѣмъ обыкновенно прежде,—отъ причинъ неожиданныхъ и совершенно прежде невы-слимыхъ, отъ причинъ „болѣе высшихъ“, чѣмъ до сихъ поръ,—„если только можно такъ выразиться, если дѣй-ствительно есть причины высшія и низшія“... Это уже прибавлялъ онъ самъ.

Да, онъ дошелъ и до этого; онъ бился теперь съ ка-кими-то причинами *высшими*, о которыхъ прежде и не задумался бы. Въ сознаніи своемъ и по совѣсти онъ назы-валъ высшими всѣ „причины“, надъ которыми (къ уди-вленію своему) никакъ не могъ про себя засмѣяться,—чего до сихъ поръ еще не бывало,—про себя разумѣется; о, въ обществѣ дѣло другое! Онъ превосходно зналъ, что сойдись только обстоятельства—и на завтра же онъ, вслухъ, несмотря на всѣ таинственныя и благоговѣйныя рѣшенія своей совѣсти, преспокойно отречется отъ всѣхъ этихъ „высшихъ причинъ“ и самъ, первый, подыметъ ихъ на смѣхъ, разумѣется, не признаваясь ни въ чемъ. И это было дѣйствительно такъ, несмотря на нѣкоторую, весьма даже значительную долю независимости мысли, отвоеван-ную имъ въ послѣднее время у обладавшихъ имъ до сихъ поръ „низшихъ причинъ“. Да и сколько разъ самъ онъ, вставая на утро съ постели, начиналъ стыдиться своихъ мыслей и чувствъ, пережитыхъ въ ночную бессонницу! (А онъ сплошь, все послѣднее время, страдалъ бессонницей). Давно уже онъ замѣтилъ, что становится чрезвычайно мнителенъ во всемъ, и въ важномъ, и въ мелочахъ, а по-тому и положилъ было довѣрять себѣ какъ можно меньше. Но выдавались однакоже факты, которыхъ ужъ никакъ нельзя было не признать дѣйствительно существующими. Въ послѣднее время, иногда по ночамъ, его мысли и ощу-щенія почти совсѣмъ перемѣнялись, въ сравненіи съ всегдашними, и большею частью отнюдь не походили на тѣ, которыя выпадали ему на первую половину дня. Это его поразило—и онъ даже посоветовался съ извѣстнымъ докторомъ, правда, человѣкомъ ему знакомымъ; разумѣется,

заговорилъ съ нимъ шутя. Онъ получилъ въ отвѣтъ, что фактъ измѣненія и даже раздвоенія мыслей и ощущеній по ночамъ во время бессонницы, и вообще по ночамъ,— есть фактъ всеобщій между людьми „сильно мыслящими и сильно чувствующими“, что убѣжденія всей жизни иногда внезапно мѣнялись подъ меланхолическимъ вліяніемъ ночи и бессонницы; вдругъ, ни съ того, ни съ сего, самыя роковыя рѣшенія предпринимались; но что, конечно, все до извѣстной мѣры—и если, наконецъ, субъектъ уже слишкомъ ощущаетъ на себѣ эту раздвоенность, такъ что дѣло доходитъ до страданія, то безспорно это признакъ, что уже образовалась болѣзнь; а, стало-быть, надо немедленно что-нибудь предпринять. Лучше же всего измѣнить радикально образъ жизни, измѣнить діету, или даже предпринять путешествіе. Полезно, конечно, слабительное.

Вельчаниновъ дальше слушать не сталъ; но болѣзнь была ему совершенно доказана.

„Итакъ, все это только болѣзнь, все это „высшее“ одна болѣзнь и больше ничего!“ язвительно восклицалъ онъ иногда про себѣ. Очень ужъ ему не хотѣлось съ этимъ согласиться.

Скоро, впрочемъ, и по утрамъ стало повторяться то же, что происходило въ исключительные ночные часы, но только съ большею желчью, чѣмъ по ночамъ, со злостью вмѣсто раскаянія, съ насмѣшкой вмѣсто умиленія. Въ сущности это были, все чаще и чаще приходившія ему на память, „внезапно и Богъ знаетъ почему“, инья происшествія изъ его прошедшей, и давно прошедшей, жизни, но приходившія какимъ-то особеннымъ образомъ. Вельчаниновъ давно уже, напримѣръ, жаловался на потерю памяти: онъ забывалъ лица знакомыхъ людей, которые при встрѣчахъ за это на него обижались; книга, прочитанная имъ полгода назадъ, забывалась въ этотъ срокъ иногда совершенно. И что же?—несмотря на эту очевидную ежедневную утрату памяти (о чемъ онъ очень беспокоился)—все, что касалось давно прошедшаго, все, что по десяти, по пятнадцати лѣтъ бывало даже совсѣмъ забыто,—все это вдругъ иногда приходило теперь на память, но съ такою изумительною точностью впечатлѣній и подробностей, что какъ будто бы онъ вновь ихъ переживалъ. Нѣкоторые изъ припомиравшихся фактовъ были до того забыты, что ему уже одно то казалось чудомъ, что они могли припомниться. Но это еще было не все; да и у



кого изъ широко пожившихъ людей нѣтъ своего рода воспоминаній? Но дѣло въ томъ, что все это припоминавшееся возвращалось теперь какъ бы съ заготовленной кѣмъ-то, совершенно новой, неожиданной и прежде совсѣмъ немыслимой точкой зрѣнія на фактъ. Почему инья воспоминанія казались ему теперь совсѣмъ преступленіями? И не въ однихъ приговорахъ его ума было дѣло: своему мрачному, одиночному и большому уму онъ бы и не повѣрилъ; но доходило до проклятій и чуть-ли не до слезъ, если и не наружныхъ, такъ внутреннихъ. Да, онъ еще два года тому назадъ не повѣрилъ бы, если-бъ ему сказали, что онъ когда-нибудь заплачетъ! Сначала, впрочемъ, припоминалось больше не изъ чувствительнаго, а изъ язвительнаго: припоминались инья свѣтскія неудачи, униженія; вспоминалось о томъ, напримѣръ, какъ его „оклеветалъ одинъ интриганъ“, вслѣдствіе чего его перестали принимать въ одномъ домѣ,—какъ, напримѣръ, и даже не такъ давно, онъ былъ положительно и публично обиженъ, а на дуэль не вызвалъ,—какъ осадили его разъ одной преостроумной эпиграммой въ кругу самыхъ хорошенькихъ женщинъ, а онъ не нашелся что отвѣчать. Припомнились даже два-три неуплаченные долга, правда, пустяжные, но долги чести и такимъ людямъ, съ которыми онъ пересталъ водиться и о которыхъ уже говорилъ дурно. Мучило его тоже (но только въ самыя злыя минуты) воспоминаніе о двухъ глупѣйшимъ образомъ промотанныхъ состояніяхъ, изъ которыхъ каждое было значительное. Но скоро стало припоминаться и изъ „высшаго“.

Вдругъ, напримѣръ, „ни съ того, ни съ сего“, припомнилась ему забытая, и въ высочайшей степени забытая имъ, фигура добренькаго одного старичка - чиновника, сѣденькаго и смѣшного, оскорбленнаго имъ когда-то, давнымъ-давно, публично и безнаказанно, и единственно изъ одного фанфаронства: изъ-за того только, чтобъ не пропалъ даромъ одинъ смѣшной и удачный каламбуръ, доставившій ему славу, и который потомъ повторяли. Фактъ былъ до того имъ забытъ, что даже фамиліи этого старичка онъ не могъ припомнить, хотя сразу представилась вся обстановка приключенія въ не постижимой ясности. Онъ ярко припомнилъ, что старикъ тогда заступался за дочь, жившую съ нимъ вмѣстѣ и засидѣвшуюся въ дѣвкахъ, и про которую въ городѣ стали ходить какіе-то слухи. Старичокъ сталъ было отвѣчать и сердиться, но

вдругъ заплакалъ навзрыдъ при всемъ обществѣ, что произвело даже нѣкоторое впечатлѣніе. Кончили тѣмъ, что для смѣха его напоили тогда шампанскимъ и вдоволь насмѣялись. И когда теперь припомнилъ, „ни съ того, ни съ сего“, Вельчаниновъ о томъ, какъ старикашка рыдалъ и закрывался руками, какъ ребенокъ, то ему вдругъ показалось, что какъ будто онъ никогда и не забывалъ этого. И странно: ему все это казалось тогда очень смѣшнымъ; теперь же — напротивъ, и именно подробности, именно закрываніе лица руками. Потомъ онъ припомнилъ, какъ, единственно для шутки, оклеветалъ одну прехорошенькую жену одного школьнаго учителя, и клевета дошла до мужа. Вельчаниновъ скоро уѣхалъ изъ этого городка и не зналъ, чѣмъ тогда кончились слѣдствія его клеветы, но теперь онъ сталъ вдругъ воображать, чѣмъ кончились эти слѣдствія,—и Богъ знаетъ до чего бы дошло его воображеніе, если бъ вдругъ не представилось ему одно гораздо ближайшее воспоминаніе объ одной дѣвушкѣ изъ простыхъ мѣщанокъ, которая даже и не нравилась ему, и которой, признаться, онъ и стыдился, но съ которой, самъ не зная для чего, прижилъ ребенка, да такъ и бросилъ ее вмѣстѣ съ ребенкомъ, даже не простившись (правда, некогда было), когда уѣхалъ изъ Петербурга. Эту дѣвушку онъ разыскивалъ потомъ цѣлый годъ, но уже никакъ не могъ отыскать. Впрочемъ, такихъ воспоминаній оказывались чуть не сотни — и такъ даже, что какъ будто каждое воспоминаніе тащило за собою десятки другихъ. Мало-по-малу стало страдать и его тщеславіе.

Мы сказали уже, что тщеславіе его выродилось въ какое-то особенное. Это было справедливо. Минутами (рѣдкими, впрочемъ) онъ доходилъ иногда до такого самозабвенія, что не стыдился даже того, что не имѣетъ своего экипажа, что слоняется пѣшкомъ по присутственнымъ мѣстамъ, что сталъ нѣсколько небреженъ въ костюмѣ,— и случись, что кто-нибудь изъ старыхъ знакомыхъ обмѣрилъ бы его насмѣшливымъ взглядомъ на улицѣ или просто вздумалъ бы не узнать, то, право, у него достало бы настолько высокомерія, чтобъ даже и не поморщиться. Серьезно не поморщиться, правду, а не то что для одного виду. Разумѣется, это бывало рѣдко; это были только минуты самозабвенія и раздраженія, но все-таки тщеславіе его стало мало-по-малу удаляться отъ прежнихъ

поводовъ и сосредоточиваться около одного вопроса, безпрерывно приходившаго ему на умъ.

„Вотъ вѣдь, начиналъ онъ думать иногда сатирически (а онъ всегда почти, думая о себѣ, начиналъ съ сатирическаго),—вотъ вѣдь кто-то тамъ заботится же объ исправленіи моей нравственности и посылаетъ мнѣ эти проклятыя воспоминанія и „слезы раскаянія“. Пусть, да вѣдь попусту! Вѣдь все стрѣльба холостыми зарядами! Ну, не знаю-ли я навѣрно, вѣрнѣе чѣмъ навѣрно, что, несмотря на эти слезныя раскаянія и самоосужденія, во мнѣ нѣтъ ни капельки самостоятельности, несмотря на всѣ мои глупѣйшія сорокъ лѣтъ! Вѣдь случись завтра же такое же искушеніе, ну, сойдишь, напримѣръ, опять обстоятельства такъ, что мнѣ выгодно будетъ слухъ распустить, будто бы учительша отъ меня подарки принимала,—и я вѣдь навѣрно распущу, не дрогну,—и еще хуже, пакостиѣе чѣмъ въ первый разъ дѣло выйдетъ, потому что этотъ разъ будетъ уже второй разъ, а не первый. Ну, оскорби меня опять, сейчасъ, этотъ князекъ, единственный сынъ у матери, и которому я одиннадцать лѣтъ тому назадъ ногу отстрѣлили,—и я тотчасъ же его вызову и посажу опять на деревяжку. Ну, не холостые-ли, стало-быть, заряды, и чтò въ нихъ толку! И для чего напоминать, когда я хоть сколько-нибудь развязаться съ собой прилично не умѣю!“

И хоть не повторялось опять факта съ учительшей, хоть не сажалъ онъ никого на деревяжку, но одна мысль о томъ, что это непременно должно было бы повториться, если-бъ сошлись обстоятельства, почти убивала его... иногда. Не всегда же, въ самомъ дѣлѣ, страдать воспоминаніями; можно отдохнуть и погулять—въ антрактахъ.

Такъ Вельчаниновъ и дѣлалъ: онъ готовъ былъ погулять въ антрактахъ; но все-таки, чѣмъ дальше, тѣмъ непріятнѣе становилось его житье въ Петербургѣ. Подходилъ ужъ и іюль. Мелькала въ немъ иногда рѣшимость бросить все, и самую тяжбу, и уѣхать куда-нибудь не оглядываясь, какъ-нибудь вдругъ, нечаянно, хоть туда же въ Крымъ, напримѣръ. Но черезъ часъ, обыкновенно, онъ уже презиралъ свою мысль и смѣялся надъ ней: „эти скверныя мысли ни на какомъ югѣ не прекратятся, если ужъ разъ начались и если я хоть сколько-нибудь порядочный человѣкъ, а, стало-быть, нечего и бѣжать отъ нихъ, да и не зачѣмъ“.

„Да и къ чему бѣжать“, продолжалъ онъ философствовать съ горя,—„здѣсь такъ пыльно, такъ душно, въ этомъ домѣ такъ все запачкано, въ этихъ присутствіяхъ, по которымъ я слоняюсь, между всѣми этими дѣловыми людьми—столько самой мышиной суеты, столько самой толкучей заботы; во всемъ этомъ народѣ, оставшемся въ городѣ, на всѣхъ этихъ лицахъ, мелькающихъ съ утра до вечера,—такъ наивно и откровенно рассказано все ихъ себялюбіе, все ихъ простодушное нахальство, вся трусливость ихъ душонокъ, вся куриность ихъ сердчишекъ, — что, право, тутъ рай ипохондрику, самымъ серьезнымъ образомъ говоря! Все откровенно, все ясно, все не считаетъ даже нужнымъ и прикрываться, какъ гдѣ-нибудь у нашихъ барынь на дачахъ, или на водахъ за границей,—а, стало-быть, все гораздо достойнѣе полнѣйшаго уваженія за одну только откровенность и простоту!.. Никуда не уѣду! Лопну здѣсь, а куда не уѣду!“

## II.

### Господинъ съ крпомъ на шляпѣ.

Было третье іюля. Духота и жаръ стояли нестерпимые. День для Вельчанинова выдался самы хлопотливый: все утро пришлось ходить и разѣзжать, а въ перспективѣ предстояла непремѣнная надобность сегодня же вечеромъ посѣтить одного нужнаго господина, одного дѣльца и статскаго совѣтника на его дачѣ, гдѣ-то на Черной рѣчкѣ, и захватить его неожиданно дома. Часу въ шестомъ Вельчаниновъ вошелъ, наконецъ, въ одинъ ресторанъ (весьма сомнительный, но французскій) на Невскомъ проспектѣ у Полицейскаго моста, сѣлъ въ своемъ обычномъ углу за свой столикъ и спросилъ свой ежедневный обѣдъ.

Онъ сѣдалъ ежедневно обѣдъ въ рубль и за вино платилъ особенно, что и считалъ жертвой, благоразумно имъ приносимой разстроеннымъ своимъ обстоятельствамъ. Удивляясь, какъ можно ѣсть такую дрянь, онъ уничтожалъ, однакоже, все до послѣдней крошки—и каждый разъ съ такимъ аппетитомъ, какъ будто передъ тѣмъ не ѣлъ трое сутокъ. „Это что-то болѣзненное“, бормоталъ онъ про себя, замѣчая иногда свой аппетитъ. Но въ этотъ разъ онъ усѣлся за свой столикъ въ самомъ севернѣйшемъ расположеніи духа, съ сердцемъ отбросилъ куда-то

шляпу, облокотился и задумался. Завозись теперь как-нибудь обѣдавшій съ нимъ рядомъ сосѣдъ, или не пойми его съ перваго раза прислуживавшій ему мальчишка—и онъ, такъ умѣвшій быть вѣжливымъ и, когда надо, такъ свысока-невозмутимымъ, навѣрно бы расшумѣлся какъ юнкеръ и, пожалуй, сдѣлалъ бы исторію.

Подали ему супъ, онъ взялъ ложку, но, вдругъ, не успѣвъ зачерпнуть, бросилъ ложку на столъ и чуть не вскочилъ со стула. Одна неожиданная мысль внезапно осѣнила его: въ это мгновеніе онъ—и Богъ знаетъ какимъ процессомъ—вдругъ вполне осмыслилъ причину своей тоски, своей особенной, отдѣльной тоски, которая мучила его уже нѣсколько дней сряду, все послѣднее время, Богъ знаетъ какъ привязалась и Богъ знаетъ почему не хотѣла никакъ отвязаться; теперь же онъ сразу все разглядѣлъ и понималъ какъ свои пять пальцевъ.

— Это все эта шляпа! пробормоталъ онъ какъ бы вдохновенный. — Единственно одна только эта проклятая круглая шляпа, съ этимъ мерзкимъ траурнымъ крепомъ, *всему* причиною!

Онъ сталъ думать—и чѣмъ далѣе вдумывался, тѣмъ становился угрюмѣе, и тѣмъ удивительнѣе становилось въ его глазахъ „все происшествіе“.

„Но... но какое же тутъ однако происшествіе? протестовалъ было онъ, не довѣряя себѣ.—Есть-ли тутъ хоть что-нибудь похожее на происшествіе?“

Все дѣло состояло вотъ въ чемъ: почти уже тому двѣ недѣли (по-настоящему, онъ не помнилъ, но, кажется, было двѣ недѣли), какъ встрѣтилъ онъ въ первый разъ, на улицѣ, гдѣ-то на углу Подъяческой и Мѣщанской, одного господина съ крепомъ на шляпѣ. Господинъ былъ какъ и всѣ, ничего въ немъ не было такого особеннаго, прошелъ онъ скоро, но посмотрѣлъ на Вельчанинова какъ-то слишкомъ ужъ пристально, и почему-то сразу обратилъ на себя его вниманіе до чрезвычайности. По крайней мѣрѣ, фізіономія его показалась знакомою Вельчанинову. Онъ, очевидно, когда-то и гдѣ-то встрѣчалъ ее. „А, впрочемъ, мало-ли тысячъ фізіономій встрѣчалъ я въ жизни—всѣхъ не упомнишь!“ Пройдя шаговъ двадцать, онъ уже, казалось, и забылъ про встрѣчу, несмотря на все первое впечатлѣніе. А впечатлѣніе, однако, осталось на цѣлый день—и довольно оригинальное, въ видѣ какой-то безпредметной, особенной злобы. Онъ теперь,

чрезъ двѣ недѣли, все это припоминалъ ясно; припоминалъ тоже, что совершенно не понималъ тогда: откуда въ немъ эта злоба,—и не понималъ до того, что ни разу даже не сблизилъ и не сооставилъ свое скверное расположеніе духа во весь тотъ вечеръ съ утренней встрѣчей. Но господинъ самъ поспѣшилъ о себѣ напомнить, и на другой день опять столкнулся съ Вельчаниновымъ на Невскомъ проспектѣ и опять какъ-то странно посмотрѣлъ на него. Вельчаниновъ плюнулъ, но, плюнувъ, тотчасъ же удивился своему плевку. Правда, есть фізіономіи, возбуждающія сразу безпредметное и безцѣльное отвращеніе. „Да, я дѣйствительно его гдѣ-то встрѣчалъ“, пробормоталъ онъ задумчиво, уже полчаса спустя послѣ встрѣчи. Затѣмъ опять весь вечеръ пробылъ въ сквернѣйшемъ расположеніи духа; даже дурной сонъ какой-то приснился ночью, и все-таки не пришло ему въ голову, что вся причина этой новой и особенной хандры его—одинъ только давешній траурный господинъ, хотя въ этотъ вечеръ онъ не разъ вспоминалъ его. Даже разозлился мимоходомъ, что „такая дрянь“ смѣетъ такъ долго ему вспоминаться; приписать же ему все свое волненіе навѣрно почелъ бы даже унижительнымъ, если бъ только мысль объ этомъ пришла ему въ голову. Два дня спустя опять встрѣтились, въ толпѣ, при выходѣ съ одного невскаго парохода. Въ этотъ, третій разъ Вельчаниновъ готовъ былъ поклясться, что господинъ въ траурной шляпѣ узналъ его и рванулся къ нему, отвлекаемый и тѣснимый толпой; кажется, даже „осмѣлился“ протянуть къ нему руку; можетъ-быть, даже вскрикнулъ и окликнулъ его по имени. Последняго, впрочемъ, Вельчаниновъ не разслышалъ ясно, но...—„кто же, однако, эта каналья и почему онъ не подходитъ ко мнѣ, если въ самомъ дѣлѣ узнаетъ и если такъ ему хочется подойти?“—злбно подумалъ онъ, садясь на извозчика и отправляясь къ Смольному монастырю. Черезъ полчаса онъ уже спорилъ и шумѣлъ со своимъ адвокатомъ, но вечеромъ и ночью былъ опять въ мерзвѣйшей и самой фантастической тоскѣ. „Ужъ не разливается-ли желчь?“ мнительно спрашивалъ онъ себя, глядясь въ зеркало.

Это была третья встрѣча. Потомъ дней пять сряду рѣшительно „никто“ не встрѣчался, а о „канальѣ“ и слухъ замеръ. А между тѣмъ, нѣтъ-нѣтъ да и вспомнится господинъ съ крестомъ на шляпѣ. Съ нѣкоторымъ уди-

влением ловилъ себя на этомъ Вельчаниновъ: „Что мнѣ, тошно по немъ, что-ли? Гм!.. А тоже, должно-быть, у него много дѣла въ Петербургѣ,—и по комъ это у него крепъ? Онъ, очевидно, узнавалъ меня, а я его не узнаю. И зачѣмъ эти люди падѣваютъ крепъ? Къ нимъ какъ-то нейдетъ... Мнѣ кажется, если я поближе всмотрюсь въ него, я его узнаю“...

И что-то какъ будто начинало шевелиться въ его воспоминаніяхъ, какъ какое-нибудь извѣстное, но вдругъ почему-то забытое слово, которое изъ всѣхъ силъ стараешься припомнить; знаешь его очень хорошо—и знаешь про то, что знаешь его; знаешь, что именно оно означаетъ, около того ходишь, но вотъ никакъ не хочетъ слово припомниться, какъ ни бейся надъ нимъ!

„Это было... Это было давно... и это было гдѣ-то... Тутъ было... тутъ было...—ну, да чортъ съ нимъ совсѣмъ, что тутъ было и не было!..“ злобно вскричалъ онъ вдругъ; „и стоить-ли объ эту каналью такъ пакоститься и унижаться?..“

Онъ разсердился ужасно; но вечеромъ, когда ему вдругъ припомнилось, что онъ давеча разсердился и „ужасно“,—ему стало чрезвычайно непріятно; кто-то какъ будто поймалъ его въ чемъ-нибудь. Онъ смутился и удивился:

„Есть же, стало-быть, причины, по которымъ я такъ злюсь... ни съ того, ни съ сего... при одномъ воспоминаніи“... Онъ не докончилъ своей мысли.

А на другой день разсердился еще пуще, но въ этотъ разъ ему показалось, что есть за что, и что онъ совершенно правъ; „дерзость была неслыханная“: дѣло въ томъ, что произошла четвертая встрѣча. Господинъ съ крепомъ явился опять, какъ будто изъ-подъ земли. Вельчаниновъ только что поймалъ на улицѣ того самого статскаго совѣтника и нужнаго господина, котораго онъ и теперь ловилъ, чтобы захватить хоть на дачѣ нечаянно, потому что этотъ чиновникъ, едва знакомый Вельчанинову, но нужный по дѣлу, и тогда, какъ и теперь, не давался въ руки и, очевидно, прятался, всѣми силами не желая съ своей стороны встрѣтиться съ Вельчаниновымъ; обрадовавшись, что наконецъ-таки съ нимъ столкнулся, Вельчаниновъ пошелъ съ нимъ рядомъ, спѣша, заглядывая ему въ глаза и напрягая всѣ силы, чтобы навести сѣдого хитреца на одну тему, на одинъ разговоръ, въ которомъ тотъ, можетъ-быть, и проговорился бы и выро-

нилъ бы какъ-нибудь одно искомое и давно ожидаемое словечко; но сѣдой хитрецъ былъ тоже себѣ на умѣ, отсмѣивался и отмалчивался,—и вотъ именно въ эту, чрезвычайно хлопотливую минуту, взгляды Вельчанинова вдругъ отличилъ на противоположномъ тротуарѣ улицы господина съ крепомъ на шляпѣ. Онъ стоялъ и пристально смотрѣлъ оттуда на нихъ обоихъ; онъ слѣдилъ за ними, это было очевидно, и, кажется, даже подсмѣивался.

„Чортъ возьми!“ взбѣсился Вельчаниновъ, уже проводивъ чиновника и приписывая всю свою съ нимъ неудачу внезапному появленію этого „нахала“. — „Чортъ возьми, шпіонъ онъ, что-ли, за мной! Онъ, очевидно, слѣдитъ за мной! Нанять, что-ли, кѣмъ-нибудь и... и... и ей-Богу же онъ подсмѣивался! Я ей-Богу исколочу его... Жаль только, что я хожу безъ палки! Я куплю палку! Я этого такъ не оставлю! Кто онъ такой? Я непременно хочу знать, кто онъ такой?“

Наконецъ, ровно три дня спустя послѣ этой (четвертой) встрѣчи, мы застаемъ Вельчанинова въ его ресторанѣ, какъ мы и описывали, уже совершенно и серьезно взволнованнаго и даже нѣсколько потерявшагося. Не сознаться въ этомъ не могъ даже и самъ онъ, несмотря на всю гордость свою. Принужденъ же былъ онъ, наконецъ, догадаться, сопоставивъ всѣ обстоятельства, что всей хандры его, всей этой *особенной* тоски его и всѣхъ его двухнедѣльныхъ волненій—причиною былъ не кто иной, какъ этотъ самый траурный господинъ, „несмотря на всю его ничтожность“.

„Пусть я ипохондрикъ“, думалъ Вельчаниновъ, — „и, стало-быть, изъ мухи готовъ слона сдѣлать, но, однакоже, легче-ль мнѣ отъ того, что все это, *можетъ-быть*, только одна фантазія? Вѣдь если каждая подобная шельма въ состояніи будетъ совершенно перевернуть человѣка, то вѣдь это... вѣдь это...“

Дѣйствительно, въ этой сегодняшней (пятой) встрѣчѣ, которая такъ взволновала Вельчанинова, слонъ явился совсѣмъ почти мухой: господинъ этотъ, какъ и прежде, юркнулъ мимо, но въ этотъ разъ уже не разглядывая Вельчанинова и не показывая, какъ прежде, вида, что его узнаетъ, а, напротивъ, опустивъ глаза и, кажется, очень желая, чтобъ его самого не замѣтили. Вельчаниновъ оборотился и закричалъ ему во все горло:

— Эй, вы, крепъ на шляпѣ! Теперь прятаться! Стойте: кто вы такой?



Вопросъ (и весь крикъ) былъ очень безтолковъ. Но Вельчаниновъ догадался объ этомъ, уже прокричавъ. На крикъ этотъ господинъ оборотился, на минутку пріостановился, потерялся, улыбнулся, хотѣлъ было что-то проговорить, что-то сдѣлать,—съ минуту, очевидно, былъ въ ужаснѣйшей нерѣшимости, и вдругъ повернулся и побѣжалъ прочь безъ оглядки. Вельчаниновъ съ удивленіемъ смотрѣлъ ему вслѣдъ.

„А что?“ подумалъ онъ,—„что, если и въ самомъ дѣлѣ не онъ ко мнѣ, а я, напротивъ, къ нему пристаю, и вся штука въ этомъ?“

Пообѣдавъ, онъ поскорѣе отправился на дачу къ чиновнику. Чиновника не засталъ; отвѣтили, что „съ утра не возвращались, да врядъ-ли и возвратятся сегодня раньше третьяго или четвертаго часу ночи, потому что остались въ городѣ у именинника“. Ужъ это было до того „обидно“, что, въ первой ярости, Вельчаниновъ положилъ было отправиться къ имениннику и даже въ самомъ дѣлѣ поѣхалъ; но, сообразивъ на пути, что заходить далеко, отпустилъ среди дороги извозчика и потащился къ себѣ пѣшкомъ, къ Большому театру. Онъ чувствовалъ потребность моціона. Чтобъ успокоить взволнованные нервы, надо было ночью выспаться, во что бы то ни стало, несмотря на бессонницу; а чтобъ заснуть, надо было, по крайней мѣрѣ, хоть устать. Такимъ образомъ, онъ добрался къ себѣ уже въ половинѣ одиннадцатаго, ибо путь былъ очень не малый,—и дѣйствительно очень усталъ.

Нанятая имъ въ мартѣ мѣсяцѣ квартира его, которую онъ такъ злорадно браковалъ и ругалъ, извиняясь самъ передъ собою, что „все это на походѣ“, и что онъ „застрялъ“ въ Петербургѣ нечаянно, черезъ эту „проклятую тяжбу“,—эта квартира его была вовсе не такъ дурна и неприлична, какъ онъ самъ отзывался о ней. Входъ былъ дѣйствительно нѣсколько темноватъ и „запачканъ“, изъподъ воротъ; но самая квартира, во второмъ этажѣ, состояла изъ двухъ большихъ, свѣтлыхъ и высокихъ комнатъ, отдѣленныхъ одна отъ другой темною переднею и выходившихъ, такимъ образомъ, одна на улицу, другая во дворъ. Къ той, которая выходила окнами во дворъ, прилегалъ сбоку небольшой кабинетъ, назначавшійся служить спальней; но у Вельчанинова валялись въ немъ въ беспорядкѣ книги и бумаги; спалъ же онъ въ одной изъ большихъ комнатъ, той самой, которая окнами выхо-

дила на улицу. Стлали ему на диванѣ. Мебель у него стояла порядочная, хотя и подержаная, и находились, кромѣ того, нѣкоторыя даже дорогія вещи—осколки прежняго благосостоянія: фарфоровыя и бронзовыя игрушки, большіе и настоящіе бухарскіе ковры; уцѣлѣли даже двѣ недурныя картины; но все было въ явномъ безпорядкѣ, не на своемъ мѣстѣ и даже запылено, съ тѣхъ поръ, какъ прислуживавшая ему дѣвушка, Пелагея, уѣхала на побывку къ своимъ роднымъ въ Новгородъ и оставила его одного. Этотъ странный фактъ одиночной и дѣвичьей прислуги у холостого и свѣтскаго человѣка, все еще желавшаго соблюдать джентльменство, заставлялъ почти краснѣть Вельчанинова, хотя этой Пелагеей онъ былъ очень доволенъ. Эта дѣвушка опредѣлилась къ нему въ ту минуту, какъ онъ занялъ эту квартиру весной, изъ знакомаго семейнаго дома, отбывшаго за границу, и завела у него порядокъ. Но съ отѣздомъ ея онъ уже другой женской прислуги нанять не рѣшился; нанимать же лакея, на короткій срокъ, не стоило, да онъ и не любилъ лакеевъ. Такимъ образомъ и устроилось, что комнаты его приходила убирать каждое утро дворничихина сестра Мавра, которой онъ и ключъ оставлялъ, выходя со двора, и которая ровно ничего не дѣлала, деньги брала и, кажется, воровала. Но онъ уже на все махнулъ рукой и даже былъ тѣмъ доволенъ, что дома остается теперь совершенно одинъ. Но все до извѣстной мѣры—и нервы его рѣшительно не соглашались иногда, въ инныя желчныя минуты, выносить всю эту „пакость“, и, возвращаясь къ себѣ домой, онъ почти каждый разъ съ отвращеніемъ входилъ въ свои комнаты.

Но въ этотъ разъ онъ едва далъ себѣ время раздѣться, бросился на кровать и раздражительно рѣшилъ ни о чемъ не думать, и во что бы то ни стало „сію же минуту“ заснуть. И странно, онъ вдругъ заснулъ, только что голова успѣла дотронуться до подушки; этого не бывало съ нимъ почти уже съ мѣсяць.

Онъ проспалъ около трехъ часовъ, но сномъ тревожнымъ; ему снились какіе-то странные сны, какіе снятся въ лихорадкѣ. Дѣло шло о какомъ-то преступленіи, которое онъ будто бы совершилъ и утаилъ, и въ которомъ обвиняли его въ одинъ голосъ непрерывно входившіе къ нему откуда-то люди. Толпа собралась ужасная, но люди все еще не переставали входить, такъ что и

дверь не затворялась, а стояла настежь. Но весь интерес сосредоточивался, наконецъ, на одномъ странномъ человѣкѣ, какомъ-то очень ему когда-то близкомъ и знакомомъ, который уже умеръ, а теперь, почему-то, вдругъ тоже вошелъ къ нему. Всего мучительнѣе было то, что Вельчаниновъ не зналъ, что это за человѣкъ, позабылъ его имя и никакъ не могъ вспомнить; онъ зналъ только, что когда-то его очень любилъ. Отъ этого человѣка какъ будто и всѣ прочіе вошедшіе люди ждали самаго главного слова: или обвиненія, или оправданія Вельчанинова, и всѣ были въ нетерпѣніи. Но онъ сидѣлъ неподвижно за столомъ, молчалъ и не хотѣлъ говорить. Шумъ не умолкалъ, раздраженіе усиливалось, и вдругъ Вельчаниновъ, въ бѣшенствѣ, ударилъ этого человѣка, за то, что онъ не хотѣлъ говорить, и почувствовалъ отъ этого странное наслажденіе. Сердце его замерло отъ ужаса и отъ страданія за свой поступокъ, но въ этомъ-то замираніи и заключалось наслажденіе. Совсѣмъ остервенясь, онъ ударилъ въ другой и въ третій разъ, и въ какомъ-то опьянѣніи отъ ярости и отъ страху, дошедшемъ до помѣшательства, но заключавшемъ тоже въ себѣ безконечное наслажденіе, онъ уже не считалъ своихъ ударовъ, но билъ не останавливаясь. Онъ хотѣлъ все, все *это* разрушить. Вдругъ, что-то случилось: всѣ страшно закричали и обратились, выжидая, къ дверямъ, и въ это мгновеніе раздались звонкіе три удара въ колокольчикъ, но съ такой силой, какъ будто его хотѣли сорвать съ дверей. Вельчаниновъ проснулся, очнулся въ одинъ мигъ, стремглавъ вскочилъ съ постели и бросился къ дверямъ; онъ былъ совершенно убѣжденъ, что ударъ въ колокольчикъ— не сонъ, и что дѣйствительно кто-то позвонилъ къ нему сію минуту. „Было бы слишкомъ неестественно, если-бъ такой ясный, такой дѣйствительный, осязательный звонъ приснился мнѣ только во снѣ!“

Но, къ удивленію его, и звонъ колокольчика оказался тоже сномъ. Онъ отворилъ дверь и вышелъ въ сѣни, взглянулъ даже на лѣстницу—никого рѣшительно не было. Колокольчикъ висѣлъ неподвижно. Подивившись, но и обрадовавшись, онъ воротился въ комнату. Зажигая свѣчу, онъ вспомнилъ, что дверь стояла только припертая, а не запертая на замкъ и на крюкъ. Онъ и прежде, возвращаясь домой, часто забывалъ запирать дверь на ночь, не придавая дѣлу особенной важности. Целагея нѣсколько

разъ за это ему выговаривала. Онъ воротился въ переднюю запереть двери, еще разъ отворилъ ихъ и посмотрѣлъ въ сѣняхъ, и наложилъ только изнутри крючокъ, а ключъ въ дверяхъ повернуть все-таки полѣнился. Часы ударили половину третьяго; стало-быть, онъ спалъ три часа.

Сонъ до того взволновалъ его, что онъ уже не захотѣлъ лечь сію минуту опять и рѣшилъ съ полчаса походить по комнатѣ — „время выкурить сигару“. Наскоро одѣвшись, онъ подошелъ къ окну, приподнялъ толстую штофную гардину, а за ней бѣлую штору. На улицѣ уже совсѣмъ разсвѣло. Свѣтлыя, лѣтнія петербургскія ночи всегда производили въ немъ нервное раздраженіе и въ послѣднее время только помогали его бессонницѣ, такъ что онъ, недѣли двѣ назадъ, нарочно завелъ у себя на окнахъ эти толстыя штофныя гардины, не пропускавшія свѣту, когда ихъ совсѣмъ опускали. Впустивъ свѣтъ и забывъ на столѣ зажженую свѣчку, онъ сталъ рассказывать взадъ и впередъ все еще съ какимъ-то тяжелымъ и больнымъ чувствомъ. Впечатлѣніе сна еще дѣйствовало. Серьезное страданіе о томъ, что онъ могъ поднять руку на этого человѣка и бить его, продолжалось.

— А вѣдь этого и человѣка-то нѣтъ, и никогда не бывало, все сонъ, чего же я ною?

Съ ожесточеніемъ, и какъ будто въ этомъ совокуплялись всѣ заботы его, онъ сталъ думать о томъ, что рѣшительно становится боленъ, „больнымъ человѣкомъ“.

Ему всегда было тяжело сознаваться, что онъ старѣетъ или хилѣетъ, и со злости онъ въ дурныя минуты преувеличивалъ и то, и другое, нарочно, чтобъ подразнить себя.

— Старчество! Совсѣмъ старѣюсь, бормоталъ онъ, прохаживаясь, — память теряю, привидѣнія вижу, сны, звенять колокольчики... Чортъ возьми! Я по опыту знаю, что такіе сны всегда лихорадку во мнѣ означали... Я убѣжденъ, что и вся эта исторія съ этимъ крепомъ—тоже, можетъ-быть, сонъ. Рѣшительно я вчера правду подумалъ: я, я къ нему пристаю, а не онъ ко мнѣ? Я поэму изъ него сочинилъ, а самъ подъ столъ отъ страха залѣзъ. И почему я его канальей зову? Человѣкъ, можетъ-быть, очень порядочный. Личо, правда, непріятное, хотя ничего особенно некрасиваго нѣтъ; одѣтъ какъ и всѣ. Взглядъ только какой-то... Опять я за свое! Я опять о немъ!! И какого чорта мнѣ въ его взглядѣ? Жить, что-ли, я не могу безъ этого... висѣльника!

Между прочими, вскакивавшими въ его голову мыслями, одна тоже больно уязвила его: онъ вдругъ какъ бы убѣдился, что этотъ господинъ съ крепомъ былъ когда-то съ нимъ знакомъ по-пріятельски, и теперь, встрѣчая его, надъ нимъ смѣется, потому что знаетъ какой-нибудь его прежній большой секретъ, и видитъ его теперь въ такомъ увизительномъ положеніи. Машинально подошелъ онъ къ окну, чтобъ отворить его и дохнуть ночнымъ воздухомъ, и—и вдругъ весь вздрогнулъ: ему показалось, что передъ нимъ внезапно совершилось что-то неслыханное и необычайное.

Окна онъ еще не успѣлъ отворить, но поскорѣй скользнулъ за уголь оконнаго откоса и притаился: на пустынномъ противоположномъ тротуарѣ онъ вдругъ увидѣлъ, прямо передъ домомъ, господина съ крепомъ на шляпѣ. Господинъ стоялъ на тротуарѣ лицомъ къ его окнамъ, но очевидно не замѣчая его, и любопытно, какъ бы что-то соображая, выглядывалъ домъ. Казалось, онъ что-то обдумывалъ и какъ бы на что-то рѣшался: приподнялъ руку и, какъ будто, приставилъ палецъ ко лбу. Наконецъ, рѣшился: бѣгло оглядѣлся кругомъ, и на цыпочкахъ, крадучись, сталъ посиѣшно переходить черезъ улицу. Такъ и есть: онъ прошелъ въ ихъ ворота, въ калитку (которая лѣтомъ иной разъ до трехъ часовъ не запиралась засовомъ). „Онъ ко мнѣ идетъ“, быстро промелькнуло у Вельчанинова, и вдругъ, стремглавъ и точно такъ же на цыпочкахъ, пробѣжалъ онъ въ переднюю къ дверямъ и—затихъ передъ ними, замеръ въ ожиданіи, чуть-чуть наложивъ вздрагивавшую правую руку на заложенный имъ давеча дверной крюкъ и прислушиваясь изо всей силы къ шороху ожидаемыхъ шаговъ на лѣстницѣ.

Сердце его до того билось, что онъ боялся прослушать, когда взойдетъ на цыпочкахъ незнакомецъ. Факта онъ не понималъ, но ощущалъ все въ какой-то удесятеренной полнотѣ. Какъ будто давешній сонъ слился съ дѣйствительностью. Вельчаниновъ отъ природы былъ смѣлъ. Онъ любилъ иногда доводить до какого-то щегольства свое безстрашіе въ ожиданіи опасности—даже если на него и никто не глядѣлъ, а только любясь самъ собою. Но теперь было еще и что-то другое. Давешній ипохондрикъ и мнительный нытикъ преобразился совершенно; это былъ уже вовсе не тотъ человѣкъ. Нервный, неслышный смѣхъ

порывался изъ его груди. Изъ-за затворенной двери онъ угадывалъ каждое движеніе незнакомца.

„А! Вотъ онъ всходитъ, взошелъ, осматривается; прислушивается внизъ на лѣстницу; чуть дышитъ, крадется... а! Взаяся за ручку, тянетъ, пробуетъ! Разсчитывалъ, что у меня не заперто! Значить, зналъ, что я иногда запереть забываю! Опять за ручку тянетъ; что-жъ онъ думаетъ, что крючокъ соскочить? Разстаться жаль! Уйти жаль попусту?“

И дѣйствительно, все такъ навѣрно и должно было происходить, какъ ему представлялось: кто-то дѣйствительно стоялъ за дверьми и тихо, неслышно пробовалъ замѣкъ и потягивалъ за ручку, и—„ужъ разумѣется, имѣлъ свою цѣль“. Но у Вельчанинова уже было готово рѣшеніе задачи, и онъ, съ какимъ-то восторгомъ, выжидалъ мгновенія, изловчался и примѣривался: ему неотразимо захотѣлось вдругъ снять крюкъ, вдругъ отворить настежь дверь и очутиться глазъ-на-глазъ съ „страшилищемъ“.

„А что, дескать, вы здѣсь дѣлаете, милостивый государь?“ Такъ и случилось: улучивъ мгновеніе, онъ вдругъ снялъ крюкъ, толкнулъ дверь, и—почти наткнулся на господина съ крепомъ на шляпѣ.

### III.

#### Павелъ Павловичъ Трусоцкій.

Тотъ какъ-бы онѣмѣлъ на мѣстѣ. Оба стояли другъ противъ друга, на порогѣ, и оба неподвижно смотрѣли другъ другу въ глаза. Такъ прошло нѣсколько мгновеній, и вдругъ—Вельчаниновъ узналъ своего гостя!

Въ то же время и гость видимо догадался, что Вельчаниновъ совершенно узналъ его: это блеснуло въ его взглядѣ. Въ одинъ мигъ все лицо его какъ бы растаяло въ сладчайшей улыбкѣ..

— Я, навѣрное, имѣю удовольствіе говорить съ Алексѣемъ Ивановичемъ? почти пропѣлъ онъ нѣжнѣйшимъ и до комизма неподходящимъ къ обстоятельствамъ голосомъ.

— Да неужели-же вы Павелъ Павловичъ Трусоцкій? выговорилъ, наконецъ, и Вельчаниновъ съ озадаченнымъ видомъ.

— Мы были съ вами знакомы лѣтъ девять назадъ въ Т., и—если только позволите мнѣ припомнить—были знакомы дружески.

— Да-съ... положимъ-съ... но—теперь три часа, и вы цѣ-  
лыхъ десять минутъ пробовали, заперто у меня или нѣтъ...

— Три часа! вскрикнулъ гость, вынимая часы и даже  
горестно удивившись,—такъ точно: три! Извините, Алек-  
сѣй Ивановичъ, я-бы долженъ былъ входя сообразить;  
даже стыжусь. Зайду и объяснюсь на-дняхъ, а теперь...

— Э, нѣтъ! Ужъ если объясняться, такъ не угодно-ли  
сю-же минуточку! спохватился Вельчаниновъ,—милости про-  
симъ сюда, черезъ порогъ; въ комнаты-съ.—Вы вѣдь, ко-  
нечно, сами въ комнаты намѣревались войти, а не для  
того только явились ночью, чтобъ замки пробовать...

Онъ былъ и взволнованъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-бы  
опѣшенъ и чувствовалъ, что не можетъ сообразиться. Даже  
стыдно стало: ни тайны, ни опасности—ничего не оказа-  
лось изъ всей фантазмагоріи; явилась только глупая фи-  
гура какого-то Павла Павловича. Но, впрочемъ, ему со-  
всѣмъ не вѣрилось, что это такъ просто; онъ что-то смутно  
и со страхомъ предчувствовалъ. Усадивъ гостя въ кресла,  
онъ нетерпѣливо усѣлся на своей постели, на шагъ отъ  
кресель, принагнулъ, уперся ладонями въ свои колѣни  
и раздражительно ждалъ, когда тотъ заговорить. Онъ  
жадно его разглядывалъ и припоминалъ. Но странно: тотъ  
молчалъ, совсѣмъ, кажется, и не понимая, что немедленно  
„обязанъ“ заговорить; напротивъ того, самъ какъ-бы вы-  
жидавшимъ чего-то взглядомъ смотрѣлъ на хозяина. Могло  
быть, что онъ просто робѣлъ, ощущая спервоначалу  
нѣкоторую неловкость, какъ мышъ въ мышеловкѣ; но  
Вельчаниновъ разозлился:

— Что-жъ вы! вскричалъ онъ,—вѣдь вы, я думаю, не  
фантазія и не сонъ! Въ мертвецы, что-ли, вы играть по-  
жаловали? Объяснитесь, батюшка!

Гость зашевелился, улыбнулся и началъ осторожно:

— Сколько я вижу, васъ, прежде всего, даже поражаетъ,  
что я пришелъ въ такой часъ, и—при особенныхъ такихъ  
обстоятельствахъ-съ... Такъ что, помня все прежнее и то,  
какъ мы разстались-съ—мнѣ даже теперь странно-съ... А,  
впрочемъ, я даже и не намѣренъ былъ заходить-съ и,  
если ужъ такъ вышло,—то нечаянно-съ...

— Какъ нечаянно! Да я васъ изъ окна видѣлъ, какъ  
вы на цыпочкахъ черезъ улицу перебѣгали!

— Ахъ, вы видѣли! Ну, такъ вы, пожалуй, теперь  
больше моего про все это знаете-съ! Но я васъ только  
раздражаю... Вотъ тутъ что-съ: я приѣхалъ сюда уже не-

дѣли съ три, по своему дѣлу... Я вѣдь Павелъ Павловичъ Трусоцкій, вы вѣдь меня сами признали-сь. Дѣло мое въ томъ, что я хлопочу о моемъ перемѣщеніи въ другую губернію и въ другую службу-сь, и на мѣсто съ значительнымъ повышеніемъ... Но, впрочемъ, все это тоже не то-сь!.. Главное, если хотите, въ томъ, что я здѣсь слоняюсь, вотъ уже третью недѣлю, и, кажется, самъ загиваю мое дѣло нарочно, то-есть о перемѣщеніи-то-сь, и, право, если даже оно и выйдетъ, то я, чего добраго, и самъ забуду, что оно вышло-сь, и не выйду изъ вашего Петербурга въ моемъ настроеніи. Слоняюсь, какъ бы потерявъ свою цѣль и какъ бы даже радуясь, что ее потерялъ—въ моемъ настроеніи-сь!..

— Въ какомъ это настроеніи? хмурился Вельчаниновъ.

Гость поднялъ на него глаза, поднялъ шляпу и уже съ твердымъ достоинствомъ указалъ на крепь.

— Да, вотъ-сь въ какомъ настроеніи!

Вельчаниновъ тупо смотрѣлъ то на крепь, то въ лицо гостю. Вдругъ румянецъ залилъ мгновенно его щеки и онъ взволновался ужасно:

— Неужели Наталья Васильевна!

— Она-сь! Наталья Васильевна! Въ нынѣшнемъ мартѣ... Чахотка и почти вдругъ-сь, въ какіе-нибудь два-три мѣсяца! И я остался—какъ вы видите!

Проговоривъ это, гость въ сильномъ чувствѣ развелъ руки въ обѣ стороны, держа въ лѣвой на отлетѣ свою шляпу съ крепомъ, и глубоко наклонивъ свою лысую голову, секундъ, по крайней мѣрѣ, на десять.

Этотъ видъ и этотъ жестъ вдругъ какъ бы освѣжили Вельчанинова; насмѣшливая и даже задирающая улыбка скользнула по его губамъ,—но покамѣстъ на одно только мгновеніе: извѣстіе о смерти этой дамы (съ которой онъ былъ такъ давно знакомъ и такъ давно уже успѣлъ позабыть ее) произвело на него теперь до неожиданности потрясающее впечатлѣніе.

— Возможно-ли это! бормоталъ онъ первыя попавшіяся на языкъ слова,—и почему же вы прямо не зашли и не объявили?

— Благодарю васъ за участіе, вижу и цѣню его, не смотря...

— Несмотря?

— Несмотря на столько лѣтъ разлуки, вы отнеслись сейчасъ къ моему горю, и даже ко мнѣ, съ такимъ совер-



шеннымъ участіемъ, что я, разумѣется, ощущаю благодарность. Вотъ это только я и хотѣлъ заявить-сь. И не то чтобы я сомнѣвался въ друзьяхъ моихъ, я и здѣсь, даже сейчасъ, могу отыскать самыхъ искреннихъ друзей-сь (взять только одного Степана Михайловича Багаутова), но вѣдь нашему съ вами, Алексѣй Ивановичъ, знакомству— (пожалуй, дружбѣ, ибо съ признательностью вспоминаю)— прошло девять лѣтъ-сь, къ намъ вы не возвращались; писемъ обоюдно не было...

Гость пѣлъ какъ по нотаамъ, но все время, пока изъяснялся, глядѣлъ въ землю, хотя, конечно, все видѣлъ и вверху. Но и хозяинъ уже успѣлъ немного сообразиться.

Съ нѣкоторымъ весьма страннымъ впечатлѣніемъ, все болѣе и болѣе усиливавшимся, прислушивался и приглядывался онъ къ Павлу Павловичу, и вдругъ, когда тотъ пріостановился,—самыя пестрыя и неожиданныя мысли неожиданно хлынули въ его голову.

— Да отчего же я васъ все не узнавалъ до сихъ поръ! вскричалъ онъ, оживляясь.—Вѣдь мы разъ пять на улицѣ сталкивались!

— Да; и я это помню; вы мнѣ все попадались-сь,— раза два, даже, пожалуй, и три...

— То-есть—это *вы* мнѣ *все* попадались, а не я вамъ!

Вельчаниновъ всталъ и вдругъ громко и совсѣмъ неожиданно засмѣялся. Павелъ Павловичъ пріостановился, посмотрѣлъ внимательно, но тотчасъ же опять сталъ продолжать:

— А что вы меня не признали, то, во-первыхъ, могли позабыть-сь и, наконецъ, у меня даже оспа была, въ этотъ срокъ, и оставила нѣкоторые слѣды на лицѣ.

— Оспа? Да вѣдь и въ самомъ же дѣлѣ у него оспа была! Да какъ это васъ...

— Угораздило? Мало-ли чего не бываетъ, Алексѣй Ивановичъ; нѣтъ-нѣтъ да и угораздитъ!

— Только все-таки это ужасно смѣшно. Ну, продолжайте, продолжайте, другъ дорогой!

— Я же хотъ и встрѣчалъ тоже васъ-сь...

— Стойте! Почему вы сказали сейчасъ: „угораздило?“ Я хотѣлъ гораздо вѣжливѣй выразиться. Ну, продолжайте, продолжайте!

Почему-то ему все веселѣе и веселѣе становилось. Потрясающее впечатлѣніе совсѣмъ замѣнилось другимъ.

Онъ быстрыми шагами ходилъ по комнатѣ взадъ и впереди.

— Я же хоть и встрѣчалъ тоже васъ-съ, и даже, отправляясь сюда, въ Петербургъ, намѣренъ былъ непременно васъ здѣсь поискать, но, повторяю, я теперь въ такомъ настроеніи духа... и такъ умственно разбитъ съ самаго съ марта мѣсяца...

— Ахъ, да! Разбитъ съ марта мѣсяца... Пойдите, вы не курите?

— Я вѣдь, вы знаете, при Натальѣ Васильевнѣ...

— Ну, да, ну, да; а съ марта-то мѣсяца?

— Папиросочку развѣ.

— Вотъ папироска; закуривайте и—продолжайте! Продолжайте, вы ужасно меня...

И, закуривъ сигару, Вельчаниновъ быстро усѣлся опять на постель. Павелъ Павловичъ пріостановился.

— Но въ какомъ вы сами-то однакоже волненіи, здоровы-ли вы-съ?

— Э, къ чорту о моемъ здоровьѣ! обозлился вдругъ Вельчаниновъ.—Продолжайте!

Съ своей стороны гость, смотря на волненіе хозяина, становился довольнѣе и самоувѣреннѣе.

— Да что продолжать-то-съ? началъ онъ опять.—Представьте вы себѣ, Алексѣй Ивановичъ, во-первыхъ, чело-вѣка убитаго, то-есть не просто убитаго, а, такъ сказать, радикально; чело-вѣка, послѣ двадцатилѣтняго супружества перемѣняющаго жизнь и слоняющагося по пыльнымъ улицамъ безъ соотвѣтственной цѣли, какъ бы въ степи, чуть не въ самозабвеніи, и въ этомъ самозабвеніи находящаго даже нѣкоторое упоеніе. Естественно послѣ того, что я и встрѣчу иной разъ знакомаго или даже истиннаго друга, да и обойду нарочно, чтобъ не подходить къ нему въ такую минуту, самозабвенія-то то-есть. А въ другую минуту—такъ все припомнишь и такъ возжаждешь видѣть хоть какого-нибудь свидѣтеля и соучастника того недавняго, но невозвратимаго прошлаго, и такъ забьется при этомъ сердце, что не только днемъ, но и ночью рискнешь броситься въ объятія друга, хотя бы даже и нарочно пришлось его для этого разбудить въ четвертомъ часу-съ. Я вотъ только въ часѣ ошибся, но не въ дружбѣ; ибо въ сію минуту слишкомъ вознагражденъ-съ. А насчетъ часу, право, думалъ, что лишь только двѣнадцатый, будучи въ настроеніи. Пьешь собственную грусть и какъ бы

упиваешься ею. И даже не грусть, а именно ново-состояніе-то это и бьетъ по мнѣ...

— Какъ вы однакоже выражаетесь! какъ-то мрачно замѣтилъ Вельчаниновъ, ставшій вдругъ опять ужасно серьезнымъ.

— Да-съ, странно и выражаюсь-съ...

— А вы... не шутите?

— Шучу! воскликнулъ Павелъ Павловичъ въ скорбномъ недоумѣннн, — и въ ту минуту, когда возвѣщаю...

— Ахъ, замолчите объ этомъ, прошу васъ!

Вельчаниновъ всталъ и опять зашагалъ по комнатѣ.

Такъ и прошло минутъ пять. Гость тоже хотѣлъ было привстать, но Вельчаниновъ крикнулъ: „Сидите, сидите!“ и тотъ тотчасъ же послушно опустился въ кресла.

— А какъ однакоже вы перемѣнились! заговорилъ опять Вельчаниновъ, вдругъ останавливаясь передъ нимъ, точно какъ бы внезапно пораженный этою мыслію.—Ужасно перемѣнились! Чрезвычайно! Совсѣмъ другой человѣкъ!

— Не мудрено-съ: девять лѣтъ-съ.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, не въ годахъ дѣло! Вы наружностію еще не Богъ знаетъ какъ измѣнились, вы другимъ измѣнились!

— Тоже, можетъ-быть, девять лѣтъ-съ.

— Или съ марта мѣсяца!

— Хе-хе, лукаво усмѣхнулся Павелъ Павловичъ, — у васъ игривая мысль какая-то... Но, если осмѣлюсь, — въ чемъ же собственно измѣненіе-то?

— Да чего тутъ! Прежде былъ такой солидный и приличный Павелъ Павловичъ, такой умникъ Павелъ Павловичъ, а теперь—совсѣмъ vaugien Павелъ Павловичъ!

Онъ былъ въ такой степени раздраженія, въ которой самыя выдержанные люди начинаютъ иногда говорить лишнее.

— Vaugien! Вы находите? И ужъ больше не „умникъ“? Не умникъ? съ наслажденіемъ хихикалъ Павелъ Павловичъ.

— Какой чортъ „умникъ“! Теперь, пожалуй, и совсѣмъ *умный*.

„Я наглъ, а эта каналья еще наглѣе! И... и какая у него цѣль?“ все думалъ Вельчаниновъ.

— Ахъ, дражайшій, ахъ, безцѣннѣйшій Алексѣй Ивановичъ! заволновался вдругъ чрезвычайно гость и заворочался въ креслахъ. — Да вѣдь намъ что? Вѣдь не въ

свѣтъ мы теперь, не въ великосвѣтскомъ блистательномъ обществѣ! Мы — два бывшіе искреннѣйшіе и стариннѣйшіе пріятеля, и, такъ сказать, въ полнѣйшей искренности сошлись и вспоминаемъ обоюдно ту драгоцѣнную связь, въ которой покойница составляла такое драгоцѣннѣйшее звено нашей дружбы!

И онъ какъ бы до того увлекся восторгомъ своихъ чувствъ, что склонилъ опять, по-давешнему, голову, лицо же закрылъ теперь шляпой. Вельчаниновъ съ отвращеніемъ и безпокойствомъ приглядывался.

„А что если это просто шутъ?“ мелькнуло въ его головѣ,— „но н-нѣтъ, н-нѣтъ! Кажется, онъ не пьянъ — впрочемъ, можетъ-быть, и пьянъ: красное лицо. Да хотя бы и пьянъ,—все на одно выйдетъ. Съ чѣмъ онъ поддѣзжаетъ? Чего хочется этой канальѣ?“

— Помните, помните, выкрикивалъ Павелъ Павловичъ, помаленьку отнимая шляпу и какъ бы все сильнѣе и сильнѣе увлекаясь воспоминаніями,—помните-ли вы наши загородныя поѣздки, наши вечера и вечеринки съ танцами и невинными играми у его превосходительства, гостепріимнѣйшаго Семена Семеновича? А наши вечернія чтенія втроемъ? А наше первое съ вами знакомство, когда вы вошли ко мнѣ утромъ, для справокъ по вашему дѣлу, и стали даже кричать-сь, и вдругъ вышла Наталья Васильевна, и черезъ десять минутъ вы уже стали нашимъ искреннѣйшимъ другомъ дома ровно на цѣлый годъ-сь,—точь-въ-точь какъ въ „Провинціалкѣ“, пьесѣ господина Тургенева...

Вельчаниновъ медленно прохаживался, смотрѣлъ въ землю, слушалъ съ нетерпѣніемъ и отвращеніемъ, но — сильно слушалъ.

— Мнѣ и въ голову не приходила „Провинціалка“, перебилъ онъ, нѣсколько теряясь, — и никогда вы прежде не говорили такимъ пискливымъ голосомъ и такимъ... не своимъ слогомъ. Къ чему это?

— Я дѣйствительно прежде больше молчалъ-сь, то-есть былъ молчаливѣе-сь, поспѣшно подхватилъ Павелъ Павловичъ.—Вы знаете, я прежде больше любилъ слушать, когда заговаривала покойница. Вы помните, какъ она разговаривала, съ какимъ остроуміемъ-сь... А насчетъ „Провинціалки“ и собственно насчетъ „Ступендьева“ — то вы и тутъ правы, потому что мы это сами, потомъ, съ безцѣнной покойницей, въ иныя тихія минуты вспоминая

о васъ-съ, когда вы уже уѣхали,—приравнивали къ этой театральной пьесѣ нашу первую встрѣчу... потому что вѣдь и въ самомъ дѣлѣ было похоже-съ. А собственно ужъ насчетъ „Ступендѣва“...

— Какого это „Ступендѣва“, чортъ возьми! закричалъ Вельчаниновъ и даже топнулъ ногой, совершенно уже смутившись при словѣ „Ступендѣвъ“, по поводу нѣкотораго безпокойнаго воспоминанія, замелькавшаго въ немъ при этомъ словѣ.

— А „Ступендѣвъ“ это роль-съ, театральная роль, роль „мужа“ въ пьесѣ „Провинціалка“, пропищалъ сладчайшимъ голоскомъ Павелъ Павловичъ,—но это ужъ относится къ другому разряду дорогихъ и прекрасныхъ нашихъ воспоминаній, уже послѣ вашего отъѣзда, когда Степанъ Михайловичъ Багаутовъ подарилъ насъ своею дружбою, совершенно какъ вы-съ, и уже на цѣлыхъ пять лѣтъ.

— Багаутовъ? Чтò такое? Какой Багаутовъ? какъ вкопанный остановился вдругъ Вельчаниновъ.

— Багаутовъ, Степанъ Михайловичъ, подарившій насъ своей дружбой, ровно черезъ годъ послѣ васъ и... подобно вамъ-съ.

— Ахъ, Боже мой, вѣдь я же это знаю! вскричалъ Вельчаниновъ, сообразивъ, наконецъ.—Багаутовъ! Да вѣдь онъ же служилъ у васъ...

— Служилъ, служилъ! При губернаторѣ! Изъ Петербурга, самаго высшаго общества изящнѣйшій молодой человекъ! въ рѣшительномъ восторгѣ выкрикивалъ Павелъ Павловичъ.

— Да, да, да! Что-жь я! Вѣдь и онъ тоже...

— И онъ тоже, и онъ тоже! въ томъ же восторгѣ вторилъ Павелъ Павловичъ, подхвативъ неосторожное словцо хозяина,—и онъ тоже! И вотъ тутъ-то мы и играли „Провинціалку“, на домашнемъ театрѣ, у его превосходительства, гостепріимнѣйшаго Семена Семеновича, — Степанъ Михайловичъ „графа“, я „мужа“, а покойница „Провинціалку“,—но только у меня отняли роль „мужа“, по настоянію покойницы, такъ что я и не игралъ „мужа“ — будто бы по неспособности-съ...

— Да какой чортъ вы Ступендѣвъ! Вы прежде всего Павелъ Павловичъ Труссопкій, а не Ступендѣвъ, грубо, не церемонясь и чуть не дрожа отъ раздраженія проговорилъ Вельчаниновъ.—Только позвольте: этотъ Багаутовъ

здѣсь, въ Петербургѣ, я самъ его видѣлъ, весной видѣлъ! Что-жъ вы къ нему-то тоже не идете?

— Каждый Божій день захожу, вотъ уже три недѣли-сь. Не принимаютъ! Боленъ, не можетъ принять! И, представьте, изъ первѣйшихъ источниковъ узналъ, что вѣдь и вправду чрезвычайно опасно боленъ! Этакой-то шестилѣтній другъ! Ахъ, Алексѣй Ивановичъ, говорю же вамъ и повторяю, что въ такомъ настроеніи иногда провалиться сквозь землю желаешь, даже вправду-сь; а въ другую минуту такъ бы, кажется, взялъ да и обнялъ, и именно кого-нибудь вотъ изъ прежнихъ-то этихъ, какъ сказать, очевидцевъ и соучастниковъ, и единственно для того только, чтобъ заплакать, то-есть совершенно больше ни для чего, какъ чтобъ только заплакать!..

— Ну, однакоже, довольно съ васъ на сегодня, вѣдь такъ? рѣзко проговорилъ Вельчаниновъ.

— Слишкомъ, слишкомъ довольно! тотчасъ же поднялся съ мѣста Павелъ Павловичъ.— Четыре часа и, главное, я васъ такъ эгоистически потревожилъ...

— Слушайте же, я къ вамъ самъ зайду, непременно, и тогда ужъ надѣюсь... Скажите мнѣ прямо, откровенно скажите: вы не пьяны сегодня?

— Пьянъ? Ни въ одномъ глазу...

— Не пили передъ приходомъ, или раньше?

— Знаете, Алексѣй Ивановичъ, у васъ совершенная лихорадка-сь.

— Завтра же зайду, утромъ, до часу...

— И давно уже замѣчаю, что вы почти какъ въ бреду-сь, съ наслажденіемъ перебивалъ и налегалъ на эту тему Павелъ Павловичъ.— Мнѣ такъ, право, совѣстно, что я моею неловкостію... но иду, иду! А вы лягте-ка и засните-ка!

— А что-жъ вы не сказали, гдѣ живете? спохватился и закричалъ ему вдогонку Вельчаниновъ.

— А развѣ не сказалъ-сь? Въ Покровской гостиницѣ.

— Въ какой еще Покровской гостиницѣ?

— Да у самаго Покрова, тутъ, въ переулкѣ-сь — вотъ забылъ въ какомъ переулкѣ, да и номеръ забылъ, только близъ самаго Покрова...

— Отыщу!

— Милости просимъ дорогого гостя.

Онъ уже выходилъ на дѣстницу.

— Стойте! крикнулъ опять Вельчаниновъ,— вы не удерете?

— То-есть какъ: „ударете“? вытаращилъ глаза Павелъ Павловичъ, поворачиваясь и улыбаясь съ третьей ступеньки.

Вмѣсто отвѣта Вельчаниновъ шумно захлопнулъ дверь, тщательно заперъ ее и насадилъ въ петлю крюкъ. Ворота въ комнату, онъ плюнулъ, какъ бы чѣмъ-нибудь опоганившись.

Простоявъ минутъ пять неподвижно среди комнаты, онъ бросился на постель, совсѣмъ уже не раздвѣваясь, и въ одинъ мигъ заснулъ. Забытая свѣчка такъ и догорѣла до конца на столѣ.

#### IV.

#### Жена, мужъ и любовникъ.

Онъ спалъ очень крѣпко и проснулся ровно въ половинѣ десятаго; мигомъ приподнялся, сѣлъ на постель и тотчасъ же началъ думать о смерти „этой женщины“.

Потрясающее вчерашнее впечатлѣніе при внезапномъ извѣстіи объ этой смерти оставило въ немъ какое-то смятеніе и даже боль. Это смятеніе и боль были только заглушены въ немъ на время одной странной идеей вчера, при Павлѣ Павловичѣ. Но теперь, при пробужденіи, все, что было девять лѣтъ назадъ, предстало вдругъ передъ нимъ съ чрезвычайною яркостью.

Эту женщину, покойную Наталью Васильевну, жену „этого Трусоцкаго“, онъ любилъ и былъ ея любовникомъ, когда, по своему дѣлу (и тоже по поводу процесса объ одномъ наслѣдствѣ), онъ оставался въ Т. дѣлный годъ, хотя собственно дѣло и не требовало такого долгаго срока его присутствія; настоящей же причиной была эта связь. Связь и любовь эта до того сильно владѣли имъ, что онъ былъ какъ бы въ рабствѣ у Натальи Васильевны, и навѣрно рѣшилъ бы тотчасъ на что-нибудь даже изъ самаго чудовищнаго и бессмысленнаго, если-бъ этого потребовалъ одинъ только малѣйшій капризъ этой женщины. Ни прежде, ни потомъ никогда не было съ нимъ ничего подобнаго. Въ концѣ года, когда разлука была уже неминуема, Вельчаниновъ былъ въ такомъ отчаяніи при приближеніи рокового срока,—въ отчаяніи, несмотря на то, что разлука предполагалась на самое короткое время,—что предложилъ Натальѣ Васильевнѣ похитить ее, увезти отъ мужа, бросить все и уѣхать съ нимъ за границу на-

всегда. Только насмѣшки и твердая настойчивость этой дамы (вполнѣ одобрявшей этотъ проектъ вначалѣ, но, вѣроятно, только отъ скуки или чтобы посмѣяться) могли остановить его и понудить уѣхать одного. И что же? Не прошло еще двухъ мѣсяцевъ послѣ разлуки, какъ онъ въ Петербургѣ уже задавалъ себѣ тотъ вопросъ, который такъ и остался для него навсегда неразрѣшеннымъ: любилъ-ли въ самомъ дѣлѣ онъ эту женщину, или все это было только однимъ „наважденіемъ?“ И вовсе не отъ легкомыслія, или подъ вліяніемъ начавшейся въ немъ новой страсти, зародился въ немъ этотъ вопросъ: въ эти первые два мѣсяца въ Петербургѣ онъ былъ въ какомъ-то изступленіи и врядъ-ли замѣтилъ хоть одну женщину, хотя тотчасъ же присталъ къ прежнему обществу и успѣлъ увидѣть сотню женщинъ. Впрочемъ, онъ отлично хорошо зналъ, что очутись онъ тотчасъ опять въ Т., то немедленно подпадетъ снова подъ все гнетущее обаяніе этой женщины, несмотря на всѣ зародившіеся вопросы. Даже пять лѣтъ спустя онъ былъ въ томъ же самомъ убѣжденіи. Но пять лѣтъ спустя онъ уже признавался въ этомъ себѣ съ негодованіемъ и даже о самой „женщинѣ этой“ вспоминалъ съ ненавистью. Онъ стыдился своего Т—скаго года; онъ не могъ понять даже возможности такой „глупой“ страсти для него, Вельчанинова! Всѣ воспоминанія объ этой страсти обратились для него въ позоръ; онъ краснѣлъ до слезъ и мучился угрызениями. Правда, еще черезъ нѣсколько лѣтъ онъ уже нѣсколько успѣлъ себя успокоить; онъ постарался все это забыть—и почти успѣлъ. И вотъ вдругъ, девять лѣтъ спустя, все это такъ внезапно и странно воскресаетъ передъ нимъ опять послѣ вчерашняго извѣстія о смерти Натальи Васильевны.

Теперь, сидя на своей постели, съ смутными мыслями, безпорядочно толпившимися въ его головѣ, онъ чувствовалъ и сознавалъ ясно только одно,—что, несмотря на все вчерашнее „потрясающее впечатлѣніе“ при этомъ извѣстіи, онъ все-таки очень спокоенъ насчетъ того, что она умерла. „Неужели я о ней даже и не пожалѣю?“ спрашивалъ онъ себя. Правда, онъ уже не ощущалъ къ ней теперь ненависти и могъ безпристрастнѣе, справедливѣе судить о ней. По его мнѣнію, уже давно, впрочемъ, сформировавшемся въ этотъ девятилѣтній срокъ разлуки, Наталья Васильевна принадлежала къ числу самыхъ обыкновенныхъ провинціальныхъ дамъ изъ „хорошаго“ про-



винціального общества и— „кто знаетъ, можетъ, такъ оно и было, и только я одинъ составилъ изъ нея такую фантазію?“ Онъ, впрочемъ, всегда подозрѣвалъ, что въ этомъ мнѣніи могла быть и ошибка; почувствовалъ это и теперь. Да и факты противорѣчили; этотъ Багаутовъ былъ нѣсколько лѣтъ тоже съ нею въ связи, и, кажется, тоже „подъ всѣмъ обаяніемъ“. Багаутовъ дѣйствительно былъ молодой человекъ изъ лучшаго петербургскаго общества, и такъ какъ онъ „человекъ пустѣйшій“ (говорилъ о немъ Вельчаниновъ), то, стало-быть, могъ сдѣлать свою карьеру только въ одномъ Петербургѣ. Но вотъ однакоже онъ пренебрегъ Петербургомъ, то-есть главнѣйшею своею выгодною, и потерялъ же пять лѣтъ въ Т— единственно для этой женщины! Да и воротился, наконецъ, въ Петербургъ, можетъ, потому только, что и его тоже выбросили какъ „старый и изношенный башмакъ“. Значить, было же въ этой женщинѣ что-то такое необыкновенное—даръ прिवлеченія, порабощенія и владычества!

А между тѣмъ, казалось бы, она и средствъ не имѣла, чтобы привлекать и порабощать: „собой была даже и не такъ чтобы хороша; а, можетъ-быть, и просто нехороша“. Вельчаниновъ засталъ ее уже двадцати восьми лѣтъ. Не совѣмъ красивое ея лицо могло иногда приятно оживляться, но глаза были нехороши: какая-то излишняя твердость была въ ея взглядѣ. Она была очень худа. Умственное образованіе ея было слабое; умъ былъ безспорный и проницательный, но почти всегда односторонній. Манеры свѣтской провинціальной дамы и при этомъ, правда, много такту; изящный вкусъ, но преимущественно въ одномъ только умѣніи одѣться. Характеръ рѣшительный и владычествующій; примиренія наполовину съ нею быть не могло ни въ чемъ: „или все, или ничего“. Въ дѣлахъ затруднительныхъ твердость и стойкость удивительныя. Даръ великодушія и почти всегда съ нимъ же рядомъ— безмѣрная несправедливость. Спорить съ этой барыней было невозможно: дважды два для нея никогда ничего не значили. Никогда ни въ чемъ не считала она себя несправедливою или виноватою. Постоянныя и безчисленныя измѣны ея мужу нисколько не тяготили ея совѣсти. По сравненію самого Вельчанинова, она была какъ „хлыстовская богородица“, которая въ высшей степени сама вѣруетъ въ то, что она и въ самомъ дѣлѣ богородица,—въ высшей степени вѣровала и Наталья Васильевна въ каж-

дый изъ своихъ поступковъ. Любовнику она была вѣрна, впрочемъ, только до тѣхъ поръ, пока онъ не наскучилъ. Она любила мучить любовника, но любила и награждать. Типъ былъ страстный, жестокой и чувственный. Она ненавидѣла развратъ, осуждала его съ неимовѣрнымъ ожесточеніемъ и—сама была развратна. Никакіе факты не могли бы никогда привести ее къ сознанію въ своемъ собственномъ развратѣ. „Она навѣрно *искренно* не знаетъ объ этомъ“, думалъ Вельчаниновъ о ней еще въ Т. (Замѣтимъ мимоходомъ, самъ участвуя въ ея развратѣ). „Это одна изъ тѣхъ женщинъ, думалъ онъ,—которыя какъ будто для того и рождаются, чтобы быть невѣрными женами. Эти женщины никогда не падаютъ въ дѣвицахъ: законъ природы ихъ—непремѣнно быть для этого заму-жемъ. Мужъ—первый любовникъ, но не иначе, какъ послѣ вѣнца. Никто ловче и легче ихъ не выходитъ замужъ. Въ первомъ любовникѣ всегда мужъ виноватъ. И все происходитъ въ высшей степени искренно: онѣ до конца чувствуютъ себя въ высшей степени справедливыми и, конечно, совершенно невинными“.

Вельчаниновъ былъ убѣжденъ, что дѣйствительно существуетъ такой типъ такихъ женщинъ; но зато былъ убѣжденъ, что существуетъ и соотвѣтственный этимъ женщинамъ типъ мужей, которыхъ единое назначеніе заключается только въ томъ, чтобы соотвѣтствовать этому женскому типу. По его мнѣнію, сущность такихъ мужей состоитъ въ томъ, чтобы быть, такъ сказать, „вѣчными мужьями“ или, лучше сказать, быть въ жизни *только* мужьями и болѣе ужъ ничѣмъ. „Такой человѣкъ рождается и развивается единственно для того, чтобы жениться, а женившись—немедленно обратиться въ придаточное своей жены, даже и въ томъ случаѣ, если бъ у него случился и свой собственный, неоспоримый характеръ. Главный признакъ такого мужа—извѣстное украшеніе. Не быть роконосцемъ онъ не можетъ, точно такъ же какъ не можетъ солнце не свѣтить; но онъ объ этомъ не только никогда не знаетъ, но даже и никогда не можетъ узнать по самымъ законамъ природы“. Вельчаниновъ глубоко вѣрилъ, что существуютъ эти два типа и что Павелъ Павловичъ Трусоцкій въ Т. былъ совершеннымъ представителемъ одного изъ нихъ. Вчерашній Павелъ Павловичъ, разумѣется, былъ не тотъ Павелъ Павловичъ, который былъ ему извѣстенъ въ Т. Онъ нашелъ, что онъ до невѣроят-

ности измѣнился, но Вельчаниновъ зналъ, что онъ и не могъ не измѣниться и что все это было совершенно естественно; господинъ Трусоцкій могъ быть всѣмъ тѣмъ, чѣмъ былъ прежде, только при жизни жены, а теперь это была только часть дѣлаго, выпущенная вдругъ на волю, то-есть что-то удивительное и ни на что не похожее.

Что же касается до Т—скаго Павла Павловича, то вотъ что упомянулъ о немъ и припомнилъ теперь Вельчаниновъ:

„Конечно, Павелъ Павловичъ въ Т. былъ только мужъ“ и ничего болѣе. Если, напримѣръ, онъ былъ сверхъ того и чиновникъ, то единственно потому, что для него и служба обращалась, такъ сказать, въ одну изъ обязанностей его супружества; онъ служилъ для жены и для ея свѣтскаго положенія въ Т., хотя и самъ по себѣ былъ весьма усерднымъ чиновникомъ. Ему было тогда тридцать пять лѣтъ и обладалъ онъ нѣкоторымъ состояніемъ, даже и не совсѣмъ маленькимъ. На службѣ особенныхъ способностей не выказывалъ, но не выказывалъ и неспособности. Водился со всѣмъ, что было высшаго въ губерніи, и слылъ на прекрасной ногѣ. Наталью Васильевну въ Т. совершенно уважали; она, впрочемъ, и не очень это цѣнила, принимая какъ должное, но у себя умѣла всегда принять превосходно, при чемъ Павелъ Павловичъ былъ такъ ею вышколенъ, что могъ имѣть облагороженныя манеры даже и при приемѣ самыхъ высшихъ губернскихъ властей. Можетъ-быть (казалось Вельчанинову), у него былъ и умъ: но такъ какъ Наталья Васильевна не очень любила, когда супругъ ея много говорилъ, то ума и нельзя было очень замѣтить. Можетъ-быть, онъ имѣлъ много прирожденныхъ хорошихъ качествъ, равно какъ и дурныхъ. Но хорошія качества были какъ бы подъ чехломъ, а дурныя поползновенія были заглушены почти окончательно. Вельчаниновъ помнилъ, напримѣръ, что у господина Трусоцкаго рождалось иногда поползновеніе посягнуть на надъ своимъ ближнимъ; но это ему было строго запрещено. Любилъ онъ тоже иногда что-нибудь рассказать; но и надъ этимъ наблюдалось: рассказать позволялось только что-нибудь понезначительнѣе и покорооче. Онъ склоненъ былъ къ пріятельскому кружку внѣ дома и даже выпить съ пріятелемъ; но послѣднее даже въ корень было истреблено. И при этомъ черта: взглянувъ

снаружи, никто не могъ бы сказать, что это мужъ подъ башмакомъ; Наталья Васильевна казалась совершенно послушною женой, и даже, можетъ-быть, сама была въ этомъ увѣрена. Могло быть, что Павелъ Павловичъ любилъ Наталью Васильевну безъ памяти; но замѣтить этого не могъ никто, и даже было невозможно, вѣроятно, тоже по домашнему распоряженію самой Натальи Васильевны. Нѣсколько разъ въ продолженіе своей Т—ской жизни спрашивалъ себя Вельчаниновъ: подозрѣваетъ-ли его этотъ мужъ, хоть сколько-нибудь, въ связи съ своей женой. Нѣсколько разъ онъ спрашивалъ объ этомъ серьезно Наталью Васильевну и всегда получалъ отвѣтъ, высказанный съ нѣкоторой досадою, что мужъ ничего не знаетъ и никогда ничего не можетъ узнать, и что „все, что есть—совсѣмъ не его дѣло“. Еще черта съ ея стороны: надъ Павломъ Павловичемъ она никогда не смѣялась и ни въ чемъ не находила его ни смѣшнымъ, ни очень дурнымъ, и даже очень бы заступилась за него, если бы кто осмѣлился оказать ему какую-нибудь неучтивость. Не имѣя дѣтей, она естественно должна была обратиться преимущественно въ свѣтскую женщину; но и свой домъ былъ ей необходимъ. Свѣтскія удовольствія никогда не парили надъ нею вполне, и дома она очень любила заниматься хозяйствомъ и рукодѣльями. Павелъ Павловичъ вспомнилъ вчера объ ихъ семейныхъ чтеніяхъ въ Т. по вечерамъ; это бывало: читалъ Вельчаниновъ, читалъ и Павелъ Павловичъ; къ удивленію Вельчанинова, онъ очень хорошо умѣлъ читать вслухъ. Наталья Васильевна при этомъ что-нибудь вышивала и выслушивала чтеніе всегда спокойно и ровно. Читались романы Диккенса, что-нибудь изъ русскихъ журналовъ, а иногда что-нибудь и изъ „серьезнаго“. Наталья Васильевна высоко цѣнила образованность Вельчанинова, но молчаливо, какъ дѣло поконченное и рѣшенное, о которомъ уже нечего больше и говорить; вообще же ко всему книжному и ученому относилась равнодушно, какъ совершенно къ чему-то постороннему, хотя, можетъ-быть, и полезному; Павелъ же Павловичъ иногда съ нѣкоторымъ жаромъ.

Т—ская связь порвалась вдругъ, достигнувъ со стороны Вельчанинова самага полного верха и даже почти безумія. Его просто и вдругъ прогнали, хотя все устроилось такъ, что онъ уѣхалъ, совершенно не вѣдая, что уже выброшенъ, „какъ старый негодный башмакъ“. Тутъ, въ Т.,

мѣсяца за полтора до его отбытія, появился одинъ молодой артиллерійскій офицерикъ, только что выпущенный изъ корпуса, и повадился ѣздить къ Трусозкимъ; вмѣсто троихъ очутилось четверо. Наталья Васильевна принимала мальчика благосклонно, но обращалась съ нимъ какъ съ мальчикомъ. Вельчанинову было рѣшительно ничего невдомекъ, да и не до того ему было тогда, такъ какъ ему вдругъ объявили о необходимости разлуки. Одною изъ сотни причинъ для непремѣннаго и скорѣйшаго его отъѣзда, выставленныхъ Натальей Васильевной, была и та, что ей показалось, будто она беременна; а потому и естественно, что ему надо непремѣнно и сейчасъ же скрыться, хоть мѣсяца на три или на четыре, чтобы черезъ девять мѣсяцевъ мужу труднѣе было въ чемъ-нибудь усомниться, если-бъ и вышла потомъ какая-нибудь клевета. Аргументъ былъ довольно натлпнутый. Послѣ бурнаго предложенія Вельчанинова бѣжать въ Парижъ или въ Америку, онъ уѣхалъ одинъ въ Петербургъ, „безъ сомнѣнія, на одну только минутку“, то-есть не болѣе какъ на три мѣсяца, иначе онъ не уѣхалъ бы ни за что, несмотря ни на какія причины и аргументы. Ровно черезъ два мѣсяца онъ получилъ въ Петербургѣ отъ Натальи Васильевны письмо съ просьбою не пріѣзжать никогда, потому что она уже любила другого; про беременность же свою увѣдомляла, что она ошиблась. Увѣдомленіе объ ошибкѣ было лишнее, ему все уже было ясно: онъ вспомнилъ про офицерика. Тѣмъ дѣло и кончилось навсегда. Слышалъ какъ-то онъ потомъ, уже нѣсколько лѣтъ спустя, что тамъ очутился Багаутовъ и пробылъ цѣлыя пять лѣтъ. Такую безмѣрную продолжительность связи онъ объяснилъ себѣ, между прочимъ, и тѣмъ, что Наталья Васильевна вѣрно уже сильно постарѣла, а потому и сама стала привязчивѣе.

Онъ просидѣлъ на своей кровати почти часъ; наконецъ, опомнился, позвонилъ Мавру съ кофеемъ, выпилъ наскоро, одѣлся, и ровно въ одиннадцать часовъ отправился къ Покрову отыскивать Покровскую гостиницу. Насчетъ собственно Покровской гостиницы въ немъ сформировалось теперь особое, уже утрешнее впечатлѣніе. Между прочимъ, ему было даже нѣсколько совѣстно за вчерашнее свое обращеніе съ Павломъ Павловичемъ и это надо было теперь разрѣшить.

Всю вчерашнюю фантасмагорію съ замкомъ у дверей

онъ объяснялъ случайностью, пьянымъ видомъ Павла Павловича и, пожалуй, еще кое-чѣмъ, но въ сущности не совсѣмъ точно зналъ, зачѣмъ онъ идетъ теперь завязывать какія-то новыя отношенія съ прежнимъ мужемъ, тогда какъ все такъ естественно и само собою между ними покончилось. Его что-то влекло; было тутъ какое-то особое впечатлѣніе, и вслѣдствіе этого впечатлѣнія его влекло...

## V.

### Л и з а.

Павель Павловичъ „удирать“ и не думалъ, да и Богъ знаетъ, для чего Вельчаниновъ ему сдѣлалъ вчера этотъ вопросъ; подлинно самъ былъ въ затменіи. По первому вопросу въ мелочной лавочкѣ у Покрова, ему указали Покровскую гостиницу, въ двухъ шагахъ, въ переулкѣ. Въ гостиницѣ объяснили, что господинъ Трусоецкій „стали“ теперь тутъ же на дворѣ, во флигелѣ, въ меблированныхъ комнатахъ у Марьи Сысоевны. Поднимаясь по узкой, залитой и очень нечистой каменной лѣстницѣ флигеля во второй этажъ, гдѣ были эти комнаты, онъ вдругъ услышалъ плачь. Плакалъ какъ будто ребенокъ, лѣтъ семи-восьми; плачь былъ тяжелый, слышались заглушаемые, но прорывающіяся рыданія, а вмѣстѣ съ ними топанье ногами и тоже какъ бы заглушаемые, но яростные окрики, какой-то сиплой фистулой, но уже взрослога человѣка. Этотъ взрослый человѣкъ, казалось, унималъ ребенка и очень не желалъ, чтобы плачь слышали, но шумѣлъ больше его. Окрики были безжалостные, а ребенокъ точно какъ бы умолялъ о прощеніи. Вступивъ въ небольшой коридоръ, по обѣимъ сторонамъ котораго было по двѣ двери, Вельчаниновъ встрѣтилъ одну очень толстую и рослую бабу, растрепанную по-домашнему, и спросилъ ее о Павлѣ Павловичѣ. Она ткнула пальцемъ на дверь, изъза которой слышенъ былъ плачь. Толстое и багровое лицо этой сорокалѣтней бабы было въ нѣкоторомъ негодованіи.

— Вишь, вѣдь потѣха ему! пробасила она вполголоса и прошла на лѣстницу.

Вельчаниновъ хотѣлъ было постучаться, но раздумалъ и прямо отворилъ дверь къ Павлу Павловичу. Въ небольшой комнатѣ, грубо, но обильно меблированной простой

крашеной мебелью, посрединѣ, стоялъ Павелъ Павловичъ, одѣтый лишь до половины, безъ сюртука и безъ жилета, и съ раздраженнымъ краснымъ лицомъ упималъ крикомъ, жестами, а, можетъ-быть (показалось Вельчанинову), и пинками, маленькую дѣвочку, лѣтъ восьми, одѣтую бѣдно, хотя и барышней, въ черномъ шерстяномъ, коротенькомъ платьицѣ. Она, казалось, была въ настоящей истерикѣ, истерически всхлипывала и тянулась руками къ Павлу Павловичу, какъ бы желая обхватить его, обнять его, умолить и упросить его о чемъ-то. Въ одно мгновеніе все измѣнилось: увидѣвъ гостя, дѣвочка вскрикнула и стрѣльнула въ сосѣдную крошечную комнатку, а Павелъ Павловичъ, на мгновеніе озадаченный, тотчасъ же весь растаялъ въ улыбка, точь-въ-точь какъ вчера, когда Вельчаниновъ вдругъ отворилъ дверь къ нему на лѣстницу.

— Алексѣй Ивановичъ! вскричалъ онъ въ рѣшительномъ удивленіи. — Никоимъ образомъ не могъ ожидать... но вотъ сюда, сюда! Вотъ здѣсь, на диванъ, или сюда въ кресла, а я...

И онъ бросился одѣвать сюртукъ, забывъ надѣть жилетъ.

— Не деремоньтесь, оставайтесь въ чемъ вы есть.

Вельчаниновъ усѣлся на стуль.

— Нѣтъ, ужъ позвольте-съ поцеремониться; вотъ я теперь и поприличяѣ. Да куда-жъ вы усѣлись въ углу? Вотъ сюда, въ кресла, къ столу бы... Ну, не ожидалъ, не ожидалъ!

Онъ тоже усѣлся на краешкѣ плетенаго стула, но не рядомъ съ „неожиданнымъ“ гостемъ, а поворотивъ стуль угломъ, чтобы сѣсть болѣе лицомъ къ Вельчанинову.

— Почему-жъ не ожидали? Вѣдь я именно назначилъ вчера, что приду къ вамъ въ это время.

— Думалъ, что не придете-съ; и какъ сообразилъ все вчерашнее, проснувшись, такъ рѣшительно ужъ отчаялся васъ увидѣть, даже навсегда-съ.

Вельчаниновъ межъ тѣмъ осмотрѣлся кругомъ. Комната была въ безпорядкѣ, кровать не убрана, платье раскидано, на столѣ стаканы съ выпитымъ кофеемъ, крошки хлѣба и бутылка шампанскаго, до половины не допитая, безъ пробки и со стаканомъ подлѣ. Онъ накосился взглядомъ въ сосѣдную комнату, но тамъ все было тихо; дѣвочка притаилась и замерла.

— Неужто вы пьете это теперь? указалъ Вельчаниновъ на шампанское.

— Остатки-съ... сконфузился Павелъ Павловичъ.

— Ну, перемѣнились же вы!

— Дурныя привычки и вдругъ-съ. Право, съ того срока, не лу-съ! Удержать себя не могу. Теперь не безпокойтесь, Алексѣй Ивановичъ, я теперь не пьянъ и не стану нести околесины, какъ вчера у васъ-съ, но вѣрно вамъ говорю, все съ того срока-съ! И скажи мнѣ кто-нибудь еще полгода назадъ, что я вдругъ такъ расшатаюсь, какъ вотъ теперь-съ, покажи мнѣ тогда меня самого въ зеркалѣ—не повѣрилъ бы!

— Стало-быть, вы были же вчера пьяны?

— Былъ-съ, вполголоса признался Павелъ Павловичъ, конфузливо опуская глаза.—И видите-ли-съ: не то что пьянъ, а ужъ нѣсколько позже-съ. Я это для того объяснить желаю, что позже у меня хуже-съ: хмелю ужъ немного, а жестокость какая-то и безразсудство остаются, да и горе сильнѣе ощущаю. Для горя-то, можетъ, я пью-съ. Тутъ-то я и накуролесить могу, совсѣмъ даже глупо-съ и обидѣть лѣзу. Должно-быть, себя очень странно вамъ представилъ вчера?

— Вы развѣ не помните?

— Какъ не помнить, все помню-съ...

— Видите, Павелъ Павловичъ, я совершенно такъ же подумалъ и объяснилъ себѣ, примирительно сказалъ Вельчаниновъ.—Сверхъ того, я самъ вчера былъ съ вами нѣсколько раздражителенъ и... излишне нетерпѣливъ, въ семь сознаюсь охотно. Я не совсѣмъ иногда хорошо себя чувствую и нечаянный приходъ вашъ ночью...

— Да, ночью, ночью! закачалъ головой Павелъ Павловичъ, какъ бы удивляясь и осуждая.—И какъ это меня натолкнуло! Ни за что бы я къ вамъ не зашелъ, если-бъ вы только сами не отворили-съ; отъ дверей бы ушелъ-съ. Я къ вамъ, Алексѣй Ивановичъ, съ недѣлю тому назадъ заходилъ и васъ не засталъ, но потомъ, можетъ-быть, и никогда не зашелъ бы въ другой разъ-съ. Все-таки и я немножко гордъ тоже, Алексѣй Ивановичъ, хоть и сознаю себя... въ такомъ состояннн. Мы и на улицѣ встрѣчались, да все думаю: „а ну, какъ не узнаеть, а ну, какъ отвернется, девять лѣтъ не шутка“,—и не рѣшался подойти. А вчера съ Петербургской стороны брель, да и часъ забыль-съ. Все отъ этого (онъ указалъ на бутылку), да отъ чувства-съ. Глупо! Очень-съ! И будь человекъ не таковъ, какъ вы,—потому что вѣдь пришли же вы ко мнѣ даже



послѣ вчерашняго, вспомня старое,—такъ я бы даже надежду потерялъ знакомство возобновить!

Вельчаниновъ слушалъ со вниманіемъ. Человѣкъ этотъ говорилъ, кажется, искренно и съ нѣкоторымъ даже достоинствомъ; а между тѣмъ, онъ ничему не вѣрилъ съ самой той минуты, какъ вошелъ къ нему.

— Скажите, Павелъ Павловичъ, вы здѣсь, стало-быть, не одинъ? Чья это дѣвочка, которую я засталъ при васъ давеча?

Павелъ Павловичъ даже удивился и поднялъ брови, но ясно и пріятно посмотрѣлъ на Вельчанинова.

— Какъ чья дѣвочка? Да вѣдь это Лиза! проговорилъ онъ, привѣтливо улыбаясь.

— Какая Лиза? пробормоталъ Вельчаниновъ, и что-то вдругъ какъ бы дрогнуло въ немъ. Впечатлѣніе было слишкомъ внезапное. Давеча, войдя и увидѣвъ Лизу, онъ хотъ и подивился, но не ощутилъ въ себѣ рѣшительно никакого предчувствія, никакой особенной мысли.

— Да наша Лиза, дочь наша Лиза! улыбался Павелъ Павловичъ.

— Какъ дочь? Да развѣ у васъ съ Натальей... съ покойной Натальей Васильевной были дѣти? недовѣрчиво и робко спросилъ Вельчаниновъ какимъ-то ужъ очень тихимъ голосомъ.

— Да какъ же-съ? Ахъ, Боже мой, да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, отъ кого же вы могли знать? Что-жъ это я? Это ужъ послѣ васъ намъ Богъ даровалъ!

Павелъ Павловичъ привскочилъ даже со стула отъ нѣкотораго волненія, впрочемъ, тоже какъ бы пріятнаго.

— Я ничего не слыхалъ, сказалъ Вельчаниновъ и поблѣднѣлъ.

— Дѣйствительно, дѣйствительно, отъ кого же вамъ было и узнать-съ! повторилъ Павелъ Павловичъ расслабленно-умиленнымъ голосомъ.—Мы вѣдь и надежду съ покойницей потеряли, сами вѣдь вы помните, и вдругъ благословляетъ Господь, и что со мной тогда было,—это Ему только одному извѣстно! Ровно, кажется, черезъ годъ послѣ васъ! Или, нѣтъ, не черезъ годъ, далеко нѣтъ, стойте-съ: вы вѣдь отъ насъ тогда, если не ошибаюсь памятью, въ октябрѣ или даже въ ноябрѣ выѣхали?

— Я уѣхалъ изъ Т. въ началѣ сентября, двѣнадцатаго сентября; я хорошо помню...

— Неужели въ сентябрѣ? Гм!.. что-жъ это я? очень

удивился Павелъ Павловичъ.—Ну, такъ если такъ, то позвольте же: вы выѣхали сентября двѣнадцатаго-съ, а Лиза родилась мая восьмого, это, стало-быть, сентябрь—октябрь—ноябрь—декабрь—январь—февраль—мартъ—апрѣль—черезъ восемь мѣсяцевъ съ чѣмъ-то-съ, вотъ-съ! И если-бъ вы только знали, какъ покойница...

— Покажите же мнѣ... позовите же ее... какимъ-то срывающимся голосомъ пролепеталъ Вельчаниновъ.

— Непремѣнно-съ! захопоталъ Павелъ Павловичъ, тотчасъ-же прерывая то, что хотѣлъ сказать, какъ вовсе ненужное.—Сейчасъ, сейчасъ вамъ представлю-съ!

И торопливо отправился въ комнатку къ Лизѣ.

Прошло, можетъ-быть, цѣлыхъ три или четыре минуты; въ комнаткѣ скоро и быстро шептались и чуть-чуть слышались звуки голоса Лизы;—„она проситъ, чтобы ее не выводили“, думалъ Вельчаниновъ. Наконецъ, вышли.

— Вотъ-съ, все конфузится, сказалъ Павелъ Павловичъ,—стыдливая такая, гордая-съ... и вся-то въ покойницу!

Лиза вышла уже безъ слезъ, съ опущенными глазами; отецъ велъ ее за руку. Это была высокенькая, тоненькая и очень хорошенькая дѣвочка. Она быстро подняла свои большіе голубые глаза на гостя, съ любопытствомъ, но угрюмо посмотрѣла на него и тотчасъ же опять опустила. Во взглядѣ ея была та дѣтская важность, когда дѣти, оставшись одни съ незнакомымъ, уйдутъ въ уголокъ и оттуда важно и недоувѣрчиво поглядываютъ на новаго, никогда еще не бывавшаго гостя; но была, можетъ-быть, и другая, какъ бы ужъ и не дѣтская, мысль,—такъ показалось Вельчанинову. Отецъ подвелъ ее къ нему вплоть:

— Вотъ, этотъ дяденька мамашу зналъ прежде, другъ нашъ былъ, ты не дичись, протяни ручку-то.

Дѣвочка слегка наклонилась и робко протянула руку.

— У насъ Наталья Васильевна-съ не хотѣла учить ее присѣдать въ знакъ привѣтствія, а такъ, на англійскій манеръ, слегка наклониться и протянуть гостю руку, прибавилъ онъ въ объясненіе Вельчанинову, пристально въ него всматриваясь.

Вельчаниновъ зналъ, что онъ всматривается, но совѣмъ уже не заботился скрывать свое волненіе; онъ сидѣлъ на стулѣ, не шевелясь, держалъ руку Лизы въ своей рукѣ и пристально вглядывался въ ребенка. Но Лиза была чѣмъ-то очень озабочена и, забывъ свою руку въ рукѣ гостя,

не сводила глазъ съ отца. Она боязливо прислушивалась ко всему, что онъ говорилъ. Вельчаниновъ тотчасъ же призналъ эти большіе голубые глаза, но всего болѣе поразили его удивительная, необычайно нѣжная бѣлизна ея лица и свѣтъ волосъ; эти признаки были слишкомъ для него значительны. Окладъ лица и складъ губъ, напротивъ того, рѣзко напоминалъ Наталью Васильевну. Павелъ Павловичъ межъ тѣмъ давно уже началъ что-то рассказывать, казалось, съ чрезвычайнымъ жаромъ и чувствомъ, но Вельчаниновъ совсѣмъ не слыхалъ его. Онъ захватилъ только послѣднюю фразу.

— ... такъ что вы, Алексѣй Ивановичъ, даже и вообразить не можете нашей радости при этомъ дарѣ Господнемъ-съ! Для меня она все составила своимъ появленіемъ, такъ что если-бъ и исчезло, по волѣ Божьей, мое тихое счастье, — такъ вотъ, думаю, останется мнѣ Лиза; вотъ что, по крайней мѣрѣ, я твердо зналъ-съ!

— А Наталья Васильевна? спросилъ Вельчаниновъ.

— Наталья Васильевна? покривился Павелъ Павловичъ. — Вѣдь вы ее знаете, помните-съ, она много высказывать не любила, но зато какъ прощалась съ нею на смертномъ одрѣ... тутъ-то вотъ все и высказалось-съ! И вотъ я вамъ сказалъ сейчасъ „на смертномъ одрѣ-съ“, а межъ тѣмъ вдругъ, за день уже до смерти, волнуется, сердится, говоритъ, что ее лѣкарствами залѣчить хотятъ, что у ней одна только простая лихорадка, и оба наши доктора ничего не смыслятъ, и какъ только вернется Кохъ (помните, штабъ-лекаръ-то нашъ, старичокъ), такъ она черезъ двѣ недѣли встанетъ съ постели! Да куда, уже за пять часовъ только до отхода, вспоминала, что черезъ три недѣли непременно надо тетку-именинницу посѣтить, въ имѣніи ея, Лизину крестную мать-съ...

Вельчаниновъ вдругъ поднялся со стула, все еще не выпуская ручку Лизы. Ему, между прочимъ, показалось, что въ горячемъ взглядѣ дѣвочки, устремленномъ на отца, было что-то укорительное.

— Она не больна? какъ-то странно, торопливо спросилъ онъ.

— Кажется бы нѣтъ-съ, но... обстоятельства-то вотъ наши такъ здѣсь сошлись, проговорилъ Павелъ Павловичъ съ горестною заботливостью, — ребенокъ странный и безъ того-съ, первый, послѣ смерти матери больна была двѣ недѣли, истерическая-съ. Давеча вѣдь какой у насъ

плачь былъ, какъ вы вошли-съ, — слышишь, Лиза, слышишь?—А вѣдь изъ-за чего-съ? Все въ томъ, что я ухожу и ее оставляю, значить, дескать, что ужъ и не люблю больше такъ, какъ ее при мамашѣ любилъ, — вотъ въ чемъ обвиняетъ меня. И забредетъ же въ голову такая фантазія такому еще ребенку-съ, которому бы только въ игрушки играть. А здѣсь и поиграть-то ей не съ кѣмъ.

— Такъ какъ же вы... вы здѣсь развѣ совсѣмъ только вдвоемъ?

— Совсѣмъ одинокіе-съ; служанка только развѣ придетъ, разъ на дню.

— А уходите, ее одну такъ и оставляете?

— А то какъ же-съ? А вчера уходилъ, такъ даже заперъ ее, вотъ въ той комнатѣ, изъ-за того у насъ и слезы вышли сегодня. Да вѣдь, что же было дѣлать, посудите сами: третьяго дня сошла она внизъ безъ меня, а мальчикъ на дворѣ ей въ голову камнемъ пустилъ. А то заплачетъ, да и бросится у всѣхъ на дворѣ распрашивать, куда я ушелъ? А вѣдь это не хорошо-съ. Да и я-то хорошъ: уйду на часъ, а приду на другой день поутру, такъ и вчера сошлось. Хорошо еще, что хозяйка безъ меня отперла ей, слесаря призывала замокъ отворить, — даже срамъ-съ, — подлинно самъ себя извергомъ чувствую-съ. Все отъ затменія-съ. Все отъ затменія-съ...

— Папаша! робко и безпокойно проговорила дѣвочка.

— Ну, вотъ и опять! Опять ты за то же! Что я давеча говорилъ?

— Я не буду, я не буду, въ страхѣ, торопливо складывая передъ нимъ руки, повторила Лиза.

— Такъ не можетъ продолжаться у васъ, при такой обстановкѣ, нетерпѣливо заговорилъ вдругъ Вельчаниновъ, голосомъ власть имѣющаго. — Вѣдь вы... вѣдь вы человѣкъ съ состояніемъ же; какъ же вы такъ — во-первыхъ, въ этомъ флигелѣ и при такой обстановкѣ?

— Во флигелѣ-то-съ? Да вѣдь черезъ недѣлю, можетъ, уже и уѣдемъ-съ, а денегъ и безъ того много потратили, хотя бы и съ состояніемъ-съ...

— Ну, довольно, довольно, прервалъ его Вельчаниновъ все съ болѣе и болѣе возрастающимъ нетерпѣніемъ, какъ бы явно говоря: „нечего говорить, все знаю, что ты скажешь, и знаю, съ какимъ нетерпѣніемъ ты говоришь!“ — Слушайте, я вамъ дѣлаю предложеніе: вы сейчасъ сказали, что останетесь недѣлю, пожалуй, можетъ, и двѣ. У

меня здѣсь есть одинъ домъ, то-есть такое семейство, гдѣ я какъ въ родномъ своемъ углу, — вотъ уже двадцать лѣтъ. Это семейство однихъ Погорѣльцевыхъ. Погорѣльцевъ Александръ Павловичъ, тайный совѣтникъ; даже вамъ, пожалуй, пригодится по вашему дѣлу. Они теперь на дачѣ. У нихъ богатѣйшая своя дача. Клавдія Петровна Погорѣльцева мнѣ какъ сестра, какъ мать. У нихъ восемь человѣкъ дѣтей. Дайте, я сейчасъ же свезу къ нимъ Лизу... я для того, чтобъ времени не терять. Они съ радостью примутъ, на все это время, обласкаютъ, какъ родную дочь, какъ родную дочь!

Онъ былъ въ ужасномъ нетерпѣніи и не скрывалъ этого.

— Это какъ-то ужъ невозможно-съ, проговорилъ Павелъ Павловичъ съ ужимкою и хитро, какъ показалось Вельчанинову, засматривая ему въ глаза.

— Почему? Почему невозможно?

— Да какъ же-съ, отпустить такъ ребенка, и вдругъ-съ, — положимъ, съ такимъ искреннимъ благопріятелемъ, какъ вы, — я не про то-съ, но все-таки въ домъ незнакомый, и такого ужъ высшаго общества-съ, гдѣ я еще и не знаю, какъ примутъ.

— Да я же сказалъ вамъ, что я у нихъ какъ родной! почти въ гнѣвъ закричалъ Вельчаниновъ. — Клавдія Петровна за счастье почтетъ по одному моему слову. Какъ бы мою дочь... да чортъ возьми, вѣдь вы сами же знаете, что вы только такъ, чтобы болтать... чего же ужъ тутъ говорить!

Онъ даже топнулъ ногой.

— Я къ тому, что не странно-ли очень ужъ будетъ-съ? Все-таки надо бы и мнѣ хоть разъ-другой къ ней навѣдаться, а то какъ же совсѣмъ безъ отца-то-съ? Хе-хе... и въ такой важный домъ-съ.

— Да это простѣйшій домъ, а вовсе не „важный“! кричалъ Вельчаниновъ. — Говорю вамъ, тамъ дѣтей много. Она тамъ воскреснетъ, все для этого... А васъ я самъ завтра же отрекомендую, коли хотите. Да и непременно даже нужно будетъ вамъ съѣздить поблагодарить; каждый день будемъ ѣздить, если хотите...

— Все какъ-то-съ...

— Вздоръ! Главное въ томъ, что вы сами это знаете! Слушайте, заходите ко мнѣ сегодня съ вечера, и почитайте, пожалуй, а поутру пораньше и поѣдемъ, чтобы въ двѣнадцать тамъ быть.

— Благодаритель вы мой! Даже и ночевать у васъ... съ умилениемъ согласился вдругъ Павелъ Павловичъ. — По-длинно благодаряніе оказываете... а гдѣ ихняя дача-съ?

— Дача ихъ въ Лѣсномъ.

— Только вотъ какъ же ея костюмъ-съ? Потому-съ, въ такой знатный домъ, да еще на дачѣ-съ, сами знаете... Сердце отца-съ!

— А какой ея костюмъ? Она въ траурѣ. Развѣ можетъ быть у ней другой костюмъ? Самый приличный, какой только можно вообразить! Только вотъ бѣлье бы почище, косыночку...

Косыночка и выглядывавшее бѣлье были дѣйствительно очень грязны.

— Сейчасъ же, непременно переодѣться, хлопоталъ Павелъ Павловичъ, — а прочее необходимое бѣлье мы ей тоже сейчасъ соберемъ; оно у Марьи Сысоевны въ стиркѣ-съ.

— Такъ велѣтъ бы послать за коляской, перебилъ Вельчаниновъ, — и скорѣй, если бѣ возможно.

Но оказалось препятствіе: Лиза рѣшительно воспротивилась: все время она со страхомъ прислушивалась и если бы Вельчаниновъ, уговаривая Павла Павловича, имѣлъ время пристально къ ней приглядѣться, то увидѣлъ бы совершенное отчаяніе на ея личикѣ.

— Я не поѣду, сказала она твердо и тихо.

— Вотъ, вотъ видите-съ, вся въ мамашу!

— Я не въ мамашу, я не въ мамашу! выкрикивала Лиза, въ отчаяніи ломая свои маленькія руки и какъ бы оправдываясь передъ отцомъ въ страшномъ упрекѣ, что она въ мамашу. — Папаша, папаша, если вы меня кинете...

Она вдругъ накинута на испугавшагося Вельчанинова.

— Если вы возьмете меня, такъ я...

Но она не успѣла ничего выговорить далѣе; Павелъ Павловичъ схватилъ ее за руку, чуть не за шиворотъ, и уже съ нескрываемымъ озлобленіемъ потащилъ ее въ маленькую комнатку. Тамъ опять нѣсколько минутъ происходило шептанье; слышался заглушенный плачь. Вельчаниновъ хотѣлъ было уже идти туда самъ, но Павелъ Павловичъ вышелъ къ нему и съ искривленной улыбкой объявилъ, что сейчасъ она выйдетъ-съ. Вельчаниновъ старался не глядѣть на него и смотрѣлъ въ сторону.

Явилась и Марья Сысоевна, та самая баба, которую встрѣтилъ онъ, входя давеча въ коридоръ, и стала укла-

дывать въ хорошенькій маленькій сакъ, принадлежавшій Лизѣ, принесенное для нея бѣлье.

— Вы, что-ли, батюшка, дѣвочку-то отвезете? обратилась она къ Вельчанинову. — Семейство, что-ли, у васъ? Хорошо, батюшка, сдѣлаете: ребенокъ смиренный, отъ содома избавите.

— Ужъ вы, Марья Сысоевна, пробормоталъ было Павелъ Павловичъ.

— Что, Марья Сысоевна! Меня и всѣ такъ величаютъ. Аль у тебя не содомъ? Прилично-ли ребеночку съ понятіемъ на такой срамъ смотрѣть? Коляску-то привели вамъ, батюшка, — до Лѣснаго, что-ли?

— Да, да.

— Ну, и въ добрый часъ!

Лиза вышла блѣдненькая, съ потупленными глазами, и взяла сакъ. Ни одного взгляда въ сторону Вельчанинова; она сдержала себя и не бросилась, какъ давеча, обнимать отца, даже при прощаньи; видимо даже не хотѣла поглядѣть на него. Отецъ прилично поцѣловалъ ее въ головку и погладилъ; у ней закривилась при этомъ губка и задрожалъ подбородокъ, но глазъ она на отца все-таки не подняла. Павелъ Павловичъ былъ какъ будто блѣденъ и руки у него дрожали—это ясно замѣтилъ Вельчаниновъ, хотя всѣми силами старался не смотрѣть на него. Одного ему хотѣлось—поскорѣй ужъ уѣхать.

„А тамъ что-жъ, чѣмъ же я виноватъ?“ думалъ онъ, — „такъ должно было быть“.

Сошли внизъ, тутъ расцѣловалась съ Лизой Марья Сысоевна, и только уже усѣвшись въ коляску, Лиза подняла глаза на отца—и вдругъ всплеснула руками и вскрикнула; еще мигъ, и она бы бросилась къ нему изъ коляски, но лошади уже тронулись.

## VI.

### Новая фантазія празднаго человѣка.

— Ужъ не дурно-ли вамъ? испугался Вельчаниновъ. — Я велю остановить, я велю вынести воды...

Она вскинула на него глазами и горячо, укорительно поглядѣла.

— Куда вы меня везете? проговорила она рѣзко и отрывисто.

— Это прекрасный домъ, Лиза. Они теперь на пре-

красной дачѣ; тамъ много дѣтей, они васъ тамъ будутъ любить, они добрые... Не сердитесь на меня, Лиза, я вамъ добра хочу...

Странень бы показался онъ въ эту минуту кому-нибудь изъ знавшихъ его, если бы кто изъ нихъ могъ его видѣть.

— Какъ вы,—какъ вы,—какъ вы... у, какіе вы злые! сказала Лиза, задыхаясь отъ подавляемыхъ слезъ и за-сверкавъ на него озлобленными прекрасными глазами.

— Лиза, я...

— Вы злые, злые, злые, злые!

Она ломала свои руки. Вельчаниновъ совсѣмъ потерялся.

— Лиза, милая, если-бъ вы знали, въ какое отчаяніе вы меня приводите!

— Это правда, что онъ завтра пріѣдетъ? Правда? спросила она повелительно.

— Правда, правда! Я его самъ привезу; я его возьму и привезу.

— Онъ обманетъ, прошептала Лиза, опуская глаза въ землю.

— Развѣ онъ васъ не любитъ, Лиза?

— Не любить.

— Онъ васъ обижалъ? Обижалъ?

Лиза мрачно посмотрѣла на него и промолчала. Она опять отвернулась отъ него и сидѣла упорно потупившись. Онъ началъ ее уговаривать, онъ говорилъ ей съ жаромъ, онъ былъ самъ въ лихорадкѣ. Лиза слушала недовѣрчиво, враждебно, но слушала. Вниманіе ея обрадовало его чрезвычайно: онъ даже сталъ объяснять ей, что такое пьющій человекъ. Онъ говорилъ, что самъ ее любитъ и будетъ наблюдать за отцомъ. Лиза подняла, наконецъ, глаза и пристально на него поглядѣла. Онъ сталъ рассказывать, какъ онъ зналъ еще ея мамашу, и видѣлъ, что увлекаетъ ее рассказами. Мало-по-малу она начала понемногу отвѣчать на его вопросы, но осторожно и односложно, съ упорствомъ. На главные вопросы она все-таки ничего не отвѣтила: она упорно молчала обо всемъ, что касалось прежнихъ ея отношеній къ отцу. Говоря съ нею, Вельчаниновъ взялъ ея ручку въ свою, какъ давеча, и не выпускалъ ее; она не отнимала. Дѣвочка, впрочемъ, не все молчала; она все-таки проговорила въ неясныхъ отвѣтахъ, что отца она больше любила, чѣмъ мамашу, потому что онъ всегда прежде ее больше любилъ, а мамаша прежде ее меньше любила, но что когда мамаша



умирала, то очень ее цѣловала и плакала, когда всѣ вышли изъ комнаты и онѣ остались вдвоемъ... и что она теперь ее больше всѣхъ любить, больше всѣхъ, всѣхъ на свѣтѣ, и каждую ночь больше всѣхъ любить ее. Но дѣвочка была дѣйствительно горда: спохватившись о томъ, что она проговорила, она вдругъ опять замкнулась и примолкла; даже съ ненавистью взглянула на Вельчанинова, заставившаго ее проговориться. Подъ конецъ пути истерическое состояніе ея почти прошло, но она стала ужасно задумчива и смотрѣла какъ дикарка, угрюмо, съ мрачнымъ, предрѣшеннымъ упорствомъ. Что же касается до того, что ее везуть теперь въ незнакомый домъ, въ которомъ она никогда не бывала, то это, кажется, мало ее покамѣсть смущало. Мучило ее другое, это видѣлъ Вельчаниновъ; онъ угадывалъ, что ей стыдно его, что ей именно стыдно того, что отецъ такъ легко ее съ нимъ отпустилъ, какъ будто бросилъ ему на руки.

„Она больна“, думалъ онъ, — „можетъ-быть, очень; ее измучили... О, пьяная, подлая тварь! Я теперь понимаю его!“

Онъ торопилъ кучера: онъ надѣялся на дачу, на воздухъ, на садъ, на дѣтей, на новую, незнакомую ей жизнь, а тамъ, потомъ... Но въ томъ, что будетъ послѣ, онъ уже не сомнѣвался нисколько; тамъ были полныя, ясныя надежды. Объ одномъ только онъ зналъ совершенно: что никогда еще онъ не испытывалъ того, что ощущаетъ теперь, и что это останется при немъ на всю его жизнь!

„Вотъ цѣль, вотъ жизнь!“ думалъ онъ восторженно.

Много мелькало въ немъ теперь мыслей, но онъ не останавливался на нихъ и упорно избѣгалъ подробностей: безъ подробностей все становилось ясно, все было нерушимо. Главный планъ его сложился самъ собою:

„Можно будетъ подѣйствовать на этого мерзавца“, мечталъ онъ, — „соединенными силами, и онъ оставитъ въ Петербургѣ у Погорѣльцевыхъ Лизу, хоть сначала только на время, на срокъ, и уѣдетъ одинъ; а Лиза останется мнѣ; вотъ и все, чего же тутъ болѣе? И... и конечно онъ самъ этого желаетъ; иначе зачѣмъ бы ему ее мучить“.

Наконецъ, приѣхали. Дача Погорѣльцевыхъ была дѣйствительно прелестное мѣстечко; встрѣтила ихъ прежде всѣхъ шумная ватага дѣтей, высыпавшая на крыльцо дачи. Вельчаниновъ уже слишкомъ давно тутъ не былъ, и радость дѣтей была неистовая: его любили. Постарше

тотчасъ же закричали ему, прежде чѣмъ онъ вышелъ изъ коляски:

— А что процессъ, что вашъ процессъ?

Это подхватили и самые маленькіе и со смѣхомъ визжали вслѣдъ за старшими. Его здѣсь дразнили процесомъ. Но, увидѣвъ Лизу, тотчасъ же окружили ее и стали ее разсматривать съ молчаливымъ и пристальнымъ дѣтскимъ любопытствомъ. Вышла Клавдія Петровна, а за нею ее мужъ. И она, и мужъ ее тоже начали съ перваго слова и смѣясь вопросомъ о процессѣ.

Клавдія Петровна была дама лѣтъ тридцати семи, полная и еще красивая брюнетка, съ свѣжимъ и румянымъ лицомъ. Мужъ ее былъ лѣтъ пятидесяти пяти, человекъ умный и хитрый, но добрякъ прежде всего. Ихъ домъ былъ въ полномъ смыслѣ „родной уголъ“ для Вельчанинова, какъ самъ онъ выражался. Но тутъ скрывалось еще особое обстоятельство: лѣтъ двадцать назадъ эта Клавдія Петровна чуть было не вышла замужъ за Вельчанинова, тогда еще почти мальчика, еще студента. Любовь была первая, пылкая, смѣшная и прекрасная. Кончилось однакоже тѣмъ, что она вышла за Погорѣльцева. Лѣтъ черезъ пять опять встрѣтились, и все кончилось ясною и тихою дружбой. Осталась навсегда какая-то теплота въ ихъ отношеніяхъ, какой-то особенный свѣтъ, озарявшій эти отношенія. Тутъ все было чисто и безупречно въ воспоминаніяхъ Вельчанинова и тѣмъ дороже для него, что, можетъ-быть, единственно только тутъ это и было. Здѣсь, въ этой семьѣ, онъ былъ простъ, наивенъ, добръ, нянчилъ дѣтей, не ломался никогда, сознавался во всемъ и исповѣдывался во всемъ. Онъ елялся не разъ Погорѣльцевымъ, что поживетъ еще немного въ свѣтѣ, а тамъ переѣдетъ къ нимъ совѣмъ и станетъ жить съ ними уже не разлучаясь. Про себя онъ думалъ объ этомъ намѣреніи вовсе не шутя.

Онъ довольно подробно изложилъ имъ о Лизѣ все, что было надо; но достаточно было одной его просьбы, безо всякихъ особенныхъ изложеній. Клавдія Петровна распѣловала „сиротку“ и общала сдѣлать все съ своей стороны. Дѣти подхватили Лизу и увели играть въ садъ. Черезъ полчаса живого разговора Вельчаниновъ всталъ и сталъ прощаться. Онъ былъ въ такомъ нетерпѣніи, что всѣмъ это стало замѣтно. Всѣ удивились: не былъ три недѣли и теперь уѣзжаетъ черезъ полчаса. Онъ смѣялся

и клялся, что прїдетъ завтра. Ему замѣтили, что онъ въ слишкомъ сильномъ волненїи; онъ вдругъ взялъ за руки Клавдію Петровну и подъ предлогомъ, что забылъ сказать что-то очень важное, отвелъ ее въ другую комнату.

— Помните вы, что я вамъ говорилъ, — вамъ одной, и чего даже мужъ вашъ не знаетъ, — о Т—скомъ годѣ моей жизни?

— Слишкомъ помню; вы часто объ этомъ говорили.

— Я не говорилъ, а я исповѣдывался, и вамъ одной, вамъ одной! Я никогда не называлъ вамъ фамиліи этой женщины: она — Трусоцкая, жена этого Трусоцкаго. Это она умерла, а Лиза ея дочь — моя дочь!

— Это навѣрно? Вы не ошибаетесь? спросила Клавдія Петровна съ нѣкоторымъ волненїемъ.

— Совершенно, совершенно не ошибаюсь! восторженно проговорилъ Вельчаниновъ.

И онъ рассказалъ сколько могъ вкратцѣ, слѣша и волнуясь ужасно, — все. Клавдія Петровна и прежде знала это все, по фамиліи этой дамы не знала. Вельчанинову до того становилось всегда страшно при одной мысли, что кто-нибудь изъ знающихъ его встрѣтитъ когда-нибудь ш-ше Трусоцкую и подумаетъ, что онъ могъ такъ любить эту женщину, что даже Клавдію Петровнѣ, единственному своему другу, онъ не посмѣлъ открыть до сихъ поръ имени „той женщины“.

— И отецъ ничего не знаетъ? спросила та, выслушавъ рассказъ.

— Н-нѣтъ, онъ знаетъ... Это-то меня и мучить, что я еще не разглядѣлъ тутъ всего! горячо продолжалъ Вельчаниновъ.—Онъ знаетъ, знаетъ; я это замѣтилъ сегодня и вчера. Но мнѣ надо знать, сколько именно онъ тутъ знаетъ? Я потому и слѣшу теперь. Сегодня вечеромъ онъ придетъ. Недоумѣваю, впрочемъ, откуда бы ему знать, — то-есть все-то знать? Про Багаутова онъ знаетъ все, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Но про меня? Вы знаете, какъ въ этомъ случаѣ жены умѣютъ завѣрять своихъ мужей! Сойди самъ ангелъ съ небеси—мужъ и тому не повѣритъ, а повѣритъ ей! Не качайте головой, не осуждайте меня, я самъ себя осуждаю и осудилъ во всемъ, давно, давно!.. Видите, давеча у него я до того былъ увѣренъ, что онъ знаетъ все, что компрометировалъ передъ нимъ себя самъ. Вѣрите-ли: мнѣ такъ стыдно и тяжело, что я его вчера

такъ грубо встрѣтилъ. (Я вамъ потомъ все еще подробнѣе расскажу). Онъ и зашелъ вчера ко мнѣ изъ неподбѣдимаго злобнаго желанія дать мнѣ знать, что онъ знаетъ свою обиду, и что ему извѣстенъ обидчикъ! Вотъ вся причина его глупаго прихода въ пьяномъ видѣ. Но это такъ естественно съ его стороны! Онъ именно зашелъ укорить! Вообще я слишкомъ горячо вель это давеча и вчера! Неосторожно глупо! Самъ себя ему выдалъ! Зачѣмъ онъ въ такую разстроенную минуту подѣхалъ? Говорю же вамъ, что онъ даже Лизу мучилъ, мучилъ ребенка, и навѣрно тоже, чтобъ укорить, чтобъ зло сорвать, хоть на ребенкѣ! Да, онъ озлобленъ, — какъ онъ ни ничтоженъ, но онъ озлобленъ; очень даже. Само собою это не болѣе какъ шутъ, хотя прежде, ей-Богу, онъ имѣлъ видъ порядочнаго человѣка, насколько могъ, но вѣдь—это такъ естественно, что онъ пошелъ безпутничать! Тутъ, другъ мой, по-христіански надо взглянуть! И знаете, милая, добрая моя,— я хочу къ нему совсѣмъ перемѣниться: я хочу обласкать его. Это будетъ даже „доброе дѣло“ съ моей стороны. Потому что вѣдь все-таки я же передъ нимъ виноватъ! Послушайте, знаете, я вамъ еще скажу: мнѣ разъ въ Т. вдругъ четыре тысячи рублей понадобились, и онъ мнѣ выдалъ ихъ въ одну минуту, безо всякаго документа, съ искреннею радостью, что могъ угодить, и вѣдь я же взялъ тогда, я вѣдь изъ рукъ его взялъ, я деньги бралъ отъ него, слышите, бралъ, какъ у друга!

— Только будьте осторожниѣ, съ безнокойствомъ замѣтила на все это Клавдія Петровна,—и какъ вы восторженны, я, право, боюсь за васъ! Конечно, Лиза теперь и моя дочь, но тутъ такъ много, такъ много еще неразрѣшеннаго! А главное, будьте теперь осмотрительнѣ; вамъ непремѣнно надо быть осмотрительнѣ, когда вы въ счастья или въ такомъ восторгѣ; вы слишкомъ великодушны, когда вы въ счастья, прибавила она съ улыбкою.

Всѣ вышли провожать Вельчанинова; дѣти привели Лизу, съ которой играли въ саду. Они смотрѣли на нее теперь, казалось, еще съ большимъ недоумѣніемъ, чѣмъ давеча. Лиза задичилась совсѣмъ, когда Вельчаниновъ поцѣловалъ ее при всѣхъ, прощаясь, и съ жаромъ повторилъ обѣщаніе пріѣхать завтра съ отцомъ. До послѣдней минуты она молчала и на него не смотрѣла, но тутъ вдругъ схватила его за рукавъ и потянула куда-то въ сторону, устремивъ на него умоляющій взглядъ; ей хо-

тѣлось что-то сказать ему. Онъ тотчасъ отвелъ ее въ другую комнату.

— Что такое, Лиза? нѣжно и ободрительно спросилъ онъ, но она, все еще боязливо оглядываясь, потащила его дальше въ уголь; ей хотѣлось отъ всѣхъ спрятаться.

— Что такое, Лиза, что такое?

Она молчала и не рѣшалась; неподвижно глядѣла въ его глаза своими голубыми глазами и во всѣхъ чертахъ ея личика выражался одинъ только безумный страхъ.

— Онъ... повѣсится! прошептала она какъ въ бреду.

— Кто повѣсится? спросилъ Вельчаниновъ въ испугѣ.

— Онъ, онъ! Онъ ночью хотѣлъ на петлѣ повѣситься! торопясь и задыхаясь говорила дѣвочка,—я сама видѣла! Онъ давеча хотѣлъ на петлѣ повѣситься, онъ мнѣ говорилъ, говорилъ! Онъ и прежде хотѣлъ, всегда хотѣлъ... Я видѣла ночью...

— Не можетъ быть! прошепталъ Вельчаниновъ въ недоумѣннн.

Она вдругъ бросилась цѣловать ему руки; она плакала, едва переводя дыханіе отъ рыданій, просила и умоляла его, но онъ ничего не могъ понять изъ ея истерическаго лепета. И навсегда потомъ остался ему памятенъ, мерещился на-яву и снился во снѣ этотъ измученный взглядъ замученнаго ребенка, въ безумномъ страхѣ и съ послѣдней надеждой смотрѣвшей на него.

„И неужели, неужели она такъ его любить?“ ревниво и завистливо думалъ онъ, съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ возвращаясь въ городъ.— „Она давеча сама сказала, что мать больше любить... можетъ-быть, она его ненавидитъ, а во-все не любить!..“

„И что такое: повѣсится? Что такое она говорила? Ему, дураку, повѣсится?.. Надо узнать; надо непременно узнать! Надо все какъ можно скорѣе рѣшить,—рѣшить окончательно!“

## VII.

### Мунъ и любовникъ цѣлуются.

Онъ ужасно сиѣшилъ „узнать“. „Давеча меня ошеломило; давеча некогда было соображать“, думалъ онъ, вспоминая первую встрѣчу свою съ Лизой,—„ну, а теперь—надо узнать“. Чтобы поскорѣе узнать, онъ въ нетерпѣннн велѣлъ было прямо везти себя къ Трусоцкому, но тотчасъ

одумался: „нѣтъ, пусть лучше онъ самъ ко мнѣ придетъ, а я тѣмъ временемъ поскорѣе съ этими проклятыми дѣлами покончу“.

За дѣла онъ принялся лихорадочно; по въ этотъ разъ самъ почувствовалъ, что очень разсѣянъ и что ему нельзя сегодня заниматься дѣлами. Въ пять часовъ, когда уже онъ отправился обѣдать, вдругъ, въ первый разъ, пришла ему въ голову смѣшная мысль: что вѣдь и въ самомъ дѣлѣ онъ, можетъ-быть, только мѣшаетъ дѣло дѣлать, вмѣшиваясь самъ въ эту тяжбу, самъ суетясь и толкаясь по присутственнымъ мѣстамъ и лоя своего адвоката, который сталъ уже отъ него прятаться. Онъ весело разсмѣялся надъ своимъ предположеніемъ. „А вѣдь приди вчера мнѣ въ голову эта мысль, я бы ужасно огорчился“, прибавилъ онъ еще веселѣе. Несмотря на веселость, онъ становился все разсѣяннѣе и нетерпѣливѣе: сталъ, наконецъ, задумчивъ; и хоть за многое цѣплялась его безпкойная мысль, въ цѣломъ ничего не выходило изъ того, что ему было нужно.

„Мнѣ его нужно, этого человѣка!“ рѣшилъ онъ, наконецъ,—„его надо разгадать, а ужъ потомъ и рѣшать. Тутъ—дуэль!“

Воротясь домой въ семь часовъ, онъ Павла Павловича у себя не засталъ и пришелъ отъ того въ крайнее удивленіе, потомъ въ гнѣвъ, потомъ даже въ уныніе; наконецъ, сталъ и бояться: „Богъ знаетъ, Богъ знаетъ, чѣмъ это кончится!“ повторялъ онъ, то расхаживая по комнатѣ, то протягиваясь на диванѣ, и все смотря на часы. Наконецъ, уже около девяти часовъ появился и Павелъ Павловичъ. „Если бы этотъ человѣкъ хитрилъ, то никогда бы лучше не подсидѣлъ меня, какъ теперь,—до того я въ эту минуту разстроены“, подумалъ онъ, вдругъ совершенно ободрившись и ужасно повеселѣвъ.

На бойкій и веселый вопросъ: зачѣмъ долго не приходилъ,—Павелъ Павловичъ криво улыбнулся, развязно, не по-вчерашнему, усѣлся и какъ-то небрежно отбросилъ на другой стулъ свою шляпу съ крепомъ. Вельчаниновъ тотчасъ замѣтилъ эту развязность и принялъ къ свѣдѣнію.

Спокойно и безъ лишнихъ словъ, безъ давешняго волненія, рассказалъ онъ, въ видѣ отчета, какъ онъ отвезъ Лизу, какъ ее мило тамъ приняли, какъ это ей будетъ полезно и, мало-по-малу, какъ бы совсѣмъ и забывъ о Лизѣ, незамѣтно свелъ рѣчь исключительно только на По-

горьльцевыхъ,—то-есть, какіе это милые люди, какъ онъ съ ними давно знакомъ, какой хорошей и даже вліятельный человекъ Погорьльцевъ, и тому подобное. Павелъ Павловичъ слушалъ разсѣянно и изрѣдка, исподлобья, съ брюзгливой и плутоватой усмѣшкой поглядывалъ на разсказчика.

— Пылкій вы человекъ, пробормоталъ онъ, какъ-то особенно скверно улыбаясь.

— Однако, вы сегодня какой-то злой, съ досадой замѣтилъ Вельчаниновъ.

— А отчего же бы мнѣ злымъ не быть-съ, подобно всѣмъ другимъ! вскинулся вдругъ Павелъ Павловичъ, точно выскочилъ изъ-за угла; даже точно того только и ждалъ, чтобы выскочить.

— Полная ваша воля, усмѣхнулся Вельчаниновъ.—Я подумалъ, не случилось-ли съ вами чего.

— И случилось! воскликнулъ тотъ, точно хвастаясь, что случилось.

— Что-жъ это такое?

Павелъ Павловичъ нѣсколько подождалъ отвѣчать.

— Да вотъ-съ все нашъ Степанъ Михайловичъ чудасить... Багаутовъ, изящнѣйшій петербургскій молодой человекъ-съ, высшаго общества-съ.

— Не приняли васъ опять, что-ли?

— Н-нѣтъ, именно въ этотъ-то разъ и приняли, въ первый разъ допустили-съ, и черты созерцалъ... только ужъ у покойника!..

— Что-о-о! Багаутовъ умеръ? ужасно удивился Вельчаниновъ, хотя, казалось, и нечему было ему-то такъ удивиться.

— Онъ-съ! Неизмѣнный и шестилѣтній другъ! Еще вчера чуть не въ полдень померъ, а я и не зналъ! Я, можетъ, въ самую-то эту минуту и заходилъ тогда о здоровьи навѣдаться. Завтра выносъ и погребеніе, ужъ въ гробикъ лежитъ-съ. Гробъ обить бархатомъ цвѣту масака, позументъ золотой... отъ нервной горячки померъ-съ. Допустили, допустили, созерцалъ черты! Объявилъ я при входѣ, что истиннымъ другомъ считался, потому и допустили. Что-жъ онъ со мной изволилъ теперь сотворить, истинный-то и шестилѣтній другъ,—я васъ спрашиваю? Я, можетъ, единственно для него одного и въ Петербургъ ѣхалъ!

— Да за что же вы на него-то сердитесь? засмѣялся Вельчаниновъ.—Вѣдь онъ не нарочно же умеръ!

— Да вѣдь и я сожалѣя говорю; другъ-то драгоцѣнный; вѣдь онъ вотъ что для меня значиль-сь.

И Павелъ Павловичъ вдругъ, совсѣмъ неожиданно, сдѣлалъ двумя пальцами рога надъ своимъ лысымъ лбомъ и тихо, продолжительно захихикалъ. Онъ просидѣлъ такъ, съ рогами и хихикая, цѣлыя полминуты, съ какимъ-то упоеніемъ самой ехидной наглости смотря въ глаза Вельчанинову. Тотъ остолбенѣлъ, какъ бы при видѣ какого-то призрака. Но столбнякъ его продолжался лишь одно только самое маленькое мгновение; насмѣшливая и до наглости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губахъ.

— Это что-жь такое означало? спросилъ онъ небрежно, растягивая слова.

— Это означало рога-сь! отрѣзалъ Павелъ Павловичъ, отнимая, наконецъ, свои пальцы отъ лба.

— То-есть... ваши рога?

— Мои собственные, благопріобрѣтенные! ужасно скверно скривился опять Павелъ Павловичъ.

Оба помолчали.

— Храбрый вы однакоже человѣкъ! проговорилъ Вельчаниновъ.

— Это оттого, что я рога-то вамъ показалъ? Знаете-ли-что, Алексѣй Ивановичъ, вы бы меня лучше чѣмъ-нибудь угостили! Вѣдь угощалъ же я васъ въ Т., цѣлый годъ-сь, каждый Божій день-сь... Пошлите-ка за бутылочкой, въ горлъ пересохло.

— Съ удовольствіемъ; вы бы давно сказали.—Вамъ чего?

— Да что: *вамъ*, говорите: *намъ*; вмѣстѣ вѣдь выпьемъ, неужто пѣтъ? съ вызовомъ, но въ то же время и съ страннымъ какимъ-то безпокойствомъ засматривалъ ему въ глаза Павелъ Павловичъ.

— Шампанскаго?

— А то чего же? До водки еще чередъ не дошелъ-сь...

Вельчаниновъ неторопливо всталъ, позвонилъ внизъ Мавру и распорядился.

— На радость веселой встрѣчи-сь, послѣ девятилѣтней разлуки, ненужно и неудачно подхихикивалъ Павелъ Павловичъ. Теперъ вы, и одинъ ужъ только вы у меня и остались истиннымъ другомъ-сь! Нѣтъ Степана Михайловича Багаутова! Это какъ у поэта:

«Нѣтъ великаго Патрокла  
Живъ презрительный Ферситъ!»



И при словѣ „Өерсить“ онъ пальцемъ ткнулъ себѣ въ грудь.

„Да ты, свинья, объяснился бы скорѣе, а намековъ я не люблю“, думалъ про себя Вельчаниновъ. Злоба кипѣла въ немъ и онъ давно уже едва себя сдерживалъ.

— Вы мнѣ вотъ что скажите, началъ онъ досадливо, — если вы такъ прямо обвиняете Степана Михайловича (онъ уже теперь не назвалъ его просто Багаутовымъ), — то вѣдь вамъ же, кажется, радость, что обидчикъ вашъ умеръ; чего-жъ вы злитесь?

— Какая же радость-съ? Почему же радость?

— Я по вашимъ чувствамъ сужу.

— Хе-хе, на этотъ счетъ вы въ моихъ чувствахъ ошибаетесь-съ, по изреченію одного мудреца: „хорошъ врагъ мертвый, но еще лучше живой“, хи-хи!

— Да вы живого-то лѣтъ пить, я думаю, каждый день видѣли, было время наглядѣться, злобно и нагло замѣтилъ Вельчаниновъ.

— А развѣ тогда... развѣ я тогда зналъ-съ? вскинулся вдругъ Павелъ Павловичъ, опять точно изъ-за угла выскочилъ, даже какъ бы съ какой-то радостью, что ему, наконецъ, сдѣлали вопросъ, котораго онъ такъ давно ожидалъ. — За кого же вы меня, Алексѣй Ивановичъ, стало быть, почитаете?

И во взглядѣ его блеснуло вдругъ какое-то совершенно новое и неожиданное выраженіе, какъ бы преобразившее совсѣмъ въ другой видъ злобное и доселѣ только подло кривлявшееся его лицо.

— Такъ неужели же вы ничего не знали! проговорилъ озадаченный Вельчаниновъ съ самымъ внезапнымъ удивленіемъ.

— Такъ неужто же зналъ-съ? Неужто зналъ! О, порода — Юпитеровъ нашихъ! У васъ человекъ все равно что собака, и вы всѣхъ по своей собственной натуршкѣ судите! Вотъ вамъ-съ! Проглотите-ка! — и онъ съ бѣшенствомъ стукнулъ по столу кулакомъ, но тотчасъ же самъ испугался своего стука и уже поглядѣлъ боязливо.

Вельчаниновъ пріосанился.

— Послушайте, Павелъ Павловичъ, мнѣ рѣшительно вѣдь все равно, согласитесь сами, знали вы тамъ или не знали. Если вы не знали, то это дѣлаетъ вамъ во всякомъ случаѣ честь, хотя... впрочемъ, я даже не понимаю, почему вы меня выбрали своимъ конфидентомъ?...

— Я не объ васъ... не сердитесь, не объ васъ... бормоталъ Павелъ Павловичъ, смотря въ землю.

Мавра вошла съ шампанскимъ.

— Вотъ и оно! закричалъ Павелъ Павловичъ, видимо обрадовавшись исходу.—Стаканчиковъ, матушка, стаканчиковъ; чудесно! Больше ничего отъ васъ, милая, не требуется. И ужъ откупорено? Честь вамъ и слава, милое существо! Ну, отправляйтесь!

И вновь ободрившись, онъ опять съ дерзостью посмотрѣлъ на Вельчанинова.

— А признайтесь, хихикнулъ онъ вдругъ,—что вамъ ужасно все это любопытно-съ, а вовсе не „рѣшительно все равно“, какъ вы изволили выговорить, такъ что вы даже и огорчились бы, если бы я сію минуту всталъ и ушелъ-съ, ничего вамъ не объяснивши.

— Право, не огорчился бы.

„Ой, лжешь!“ говорила улыбка Павла Павловича.

— Ну-съ, приступимъ!—И онъ разлилъ вино въ стаканы.

— Вышьемъ тостъ! провозгласилъ онъ, поднимая стаканъ.—За здоровье въ Бозѣ почившаго друга Степана Михайловича!

Онъ поднялъ стаканъ и выпилъ.

— Я такого тоста не стану пить, поставилъ свой стаканъ Вельчаниновъ.

— Почему же? Тостикъ пріятный.

— Вотъ что: вы, войдя теперь, пьяны не были?

— Пилъ немного. А что-съ?

— Ничего особеннаго, но мнѣ показалось, что вчера и особенно сегодня утромъ вы искренно сожалѣли о покойной Натальѣ Васильевнѣ.

— А кто вамъ сказалъ, что я неискренно сожалѣю о ней и теперь? тотчасъ же выскочилъ опять Павелъ Павловичъ, точно опять дернули его за пружинку.

— Я и не къ тому; но согласитесь сами, вы могли ошибиться насчетъ Степана Михайловича, а это — дѣло важное.

Павелъ Павловичъ хитро улыбнулся и подмигнулъ.

— А ужъ какъ бы вамъ хотѣлось узнать про то, какъ самъ-то я узналъ про Степана Михайловича!

Вельчаниновъ покраснѣлъ.

— Повторяю вамъ опять, что мнѣ все равно. „А не вышвырнуть-ли его сейчасъ вонъ, вмѣстѣ съ бутылкой?“ яростно подумалъ онъ и покраснѣлъ еще больше.

— Ничего-съ! какъ бы ободряя его, проговорилъ Павелъ Павловичъ и налилъ себѣ еще стаканъ.

— Я вамъ сейчасъ объясню, какъ я „все“ узналъ-съ, и тѣмъ удовлетворю ваши пламенные желанія... потому что пламенный вы человекъ, Алексѣй Ивановичъ, страшно пламенный человекъ-съ! Хе-хе! Дайте только мнѣ папиросочку, потому что я съ марта мѣсяца...

— Вотъ вамъ папироска.

— Развратился я съ марта мѣсяца, Алексѣй Ивановичъ, и вотъ какъ все это произошло-съ,—прислушайте-ка-съ. Чахотка, какъ вы сами знаете, милѣйшій другъ, фамильяричаль онъ все больше и больше, — есть болѣзнь любопытная-съ. Сплошь да рядомъ чахоточный человекъ умираетъ, почти и не подозрѣвая, что онъ завтра умретъ-съ. Говорю вамъ, что за пять еще часовъ Наталья Васильевна располагалась недѣли черезъ двѣ къ своей тетенькѣ верстъ за сорокъ отправиться. Кромѣ того, вѣроятно, извѣстна вамъ привычка, или, лучше сказать, повадка, общая многимъ дамамъ, а, можетъ, и кавалерамъ-съ: сохранять у себя старый хламъ по части переписки любовной-съ... Всего вѣрнѣе бы въ печь, не такъ-ли-съ? Нѣтъ, всякій-то лоскуточекъ бумажки у нихъ въ ящичкахъ и въ несесерахъ бережно сохраняется; даже поднумеровано по годамъ, по числамъ и по разрядамъ. Утѣшаетъ это что-ли ужъ очень — незнаю-съ; а должно-быть для пріятныхъ воспоминаній. Располагаясь за пять часовъ до кончины ѣхать на праздникъ къ тетенькѣ, Наталья Васильевна естественно и мысли о смерти не имѣла, даже до самаго послѣдняго часу-съ, и все Коха ждала. Такъ и случилось-съ, что померла Наталья Васильевна, а ящичекъ чернаго дерева, съ перламутровой инкрустаціей и съ серебромъ-съ, остался у ней въ бюро. И красивенькій такой ящичекъ, съ ключикомъ-съ, фамильный, отъ бабушки ей достался. Ну-съ, въ этомъ вотъ ящичкѣ все и открылось-съ, то-есть все-съ; безо всякаго исключенія, по днямъ и по годамъ, за все двадцатилѣтіе. А такъ какъ Степанъ Михайловичъ рѣшительную склонность къ литературѣ имѣлъ, даже страстную повѣсть одну въ журналъ отослалъ, то его произведеній въ шкатулочкѣ чуть не до сотни нумеровъ оказалось, — правда, что за пять лѣтъ-съ. Иные нумера такъ съ собственноручными помѣтками Натальи Васильевны. Пріятно супругу, какъ вы думаете-съ?

Вельчаниновъ быстро сообразилъ и припомнилъ, что онъ

никогда ни одного письма, ни одной записки не писалъ къ Натальѣ Васильевнѣ. А изъ Петербурга хотя и написалъ два письма, но на имя обоихъ супруговъ, какъ и было условлено. На послѣднее же письмо Натальи Васильевны, въ которомъ ему предписывалась отставка, онъ и не отвѣчалъ.

Кончивъ разсказъ, Павелъ Павловичъ молчалъ цѣлую минуту, назойливо улыбаясь и напрашиваясь.

— Что же вы ничего мнѣ не отвѣтили на вопросикъ-то-съ? проговорилъ онъ, наконецъ, съ явнымъ мученіемъ.

— На какой это вопросикъ?

— Да вотъ о пріятныхъ-то чувствахъ супруга-съ, отерывающаго шеатулочку.

— Э, какое мнѣ дѣло! желчно махнулъ рукой Вельчаниновъ, всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

— И бьюсь объ закладъ, вы теперь думаете: „свинья же ты, что самъ на рога свои указалъ“, хе-хе! Брезгливѣйшій человѣкъ... вы-съ.

— Ничего я про это не думаю. Напротивъ, вы слишкомъ раздражены смертью вашего оскорбителя и къ тому же вина много выпили. Ничего я не вижу во всемъ этомъ необыкновеннаго; слишкомъ понимаю, для чего вамъ нуженъ былъ живой Багаутовъ, и готовъ уважать вашу досаду: но...

— А для чего нуженъ былъ мнѣ Багаутовъ, по вашему мнѣнію-съ?

— Это ваше дѣло.

— Бьюсь объ закладъ, что вы дуэль подразумѣвали-съ!

— Чортъ возьми! все болѣе и болѣе не сдерживался Вельчаниновъ. — Я думалъ, что какъ всякій порядочный человѣкъ... въ подобныхъ случаяхъ не унижается до комической болтовни, до глупыхъ кривляній, до смѣшныхъ жалобъ и гадкихъ намековъ, которыми самъ себя еще больше мараешь, а дѣйствуетъ явно, прямо, открыто — какъ порядочный человѣкъ!

— Хе-хе, да, можетъ, я и непорядочный человѣкъ-съ?

— Это опять-таки ваше дѣло... а, впрочемъ, на какой же чортъ послѣ этого надо было вамъ живого Багаутова?

— Да хоть бы только поглядѣть на дружка-съ. Вотъ бы взяли съ нимъ бутылочку да и выпили вмѣстѣ.

— Онъ бы съ вами и пить не сталъ.

— Почему? Noblesse oblige! Вѣдь вотъ пьете же вы со мной-съ; чѣмъ онъ васъ лучше?

— Я съ вами не пилъ.

— Почему же такал вдругъ гордость-сь?

Вельчаниновъ вдругъ нервно и раздражительно расхотался.

— Фу, чортъ! Да вы рѣшительно „хищный типъ“ какой-то! Я думалъ, что вы только „вѣчный мужъ“ и больше ничего!

— Это какъ же такъ „вѣчный мужъ“, что такое? насторожилъ вдругъ уши Павелъ Павловичъ.

— Такъ, одинъ типъ мужей... долго рассказывать. Убирайтесь-ка лучше, да и пора вамъ; надоѣли вы мнѣ!

— А хищно-то что-жь? Вы сказали хищно!

— Я сказалъ, что вы „хищный типъ“; въ насмѣшку вамъ сказалъ.

— Какой-такой „хищный типъ“-сь? Расскажите, пожалуйста, Алексѣй Ивановичъ, ради Бога-сь, или ради Христа-сь.

— Ну, да довольно же, довольно! ужасно вдругъ опять разсердился и закричалъ Вельчаниновъ. — Пора вамъ, убирайтесь!

— Нѣтъ, не довольно-сь! вскочилъ и Павелъ Павловичъ. — Даже хотъ и надоѣлъ я вамъ, такъ и тутъ не довольно, потому что мы еще прежде должны съ вами выпить и чокнуть! Выпьемъ, тогда я уйду-сь, а теперь не довольно!

— Павелъ Павловичъ, можете вы сегодня убраться къ чорту, или нѣтъ?

— Я могу убраться къ чорту-сь, но сперва мы выпьемъ! Вы сказали, что не хотите пить именно *со мной*; ну, а я *хочу*, чтобы вы именно со мной-то и выпили!

Онъ уже не кривлялся болѣе, онъ уже не подхихикивалъ. Все въ немъ опять вдругъ какъ бы преобразилось и до того стало противоположно всей фигурѣ и всему тону еще сейчашняго Павла Павловича, что Вельчаниновъ былъ рѣшительно озадаченъ.

— Эй, выпьемъ, Алексѣй Ивановичъ! Эй, не отказывайте! продолжалъ Павелъ Павловичъ, схвативъ крѣпко его за руку и странно смотря ему въ лицо.

Очевидно, дѣло шло не объ одной только выпивкѣ.

— Да, пожалуй, пробормоталъ тотъ. — Гдѣ же?.. Тутъ бурда...

— Ровно на два стакана осталось, бурда чистая-сь, но мы выпьемъ и чоکنемся-сь! Вотъ-сь, извольте принять вашъ стаканъ.

Они чокнулись и выпили.

— Ну, а коли такъ, коли такъ... Ахъ!

Павель Павловичъ вдругъ схватился за лобъ рукой и нѣсколько мгновений оставался въ такомъ положеніи. Вельчанинову померещилось, что онъ вотъ-вотъ да и выговорить сейчасъ самое *послѣднее* слово. Но Павель Павловичъ ничего ему не выговорилъ; онъ только посмотрѣлъ на него и тихо, во весь ротъ, улыбнулся опять давешней хитрой и подмигивающей улыбкой.

— Чего вы отъ меня хотите, пьяный вы человекъ! Дурачите вы меня! неистово закричалъ Вельчаниновъ, за-топавъ ногами.

— Не кричите, не кричите, зачѣмъ кричать? торопливо замахалъ рукой Павель Павловичъ. — Не дурачу, не дурачу! Вы знаете-ли, что вы теперь—вотъ чѣмъ для меня стали!

И вдругъ онъ схватилъ его руку и поцѣловалъ. Вельчаниновъ не успѣлъ опомниться.

— Вотъ вы мнѣ теперь кто-съ! А теперь—я ко всѣмъ чертямъ!

— Подождите, постоитъ! закричалъ опомнившійся Вельчаниновъ.—Я забылъ вамъ сказать...

Павель Павловичъ повернулся отъ дверей.

— Видите, забормоталъ Вельчаниновъ чрезвычайно скоро, краснѣя и смотря совсѣмъ въ сторону,—вамъ бы слѣдовало завтра непременно быть у Погорѣльцевыхъ... познакомиться и поблагодарить; непременно...

— Непременно, непременно, ужъ какъ и не понять-съ! съ чрезвычайною готовностью подхватилъ Павель Павловичъ, быстро махая рукой, въ знакъ того, что и напоминать бы не надо.

— И къ тому же, васъ и Лиза очень ждетъ. Я общалъ...

— Лиза, вернулся вдругъ опять Павель Павловичъ, — Лиза? Знаете-ли вы, что такое была для меня Лиза-съ, была и есть-съ? Была и есть! закричалъ онъ вдругъ почти въ изступленіи.— Но... Хе! Это послѣ-съ, все будетъ послѣ-съ... А теперь мнѣ мало ужъ того, что мы съ вами выпили, Алексѣй Ивановичъ, мнѣ другое удовлетвореніе необходимо-съ...

Онъ положилъ на стулъ шляпу и, какъ давеча, задыхаясь немного, смотрѣлъ на него.

— Поцѣлуйте меня, Алексѣй Ивановичъ, предложилъ онъ вдругъ.

— Вы пьяны! закричалъ тотъ и отшатнулся.

— Пьянъ-съ, а вы все-таки поцѣлуйте меня, Алексѣй Ивановичъ. Эй, поцѣлуйте! Вѣдь поцѣловаль же я вамъ сейчасъ ручку!

Алексѣй Ивановичъ нѣсколько мгновений молчалъ, какъ будто отъ удара дубиной по лбу. Но вдругъ онъ наклонился къ бывшему ему по плечо Павлу Павловичу и поцѣловаль его въ губы, отъ которыхъ очень пахло виномъ. Онъ не совсѣмъ, впрочемъ, былъ увѣренъ, что поцѣловаль его.

— Ну, уже теперь, теперь... опять въ пьяномъ изступленіи крикнулъ Павелъ Павловичъ, засверкавъ своими пьяными глазами,—теперь вотъ что-съ: я тогда подумаль— „неужто и этотъ? Ужь если этотъ, думаю, если ужъ и онъ тоже, такъ кому же послѣ этого и вѣрить!“

Павелъ Павловичъ вдругъ залился слезами.

— Такъ понимаете-ли, какой вы теперь другъ для меня остались?!..

И онъ выбѣжалъ со своей шляпой изъ комнаты. Вельчаниновъ опять простоялъ нѣсколько минутъ на одномъ мѣстѣ, какъ и послѣ перваго посѣщенія Павла Павловича.

„Э, пьяный шутъ и больше ничего!“ махнулъ онъ рукой.

„Рѣшительно больше ничего!“ энергически подтвердилъ онъ, когда уже раздѣлся и легъ въ постель.

### VIII.

#### Лиза больна.

На другой день поутру, въ ожиданіи Павла Павловича, общавшаго не запоздать, чтобы ѣхать къ Погорѣльцевымъ, Вельчаниновъ ходилъ по комнатѣ, прихлебываль свой кофе, курилъ и каждую минуту сознавалъ себѣ, что онъ похожъ на человѣка, проснувшася утромъ и каждый мигъ воспоминающаго о томъ, какъ онъ получилъ наканунѣ пощечину. „Гм!.. онъ слишкомъ понимаетъ въ чемъ дѣло и отмститъ мнѣ Лизой!“ думаль онъ въ страхѣ.

Милый образъ бѣднаго ребенка грустно мелькнулъ передъ нимъ. Сердце его забилося сильнѣе отъ мысли, что онъ сегодня же, скоро, черезъ два часа, опять увидить свою Лизу. „Э, что тутъ говорить!“ рѣшилъ онъ съ жаромъ,—„теперь въ этомъ вся жизнь и вся моя цѣль! Что тамъ всѣ эти пощечины и воспоминанія!.. И для чего я

только жить до сихъ поръ? Безпорядокъ и грусть... а теперь—все другое, все по другому!”

Но, несмотря на свой восторгъ, онъ задумывался все болѣе и болѣе.

„Онъ замучаетъ меня Лизой—это ясно! И Лизу заму-чаетъ. Вотъ на этомъ-то онъ меня и дождетъ за все. Гм!.. безъ сомнѣнiя, я не могу же позволить вчерашнихъ вы-ходовъ съ его стороны“, покрасилъ онъ вдругъ,—„и... и вотъ однакоже онъ не идетъ, а ужъ двѣнадцатый часъ!”

Онъ ждалъ долго, до половины перваго, и тоска его возрастала все болѣе и болѣе. Павелъ Павловичъ не являлся. Наконецъ, давно ужъ шевелившаяся мысль о томъ, что тотъ не придетъ нарочно, единственно для того, чтобы выкинуть еще выходку, по-вчерашнему, раз-дражила его въ конецъ: „онъ знаетъ, что я отъ него завишу, и что будетъ теперь съ Лизой! И какъ я явлюсь къ ней безъ него!”

Наконецъ, онъ не выдержалъ и ровно въ часъ пополудни поскакалъ самъ къ Покрову. Въ номерахъ ему объявили, что Павелъ Павловичъ дома и не ночевалъ, а пришелъ лишь поутру, въ девятомъ часу, побылъ всего четверть часика, да и опять отправился. Вельчаниновъ стоялъ у двери Павла Павловичева номера, слушалъ говорившую ему служанку и машинально вертѣлъ ручку запертой двери и потягивалъ ее взадъ и впередъ. Опомнившись, онъ плюнулъ, оставилъ замокъ и попросилъ сводить его къ Марьѣ Сысоевнѣ. Но та, услыхавъ о немъ, и сама охотно вышла.

Это была добрая баба, „баба съ благородными чув-ствами“, какъ выразился о ней Вельчаниновъ, когда пере-давалъ потомъ свой разговоръ съ нею Клавдii Петровнѣ. Разспросивъ коротко о томъ, какъ онъ отвезъ вчера „дѣ-вочку“, Марья Сысоевна тотчасъ же пустилась въ рассказы о Павлѣ Павловичѣ. По ея словамъ, „не будь только ро-бѣночка, давно бы она его выжила. Его и изъ гости-ницы сюда выжили потому, что очень ужъ безобразничалъ. Ну, не грѣхъ ли, съ собой дѣвку ночью привелъ, когда тутъ же робѣночекъ съ понятiемъ! Кричить: „это вотъ тебѣ будетъ мать, коли я того захочу!“ Такъ вѣрите ли, чего ужъ дѣвка, а и та ему плюнула въ харю. Кричить: „ты, говоритъ, мнѣ не дочь, а в...докъ“.

— Что вы? испугался Вельчаниновъ.

— Сама слышала. Оно хоть и пьяный человекъ, ровно



какъ въ безчувствіи, да все же при робѣнкѣ не годится: хоть и малолѣтокъ, а все умомъ про себя доидеть! Плачетъ дѣвочка, совѣмъ, вижу, замучилась. А намедни тутъ на дворѣ у насъ грѣхъ вышелъ: комиссаръ, что-ли, люди сказывали, номеръ въ гостиницѣ съ вечера занялъ, къ утру и повѣсился. Сказывали, деньги прогулялъ. Народъ сбѣжался, Павла-то Павловича самого дома нѣтъ, а робѣнокъ безъ призору ходитъ; гляжу и она тамъ въ коридорѣ межъ народомъ, да изъ-за другихъ и выглядываетъ, чудно такъ на висѣльника-то глядитъ. Я ее поскорѣ сюда отвела. Что-жъ ты думаешь,—вся дрожью дрожить, почернѣла вся, и только что привела—она и грохнулась. Билась-билась, насилу очнулась. Родимчикъ, что-ли, а съ того часу и хворать начала. Узналъ онъ, пришелъ—испичалъ ее всю, — потому, онъ не то чтобы драться, а все больше щипится, а потомъ нахлестался винаща-то, пришелъ, да и пугаетъ ее: „я, говоритъ, тоже повѣшусь, отъ тебя повѣшусь; вотъ на этомъ самомъ, говоритъ, шнуркѣ, на шторѣ повѣшусь“; и петлю при ней дѣлаетъ. А та-то себя не помнитъ—кричить, ручонками его обхватила: „не буду, кричить, никогда не буду“. Жалость!

Вельчаниновъ хотя и ожидалъ кой-чего очень страннаго, но эти рассказы его такъ поразили, что онъ даже и не повѣрилъ. Марья Сысоевна много еще рассказывала; былъ, напримѣръ, одинъ случай, что если бы не Марья Сысоевна, то Лиза изъ окна бы, можетъ, выбросилась. Онъ вышелъ изъ номера самъ точно пьяный: „я убью его палкой, какъ собаку, по головѣ!“ мерещилось ему. И онъ долго повторялъ это про себя.

Онъ нанялъ коляску и отправился къ Погорѣльцевымъ. Еще не выѣзжая изъ города, коляска принуждена была остановиться на перекресткѣ, у мостика черезъ канаву, черезъ который пробиралась большая похоронная процессія. И съ той, и съ другой стороны моста стѣснилось нѣсколько поджидавшихъ экипажей; останавливался и народъ. Похороны были богатая и поѣздъ провожавшихъ каретъ былъ очень длиненъ, и вотъ въ окошкѣ одной изъ этихъ провожавшихъ каретъ мелькнуло вдругъ передъ Вельчаниновымъ лицо Павла Павловича. Онъ не повѣрилъ бы, если бы Павелъ Павловичъ не выставился самъ изъ окна и не закивалъ ему, улыбаясь. Повидимому, онъ ужасно былъ радъ, что узналъ Вельчанинова; даже началъ дѣлать изъ кареты ручкой. Вельчаниновъ выскочилъ изъ коляски

и, несмотря на тѣсноту, на городскихъ и на то, что карета Павла Павловича вѣзжала уже на мостъ, подбѣжалъ къ самому окошку. Павелъ Павловичъ сидѣлъ одинъ.

— Что съ вами, закричалъ Вельчаниновъ, — зачѣмъ вы не пришли? Какъ вы здѣсь?

— Долгъ отдаю-сь, не кричите, не кричите, — долгъ отдаю, захихикалъ Павелъ Павловичъ, весело прищуриваясь. — Бренные останки истиннаго друга провожаю, Степана Михайловича.

— Нелѣпость это все, пьяный вы, безумный человѣкъ, еще сильнѣй прокричалъ озадаченный было на мигъ Вельчаниновъ. — Выходите сейчасъ и садитесь со мной; сейчасъ!

— Не могу-сь, долгъ-сь...

— Я васъ вытащу! вопилъ Вельчаниновъ.

— А я закричу-сь! А я закричу-сь! все такъ же весело подхихикивалъ Павелъ Павловичъ, точно съ нимъ играть, прячась, впрочемъ, въ задній уголъ кареты..

— Берегись, берегись, задавятъ! закричалъ городской.

Дѣйствительно, при спускѣ съ моста, чья-то посторонняя карета, прорвавшая поѣздъ, надѣлала тревоги. Вельчаниновъ принужденъ былъ отскочить; другіе экипажи и народъ тотчасъ же отѣснили его далѣе. Онъ плюнулъ и пробрался къ своей коляскѣ.

„Все равно, такого и безъ того нельзя съ собой везти!“ подумалъ онъ съ продолжавшимся тревожнымъ изумленіемъ.

Когда онъ передалъ Клавдіи Петровнѣ рассказъ Марьи Сысоевны и странную встрѣчу на похоронахъ, та сильно задумалась.

— Я за васъ боюсь, сказала она ему, — вы должны прервать съ нимъ всякія отношенія, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше“.

— Шутъ онъ пьяный, и больше ничего! запальчиво вскричалъ Вельчаниновъ, — стану я его бояться! И какъ я прерву отношенія, когда тутъ Лиза. Вспомните про Лизу!

Между тѣмъ Лиза лежала больная; вчера вечеромъ съ нею началась лихорадка, и изъ города ждали одного извѣстнаго доктора, за которымъ чуть свѣтъ послали нарочнаго. Все это окончательно разстроило Вельчанинова. Клавдія Петровна повела его къ больной.

— Я вчера къ ней очень присматривалась, замѣтила она, остановившись передъ комнатою Лизы. — Это гордый

и угрюмый ребенок; ей стыдно, что она у насъ и что отецъ ее такъ бросилъ; вотъ въ чемъ вся болѣзнь, по-моему.

— Какъ бросилъ? Почему вы думаете, что бросилъ?

— Ужъ одно то, какъ онъ отпустилъ ее сюда, совсѣмъ въ незнакомый домъ и съ человѣкомъ... тоже почти незнакомымъ, или въ такихъ отношеніяхъ...

— Да я ее самъ взялъ, силой взялъ; я не нахожу...

— Ахъ, Боже мой, это ужъ Лиза, ребенокъ, находить! По-моему, онъ просто никогда не пріѣдетъ.

Увидѣвъ Вельчанинова одного, Лиза не изумилась: она только скорбно улыбнулась и отвернула свою горѣвшую въ жару головку къ стѣнѣ. Она ничего не отвѣчала на робкія утѣшенія и на горячія обѣщанія Вельчанинова завтра же навѣрно привезти ей отца. Выйдя отъ нея, онъ вдругъ заплакалъ.

Докторъ пріѣхалъ только къ вечеру. Осмотрѣвъ больную, онъ съ перваго слова всѣхъ напугалъ, замѣтивъ, что напрасно его не призвали раньше. Когда ему объявили что больная заболѣла всего только вчера вечеромъ, онъ сначала не повѣрилъ. „Все зависитъ отъ того, какъ пройдетъ эта ночь“, рѣшилъ онъ наконецъ и, сдѣлавъ свои распоряженія, уѣхалъ, обѣщавъ прибыть завтра какъ можно раньше. Вельчаниновъ хотѣлъ было непременно остаться почевать; но Клавдія Петровна сама упросила его еще разъ „попробовать привезти сюда этого изверга“.

— Еще разъ? въ изступленіи переговорилъ Вельчаниновъ,—да я его теперь свяжу и въ своихъ рукахъ привезу!

Мысль связать и привезти Павла Павловича въ рукахъ, овладѣла имъ вдругъ до крайняго нетерпѣнія.— „Ничѣмъ, ничѣмъ не чувствую я теперь себя предъ нимъ виноватымъ!“ говорилъ онъ Клавдіи Петровнѣ, прощаясь съ нею,—„отрекаюсь отъ всѣхъ моихъ вчерашнихъ низкихъ, плаксивыхъ словъ, которыя здѣсь говорилъ“, прибавилъ онъ въ негодованіи.

Лиза лежала съ закрытыми глазами и, повидимому, спала; казалось, ей стало лучше. Когда Вельчаниновъ нагнулся осторожно къ ея головкѣ, чтобы, прощаясь, поцѣловать хоть краешекъ ея платья, она вдругъ открыла глаза, точно поджидала его, и прошептала ему:

— Увезите меня.

Это была тихая, скорбная просьба, безо всякаго оттѣнка вчерашней раздражительности, но вмѣстѣ съ тѣмъ послы-

палось и что-то такое, какъ будто она и сама была вполне увѣрена, что просьбу ея ни за что не исполнять. Чуть только Вельчаниновъ, совсѣмъ въ отчаяніи, сталъ увѣрять ее, что это невозможно, она молча закрыла глаза и ни слова болѣе не проговорила, какъ будто не слышала и не видѣла его.

Въѣхавъ въ городъ, онъ прямо велѣлъ везти себя къ Покрову. Было уже десять часовъ; Павла Павловича въ номерахъ не было. Вельчаниновъ прождалъ его цѣлые полчаса, расхаживая по коридору въ болѣзненномъ нетерпѣніи. Марья Сысоевна увѣрила его, наконецъ, что Павелъ Павловичъ вернется развѣ только къ утру, чѣмъ свѣтъ. „Ну, такъ и я приѣду чѣмъ свѣтъ“, рѣшилъ Вельчаниновъ и внѣ себя отправился домой.

Но каково же было его изумленіе, когда онъ, еще не входя къ себѣ, услышалъ отъ Мавры, что вчерашній гость уже съ десятого часу его ожидаетъ.

И чай изволили у насъ кушать, и за виномъ опять посылали, за тѣмъ самымъ, синюю бумажку выдали.

## IX.

### Привидѣніе.

Павелъ Павловичъ расположился чрезвычайно комфортно. Онъ сидѣлъ на вчерашнемъ стулѣ, курилъ папироски и только что налилъ себѣ четвертый, послѣдній стаканъ изъ бутылки. Чайникъ и стаканъ съ недопитымъ чаемъ стояли тутъ же подлѣ него на столѣ. Раскраснѣвшееся лицо его сіяло благодушіемъ. Онъ даже снялъ съ себя фракъ, полѣтнему, и сидѣлъ въ одномъ жилетѣ.

— Извините, вѣрнѣйшій другъ! вскричалъ онъ, за видѣвъ Вельчанинова и схватываясь съ мѣста, чтобъ надѣть фракъ,—снялъ для пушгаго наслажденія минутой...

Вельчаниновъ грозно къ нему приблизился.

— Вы не совершенно еще пьяны? Можно еще съ вами поговорить?

Павелъ Павловичъ нѣсколько оторопѣлъ.

— Нѣтъ, не совершенно... Помянулъ усопшаго, но—не совершенно-съ...

— Поймете вы меня?

— Съ тѣмъ и явился, чтобы васъ понимать-съ.

— Ну, такъ я же вамъ прямо начинаю съ того, что вы — негодяй! закричалъ Вельчаниновъ сорвавшимся голосомъ.

— Если съ этого начинаете-сь, то чѣмъ кончите-сь? чуть-чуть протестоваль было Павелъ Павловичъ, видимо сильно струсившій, но Вельчаниновъ кричалъ, не слушая:

— Ваша дочь умираетъ, она больна; бросили вы ее или нѣтъ?

— Неужто ужъ умираетъ-сь?

— Она больна, больна, чрезвычайно опасно больна!

— Можетъ, припадочки-сь...

— Не говорите вздору! Она чрез-вы-чай-но опасно больна! Вамъ слѣдовало ѣхать ужъ изъ того одного...

— Чтобъ возблагодарить-сь, за гостепріимство возблагодарить! Слишкомъ понимаю-сь! Алексѣй Ивановичъ, дорогой, совершенный, ухватилъ онъ его вдругъ за руку обѣими своими руками, и съ пьянымъ чувствомъ, чуть не со слезами, какъ бы испрашивая прощенія, выкрикивалъ:— Алексѣй Ивановичъ, не кричите, не кричите! Умри я, провались я сейчасъ пьяный въ Неву,—что-жъ изъ того-сь, при настоящемъ значеніи дѣль-сь? А къ господину Погорѣльцеву и всегда поспѣемъ-сь...

Вельчаниновъ спохватился и капельку сдержалъ себя.

— Вы пьяны, а потому я не понимаю, въ какомъ смыслѣ вы говорите, замѣтилъ онъ строго,—я объяснись всегда съ вами готовъ, даже радъ поскорѣй... Я и ѣхаль... Но прежде всего знайте, что я принимаю мѣры: вы сегодня должны у меня ночевать! Завтра утромъ я васъ беру и мы ѣдемъ. Я васъ не выпущу! завопилъ онъ опять.—Я васъ скручу и въ рукахъ привезу!.. Удобенъ вамъ этотъ диванъ? указалъ онъ ему, задыхаясь, на широкій и мягкій диванъ, стоявшій напротивъ того дивана, на которомъ спалъ онъ самъ, у другой стѣны.

— Помилуйте, да я вездѣ-сь...

— Не вездѣ, а на этомъ диванѣ! Берите, вотъ вамъ простыня, одѣяло, подушка (все это Вельчаниновъ вытащилъ изъ шкафа и торопясь выбрасывалъ Павлу Павловичу, покорно подставившему руку),—стелите сейчасъ, сте-ли-те же!

Навьюченный Павелъ Павловичъ стоялъ среди комнаты какъ бы въ нерѣшимости, съ длинной, пьяной улыбкой на пьяномъ лицѣ; но при вторичномъ грозномъ окрикѣ Вельчанинова вдругъ, со всѣхъ ногъ, бросился хлопотать: отставилъ столъ и пыхтя сталъ расправлять и настилать простыню. Вельчаниновъ подошелъ ему помочь; онъ былъ отчасти доволенъ покорностію и испугомъ своего гостя.

— Допивайте вашъ стаканъ и ложитесь, скомандоваль онъ опять; онъ чувствовалъ, что не могъ не командовать.— Это вы сами за виномъ распорядились послать?

— Самъ-съ, за виномъ... Я, Алексѣй Ивановичъ, зналъ, что вы уже болѣе не пошлете-съ.

— Это хорошо, что вы знали, но нужно, чтобъ вы еще больше узнали. Объявляю вамъ еще разъ, что я теперь принялъ мѣры: кривляній вашихъ больше не потерплю, пьяныхъ вчерашнихъ поцѣлуевъ не потерплю!

— Я вѣдь и самъ, Алексѣй Ивановичъ, понимаю, что это всего одинъ только разъ было возможно-съ, ухмыльнулся Павелъ Павловичъ.

Услышавъ отвѣтъ, Вельчаниновъ, шагавшій по комнатѣ, почти торжественно остановился вдругъ передъ Павломъ Павловичемъ.

— Павелъ Павловичъ, говорите прямо! Вы умны, я опять сознаюсь въ этомъ, но увѣряю васъ, что вы на ложной дорогѣ! Говорите прямо, дѣйствуйте прямо и, честное слово даю вамъ, я отвѣчу на все, что угодно.

Павелъ Павловичъ ухмыльнулся снова своей длинной улыбкой, которая одна ужъ такъ бѣсила Вельчанинова.

— Стойте! закричалъ тотъ опять.— Не прикидывайтесь, я насквозь васъ вижу! Повторяю: даю вамъ честное слово, что я готовъ вамъ отвѣтить на *все*, и вы получите всякое возможное удовлетвореніе, то-есть всякое, даже и невозможное! О, какъ бы я желалъ, чтобъ вы меня поняли!..

— Если ужъ вы такъ добры-съ, осторожно придвинулся къ нему Павелъ Павловичъ, — то вотъ-съ, очень меня заинтересовало то, что вы вчера упомянули про хищный типъ-съ!..

Вельчаниновъ плюнулъ и пустился опять, еще скорѣе, шагать по комнатѣ.

— Нѣтъ-съ, Алексѣй Ивановичъ, вы не плюйтесь, потому что я очень заинтересованъ и именно пришелъ провѣрить-съ... У меня языкъ плохо вяжется, но вы простите-съ. Я вѣдь о „хищномъ“ этомъ типѣ, и о „смирномъ-съ“, самъ въ журналѣ читалъ, въ отдѣленіи критики-съ, припомнилъ сегодня по-утру... только забль-съ, а по правдѣ, тогда и не понялъ-съ. Я вотъ именно желалъ разъяснить: Степанъ Михайловичъ Багаутовъ, покойникъ-съ,—что онъ „хищный“ былъ или „смирный-съ“? Какъ причислить-съ?

Вельчаниновъ все еще молчалъ, не переставая шагать.

— Хищный типъ это тотъ, остановился онъ вдругъ въ ярости,—это тотъ человѣкъ, который скорѣй бы отравилъ въ стаканѣ Багаутова, когда сталъ бы съ нимъ „шампанское пить“ но имя пріятной съ нимъ встрѣчи, какъ вы со мной вчера пили, а не поѣхалъ бы его гробъ на кладбище провожать, какъ вы давеча поѣхали, чортъ знаетъ изъ какихъ вашихъ сокрытыхъ, подпольныхъ, гадкихъ стремленій и марающихъ васъ самихъ кривляній! Васъ самихъ!

— Это точно, что не поѣхалъ бы-съ, подтвердилъ Павелъ Павловичъ, — только какъ ужъ вы однако на меня-то-съ...

— Это не тотъ человѣкъ, горячился и кричалъ Вельчаниновъ, не слушая,—не тотъ, который напредставить самъ себѣ Богъ знаетъ чего, итоги справедливости и юстиціи подведетъ, обиду свою какъ урокъ заучить, ноетъ, кривляется, ломается, на шеѣ у людей виснетъ—и глядь—на то все и время свое употребилъ! Правда, что вы хотѣли повѣситься? Правда?

— Въ хмелю, можетъ, сбредилъ что,—не помню-съ. Намъ, Алексѣй Ивановичъ, какъ-то и неприлично ужъ ядь-то подсыпать. Кромѣ того, что чиновникъ на хорошемъ счету, у меня и капиталъ вѣдь найдется-съ, а, можетъ, къ тому жениться опять захочу-съ.

— Да и въ каторгу сошлютъ.

— Ну, да-съ, и эта вотъ непріятность тоже-съ, хотя нынче, въ судахъ, много облегчающихъ обстоятельствъ подводятъ. А я вамъ, Алексѣй Ивановичъ, одинъ анекдотикъ преуморительный, давеча въ каретѣ вспомнилъ-съ, хотѣлъ сообщить-съ. Вотъ вы сказали сейчасъ: „У людей на шеѣ виснетъ“. Семена Петровича Ливцова, можетъ, припомните-съ, къ намъ въ Т. при васъ заѣзжалъ; ну, такъ братъ его младшій, тоже петербургскій молодой человѣкъ считается, въ В—омъ при губернаторѣ служилъ и тоже блисталъ-съ разными качествами-съ. Пospорилъ онъ разъ съ Голубенко, полковникомъ, въ собраніи, въ присутствіи дамъ и дамы своего сердца, и счелъ себя оскорбленнымъ, но обиду скушалъ и затаилъ; а Голубенко тѣмъ временемъ даму сердца его отбилъ и руку ей предложилъ. Что-жъ вы думаете? Этотъ Ливцовъ—даже искренно вѣдь въ дружбу съ Голубенкой вошелъ, совсѣмъ помирился, да мало того-съ—въ шафера къ нему самъ на-

просился, вѣнецъ держаль, а какъ прѣхали изъ-подъ вѣнца, онъ подошелъ поздравлять и цѣловать Голубенку, да при всемъ-то благородномъ обществѣ и при губернаторѣ, самъ во фракѣ и завитой-сѣ, какъ пырнетъ его въ животъ ножомъ—такъ Голубенко и покатился! Это собственный-то шаферъ, стыдъ-то какой-сѣ! Да это еще что-сѣ! Главное, что ножомъ-то пырнулъ, да и бросился кругомъ: „Ахъ, что я сдѣлалъ! Ахъ, что такое я сдѣлалъ!“ слезы льются, трясется, всѣмъ на шею кидается, даже къ дамамъ-сѣ: „Ахъ, что я сдѣлалъ! Ахъ, что, дескать, такое я теперь сдѣлалъ!“ Хе-хе-хе! Уморилъ-сѣ. Вотъ только развѣ жаль Голубенку; да и то выздоровѣлъ-сѣ.

— Я не вижу, для чего вы мнѣ рассказали, строго нахмурился Вельчаниновъ.

— Да все къ тому же-сѣ, что пырнулъ же вѣдь ножомъ-сѣ, захихикалъ Павелъ Павловичъ,—вѣдь ужъ видно, что не типъ-сѣ, а сопля человѣкъ, когда ужъ самое приличіе отъ страху забылъ и къ дамамъ на шею кидается въ присутствіи губернатора-сѣ,—а вѣдь пырнулъ же-сѣ, достигъ своего! Вотъ я только про это-сѣ.

— Убир-райтесь вы къ чорту! завопилъ вдругъ не своимъ голосомъ Вельчаниновъ, точно какъ бы что сорвалось въ немъ.—Убир-райтесь съ вашею подпольною дрянью, самъ вы подпольная дрянь,—пугать меня вздумалъ,—мучитель ребенка, низкій человѣкъ; подлець, подлець, подлець! выкрикивалъ онъ, себя не помня и задыхаясь на каждомъ словѣ.

Павла Павловича всего передернуло, даже хмель соскочилъ; губы его задрожали.

— Это меня-то вы, Алексѣй Ивановичъ, подлецомъ называете, *вы-сѣ* и *меня-сѣ*?

Но Вельчаниновъ уже очнулся.

— Я готовъ извиниться, отвѣтилъ онъ, помолчавъ и въ мрачномъ раздумьи,—по въ такомъ только случаѣ, если вы сами и сейчасъ же захотите дѣйствовать прямо.

— А я бы и во всякомъ случаѣ извинился на вашемъ мѣстѣ, Алексѣй Ивановичъ.

— Хорошо, пусть такъ, помолчалъ еще немного Вельчаниновъ,—извиняюсь передъ вами; но, согласитесь сами, Павелъ Павловичъ, что, послѣ всего этого, я уже ничѣмъ болѣе не считаю себя передъ вами обязаннымъ, то-есть я въ отношеніи *всего* дѣла говорю, а не про одинъ теперешній случай.



— Ничего-съ, что считается! ухмыльнулся Павелъ Павловичъ, смотря, впрочемъ, въ землю.

— А если такъ, то тѣмъ лучше, тѣмъ лучше! Допивайте ваше вино и ложитесь, потому что я все-таки васъ не пушу...

— Да что-жъ вино-съ... немного какъ бы смутился Павелъ Павловичъ, однако подошелъ къ столу и сталъ допивать свой давно уже налитый послѣдній стаканъ.

Можетъ, онъ уже и много пилъ передъ этимъ, такъ что рука его дрожала и онъ расплескалъ часть вина на полъ, на рубашку и на жилетъ, но все-таки допилъ до дна, точно какъ будто и не могъ оставить невыпитымъ, и, почтительно поставивъ опорожненный стаканъ на столъ, покорно пошелъ къ своей постели раздѣваться.

— А не лучше-ли... не ночевать? проговорилъ онъ вдругъ съ чего-то, уже снявъ одинъ сапогъ и держа его въ рукахъ.

— Нѣтъ, не лучше! гнѣвливо отвѣтилъ Вельчаниновъ, неустанно шагавшій по комнатѣ, не взглядывая на него.

Тотъ раздѣлся и легъ. Черезъ четверть часа улегся и Вельчаниновъ и потушилъ свѣчу.

Онъ засыпалъ безпокойно. Что-то новое, еще болѣе спутавшее *дѣло*, вдругъ откуда-то появившееся, тревожило его теперь, и онъ чувствовалъ въ то же время, что ему почему-то стыдно было этой тревоги. Онъ уже сталъ было забываться, но какой-то шорохъ вдругъ его разбудилъ. Онъ тотчасъ же оглянулся на постель Павла Павловича. Въ комнатѣ было темно (гардины были совсѣмъ спущены), но ему показалось, что Павелъ Павловичъ не лежитъ, а привсталъ и сидитъ на постели.

— Чего вы! окликнулъ Вельчаниновъ.

— Тѣнь-съ, ожидавъ немного, чуть слышно выговорилъ Павелъ Павловичъ.

— Что такое, какая тѣнь?

— Тамъ, въ той комнатѣ, въ дверь, какъ бы тѣнь видѣлъ-съ.

— Чью тѣнь? спросилъ, помолчавъ немного, Вельчаниновъ.

— Натальи Васильевны-съ.

Вельчаниновъ привсталъ на коверъ и самъ заглянулъ черезъ переднюю, въ ту комнату, двери въ которую всегда стояли отперты. Тамъ на окнахъ гардинъ не было, а были только шторы и потому было гораздо свѣтлѣе.

— Въ той комнатѣ нѣтъ ничего, а вы пьяны, ложитесь! сказалъ Вельчаниновъ, легъ и завернулся въ одѣяло.

Павель Павловичъ не сказалъ ни слова и улегся тоже.

— А прежде вы никогда не видали тѣни? спросилъ вдругъ Вельчаниновъ, минутъ ужъ десять спустя.

— Однажды какъ бы и видѣлъ-съ, слабо и тоже помедливъ, откликнулся Павель Павловичъ.

Затѣмъ опять наступило молчаніе.

Вельчаниновъ не могъ бы сказать навѣрно, спалъ-ли онъ или нѣтъ, но прошло уже съ часъ — и вдругъ онъ опять обернулся: шорохъ-ли какой его-опять разбудилъ — онъ тоже не зналъ, но ему показалось, что среди совершенной темноты что-то стояло надъ нимъ, бѣлое, еще не доходя до него, но уже посрединѣ комнаты. Онъ присѣлъ на постели и цѣлую минуту всматривался.

— Это вы, Павель Павловичъ? проговорилъ онъ ослабѣвшимъ голосомъ.

Этотъ собственный голосъ его, раздавшійся вдругъ въ тишинѣ и въ темнотѣ, показался ему какъ-то страннымъ.

Отвѣта не послѣдовало, но въ томъ, что стоялъ кто-то, уже не было никакого сомнѣнія.

— Это вы... Павель Павловичъ? повторилъ онъ громче и даже такъ громко, что если-бъ Павель Павловичъ спокойно спалъ на своей постели, то непременно бы проснулся и далъ отвѣтъ.

Но отвѣта опять не послѣдовало, зато показалось ему, что эта бѣлая и чуть различаемая фигура еще ближе къ нему придвинулась. Затѣмъ произошло нѣчто странное: что-то вдругъ въ немъ какъ бы сорвалось, точь-въ-точь какъ давеча, и онъ закричалъ изъ всѣхъ силъ, самымъ нелѣпымъ, бѣшенымъ голосомъ, задыхаясь чуть не на каждомъ словѣ:

— Если вы... пьяный шутъ... осмѣлитесь только подумать... что вы можете... меня испугать, то я обернусь къ стѣнѣ, завернусь съ головой и ни разу ни обернусь во всю ночь... чтобы тебѣ доказать, во что я цѣню... хоть бы вы простояли до утра... шутомъ... и на васъ плюю!..

И онъ, яростно плюнувъ въ сторону предполагаемаго Павла Павловича, вдругъ обернулся къ стѣнѣ, завернулся, какъ сказалъ, въ одѣяло и какъ бы замеръ въ этомъ положеніи, не шевелясь. Настала мертвая тишина. Придвигалась-ли тѣнь или стояла на мѣстѣ — онъ не могъ узнать, но сердце его билось, билось, билось. Прошло, по крайней

мѣрѣ, полныхъ минутъ пять, и вдругъ, въ двухъ шагахъ отъ него, раздался слабый, совсѣмъ жалобный голосъ Павла Павловича.

— Я, Алексѣй Ивановичъ, всталъ поискать... (и онъ назвалъ одинъ необходимѣйшій домашній предметъ) — я тамъ не нашель у себя - съ... хотѣлъ потихоньку подлѣ васъ посмотрѣть-съ, у постели-съ.

— Что же вы молчали... когда я кричалъ! прерывающимся голосомъ спросилъ Вельчаниновъ, переждавъ съ полминуты.

— Испугался - съ. Вы такъ закричали... я и испугался-съ.

— Тамъ, въ углу налѣво, къ дверямъ, въ шкапикъ, зажгите свѣчу...

— Да я и безъ свѣчки-съ... смиренно промолвилъ Павелъ Павловичъ, направляясь въ уголъ. — Вы ужъ простите, Алексѣй Ивановичъ, что васъ такъ потревожилъ-съ... совсѣмъ вдругъ такъ охмелѣлъ-съ...

Но тотъ уже ничего не отвѣчалъ. Онъ все продолжалъ лежать лицомъ къ стѣнѣ и пролежалъ такъ всю ночь, ни разу не обернувшись. Ужъ хотѣлось - ли ему такъ исполнить слово и показать презрѣнiе, — онъ самъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается; нервное разстройство его перешло, наконецъ, почти въ бредъ, и онъ долго не засыпалъ. Проснувшись на другое утро, въ десятомъ часу, онъ вдругъ вскочилъ и присѣлъ на постели, точно его подтолкнули, — но Павла Павловича уже не было въ комнатѣ, — оставалась одна только пустая, необуваная постель, а самъ онъ улизнулъ чѣмъ свѣтъ.

— Я такъ и зналъ! хлопнулъ себя Вельчаниновъ ладонью по лбу.

## X.

### На кладбищѣ.

Опасенiя доктора оправдались и Лизѣ вдругъ сдѣлалось хуже, — такъ худо, какъ и не воображали наканунѣ Вельчаниновъ и Клавдiя Петровна. Вельчаниновъ поутру засталъ больную еще въ памяти, хотя она вся горѣла въ жару; онъ увѣрялъ потомъ, что она ему улыбнулась и даже протянула ему свою горячую ручку. Правда-ли это было, или только онъ самъ выдумалъ себѣ это невольное, въ утѣшенiе, — провѣрить ему было некогда; къ ночи больная была уже безъ памяти, и такъ продолжалось во все

время болѣзни. На десятый день своего переѣзда на дачу она умерла.

Это было скорбное время для Вельчанинова; Погорѣльцевы даже боялись за него. Большую часть этихъ тяжелыхъ дней онъ прожилъ у нихъ. Въ самые послѣдніе дни болѣзни Лизы онъ по цѣлымъ часамъ просиживалъ одинъ, гдѣ-нибудь въ углу, и, повидимому, ни о чемъ не думалъ; Клавдія Петровна подходила его развлекать, но онъ отвѣчалъ мало, иногда видимо тяготясь съ нею разговаривать. Клавдія Петровна даже не ожидала, что на него „все это произведетъ такое впечатлѣніе“. Всего больше развлекали его дѣти; онъ съ ними даже иногда смѣялся; но каждый почти часъ вставалъ со стула и на цыпочкахъ шелъ взглянуть на больную. Иногда ему казалось, что она его узнаетъ. Надежды на выздоровленіе онъ не имѣлъ никакой, какъ и всѣ, но отъ комнаты, въ которой умерла Лиза, не отходилъ и обыкновенно сидѣлъ въ комнатѣ рядомъ.

Раза два, впрочемъ, и въ эти дни онъ вдругъ обнаруживалъ чрезвычайную дѣятельность: вдругъ подымался, бросался въ Петербургъ къ докторамъ, приглашалъ самыхъ извѣстнѣйшихъ и составлялъ консилиумы. Второй, послѣдній, консилиумъ былъ наканунѣ смерти больной. Два за три до этого Клавдія Петровна заговорила съ Вельчаниновымъ настойчиво о необходимости отыскать гдѣ-нибудь, наконецъ, господина Трусоцкаго: „въ случаѣ несчастія Лизу и похоронить безъ него нельзя было“. Вельчаниновъ промямлилъ, что онъ ему напишетъ. Тогда старикъ Погорѣльцевъ объявилъ, что онъ самъ разыщетъ его черезъ полицію. Вельчаниновъ написалъ, наконецъ, уведомленіе въ двухъ строчкахъ и отвезъ его въ Покровскую гостиницу. Павла Павловича, по обыкновенію, не было дома, и онъ вручилъ письмо для передачи Марьѣ Сысоевнѣ.

Наконецъ, умерла Лиза, въ прекрасный лѣтній вечеръ, вмѣстѣ съ закатомъ солнца, и тутъ только какъ бы очнулся Вельчаниновъ. Когда мертвую убрали, нарядивъ ее въ праздничное бѣлое платье одной изъ дочерей Клавдіи Петровны, и положили въ залѣ на столѣ съ цвѣтами въ сложенныхъ ручкахъ,—онъ подошелъ къ Клавдіи Петровнѣ и, сверкая глазами, объявилъ ей, что онъ сейчасъ же привезетъ и „убійцу“. Не слушая совѣтовъ повременить до завтра, онъ немедленно отправился въ городъ.

Онъ зналъ, гдѣ застать Павла Павловича; не за одними

докторами отправлялся онъ въ Петербургъ. Иногда въ эти дни ему казалось, что привези онъ къ умиравшей Лизѣ отца—и она, услыхавъ его голосъ, очнется; тогда онъ, какъ отчаянный, пускался его разыскивать. Павелъ Павловичъ квартировалъ, попрежнему, въ номерахъ, но въ номерахъ и спрашивать было нечего: „по три дня не почуветь и не приходять“, рапортовала Марья Сысоевна,— „а придетъ невзначай пьяный, часу не пробудеть и опять потащится; совсѣмъ растрепался“. Половой Покровской гостиницы сообщилъ Вельчанинову, между прочимъ, что Павелъ Павловичъ, еще прежде, посѣщаль какихъ-то дѣвицъ на Вознесенскомъ проспектѣ. Вельчаниновъ немедленно разыскалъ дѣвицъ. Задаренныя и угощенныя особы припомнили тотчасъ своего гостя, главное, по его шляпѣ съ крепомъ, при чемъ тутъ же его обругали, конечно, за то, что онъ къ нимъ больше не ходилъ. Одна изъ нихъ, Катя, взялась „во всякое время Павла Павловича разыскать, потому что онъ отъ Машки Простаковой теперь не выходитъ, а денегъ у него и дна нѣтъ, а Машка эта— не Простакова, а Прохвостова, и въ больницѣ лежала, и захоти она только, такъ сейчасъ же ее въ Сибирь упрячетъ, всего одно слово скажетъ“. Катя однакоже не разыскала въ тотъ разъ, но зато крѣпко общалась въ другой. Вотъ на ея-то содѣйствіе и надѣялся теперь Вельчаниновъ.

Прибывъ въ городъ уже въ десять часовъ, онъ немедленно ее вытребовалъ, заплативъ кому слѣдовало за ея отсутствіе, и отправился съ нею на поиски. Онъ еще и самъ не зналъ, что собственно онъ теперь сдѣлаетъ съ Павломъ Павловичемъ: убьеть-ли его за что-то, или просто ищетъ его, чтобы сообщить о смерти дочери и о необходимости его содѣйствія при погребеніи? На первый разъ вышла неудача: оказалось, что Машка Прохвостова разодралась съ Павломъ Павловичемъ еще третьяго дня, и что какой-то казначей „Павлу Павловичу голову скамейкой прошибъ“. Однимъ словомъ, долго онъ не отыскивался, и, наконецъ, ужъ только въ два часа пополудни Вельчаниновъ, при выходѣ изъ одного указаннаго ему заведенія, вдругъ и неожиданно самъ на него натолкнулся.

Павла Павловича подводили къ этому заведенію двѣ дамы совершенно пьянаго; одна изъ дамъ придерживала его подъ руку, а сзади сопутствовалъ имъ одинъ рослый

и размашистый претендентъ, кричавшій во все горло и страшно грозившій Павлу Павловичу какими-то ужасами. Онъ кричалъ, между прочимъ, что тотъ его „эксплоатировалъ и отравилъ ему жизнь“. Дѣло, кажется, шло о какихъ-то деньгахъ; дамы очень трусили и спѣшили. Завидѣвъ Вельчанинова, Павелъ Павловичъ кинулся къ нему съ распростертыми руками и закричалъ, точно его рѣзали:

— Братецъ родной, защити!

При видѣ атлетической фигуры Вельчанинова, претендентъ мигомъ стушевался; торжествующій Павелъ Павловичъ простеръ ему вслѣдъ свой кулакъ и завопилъ въ знакъ побѣды; тутъ Вельчаниновъ яростно схватилъ его за плечи и, самъ не зная для чего, сталъ трясти обѣими руками, такъ что у того зубы застучали. Павелъ Павловичъ тотчасъ же пересталъ кричать и съ тупоумнымъ пьянымъ испугомъ смотрѣлъ на своего истязателя. Вѣроятно, не зная, что съ нимъ дѣлать далѣе, Вельчаниновъ крѣпко нагнулъ его и посадилъ на тротуарную тумбу.

— Лиза умерла! проговорилъ онъ ему.

Павелъ Павловичъ, все еще не спуская съ него глазъ, сидѣлъ на тумбѣ, поддерживаемый одною изъ дамъ. Онъ понялъ, наконецъ, и лицо его какъ-то вдругъ осунулось.

— Умерла... какъ-то странно прошепталъ онъ. Усмѣхнулся-ли онъ съ-пьяна своею скверною длинною улыбкой, или у него скривилось что-то въ лицѣ, — Вельчаниновъ не могъ разобрать, но мгновеніе спустя, Павелъ Павловичъ поднялъ съ усиліемъ свою дрожавшую правую руку, чтобъ перекреститься; крестъ, однакожъ, не сложился, и дрожавшая рука опустилась. Немного погодя онъ медленно привсталъ съ тумбы, схватился за свою даму и, опираясь на нее, пошелъ своей дорогою далѣе, какъ бы въ забытїи, — точно и не было тутъ Вельчанинова. Но тотъ ухватилъ его опять за плечо.

— Понимаешь-ли ты, пьяный извергъ, что безъ тебя ее и похоронить нельзя будетъ! прокричалъ онъ, задыхаясь.

Тотъ повернулъ къ нему голову.

— Артиллерїи... прапорщика... помните? проямлилъ онъ тупо ворочавшимся языкомъ.

— Что-о-о? завопилъ Вельчаниновъ, болѣзненно вздрогнувъ.

— Вотъ тебѣ и отецъ! Ищи его... хоронить...

— Лжешь! закричалъ Вельчаниновъ, какъ потерянный, —

ты со злости... я такъ и зналъ, что ты это мнѣ пригото-  
вишь!

Не помня себя, онъ занесъ свой страшный кулакъ надъ головою Павла Павловича. Еще мгновение—и онъ, можетъ-быть, убилъ бы его однимъ ударомъ; дамы взвизгнули и отлетѣли прочь, но Павелъ Павловичъ не смигнулъ даже глазомъ. Какое-то изступленіе самой звѣрской злобы исказило ему все лицо.

— А знаешь ты, произнесъ онъ гораздо тверже, почти какъ не пьяный, нашу русскую?.. (И онъ проговорилъ самое невозможное въ печати ругательство).—Ну, такъ и убирайся къ ней!

Затѣмъ съ силою рванулся изъ рукъ Вельчанинова, осту-  
пился и чуть не упалъ. Дамы подхватили его и въ этотъ разъ уже побѣжали, визжа и почти волоча Павла Павло-  
вича за собою. Вельчаниновъ не преслѣдовалъ.

На завтра, въ часъ пополудни, на дачу Погорѣльцевыхъ явился одинъ весьма приличный чиновникъ, сред-  
нихъ лѣтъ, въ вицмундирѣ, и вѣжливо вручилъ Клавдіи Петровнѣ адресованный на ея имя пакетъ, отъ имени Павла Павловича Трусоцкаго. Въ пакетѣ заключалось письмо со вложеніемъ трехсотъ рублей и съ необходимыми свидѣтельствами о Лизѣ. Павелъ Павловичъ писалъ коротко, чрезвычайно почтительно и весьма прилично. Онъ весьма благодарилъ ея превосходительство Клавдію Петровну за ея добродѣтельное участіе къ сироткѣ, за которое можетъ ей воздать только одинъ Богъ. Неясно упо-  
миналъ, что крайнее нездоровье не позволить ему явиться лично похоронить нѣжно имъ любимую и несчастную дочь, и возлагалъ въ этомъ всѣ надежды на ангельскую доброту души ея превосходительства. Триста же рублей назначались, какъ разъяснилъ онъ далѣе въ письмѣ,—на похороны и вообще на расходы, причиненные болѣзнию. Если же бы и осталось что изъ этой суммы, то покорнѣйше и почтительнѣйше просить употребить ихъ на вѣчное поминовение за упокой души усопшей Лизы. Чи-  
новникъ, доставившій письмо, не могъ ничего болѣе объяснить; даже оказалось изъ нѣкоторыхъ его словъ, что онъ только по усиленной просьбѣ Павла Павловича взялся доставить лично пакетъ ея превосходительству. Погорѣльцевъ почти обидѣлся выраженіемъ „о расходахъ, причи-  
ненныхъ болѣзнию“ и опредѣлилъ, оставивъ пятьдесятъ рублей на погребеніе,—такъ какъ нельзя же было воспре-

тить отцу хоронить свое дитя,—остальные двѣсти пятьдесятъ рублей возвратить немедленно господину Трусоцкому. Клавдія Петровна рѣшила окончательно возвратить не двѣсти пятьдесятъ рублей, а расписку изъ кладбищенской церкви въ полученіи этихъ денегъ на вѣчное поминовеніе души усопшей отроковицы Елизаветы. Расписка была выдана потомъ Вельчанинову для врученія немедленно; онъ отослалъ ее по почтѣ въ номеръ.

Послѣ похоронъ онъ исчезъ съ дачи. Цѣлыя двѣ недѣли слонялся онъ по городу, безо всякой цѣли, одинъ, и натыкался на людей въ задумчивости. Иногда же по цѣлымъ днямъ лежалъ, протянувшись у себя на диванѣ, забывая о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ. Погорѣльцевы много разъ присылали звать его къ себѣ; онъ общалъ и тотчасъ же забывалъ. Клавдія Петровна даже пріѣзжала къ нему сама, но не застала его дома. То же случилось и съ его адвокатомъ; а между тѣмъ адвокату было что сообщить: тяжebное дѣло было имъ весьма ловко улажено, и противники соглашались на мировую съ вознагражденіемъ весьма незначительной долею оспариваемаго ими наслѣдства. Оставалось получить только согласіе самого Вельчанинова. Заставъ его, наконецъ, у себя, адвокатъ былъ удивленъ чрезвычайноя вялостью и равнодушіемъ, съ которыми онъ, еще недавно такой безпокойный кліентъ, его выслушалъ.

Настали самые жаркіе іюльскіе дни, но Вельчаниновъ забывалъ самое время. Его горе наболѣло въ его душѣ, какъ созрѣвшій нарывъ, и выяснялось ему поминутно въ мучительно-сознательной мысли. Главное страданіе его состояло въ томъ, что Лиза не успѣла узнать его и умерла, не зная, какъ онъ мучительно любилъ ее! Вся цѣль его жизни, мелькнувшая передъ нимъ въ такомъ радостномъ свѣтѣ, вдругъ померкла въ вѣчной тьмѣ. Эта цѣль состояла бы именно въ томъ,—поминутно думать онъ объ этомъ теперь,—чтобы Лиза каждый день, каждый часъ и всю жизнь непрерывно ощущала его любовь на себѣ. „Выше нѣтъ никакой цѣли ни у кого изъ людей и не можетъ быть!“ задумывался онъ иногда въ мрачномъ восторгѣ.—„Если и есть другія цѣли, то ни одна изъ нихъ не можетъ быть святѣе этой!“ Любовью Лизы,—мечталъ онъ,—очистилась и искупилась бы вся моя прежняя смрад-ная и бесполезная жизнь; взамѣнъ меня, празднаго, порочнаго и отжившаго, я взлелѣялъ бы для жизни чистое



и прекрасное существо, и за это существо все было бы мнѣ прощено, и все бы я самъ простилъ себѣ.

Всѣ эти *сознательныя* мысли представлялись ему всегда нераздѣльно, съ яркимъ, всегда близкимъ и всегда поражающимъ его душу воспоминаніемъ объ умершемъ ребенкѣ. Онъ воссоздавалъ себѣ ея блѣдное личико, припоминалъ каждое выраженіе его: онъ вспоминалъ ее и въ гробу, въ двѣтахъ, и прежде безчувственную въ жару, съ открытыми и неподвижными глазами. Онъ вспоминалъ вдругъ, что когда она лежала уже на столѣ, онъ замѣтилъ у ней одинъ, Богъ знаетъ отчего, почернѣвшій въ болѣзни пальчикъ; это такъ его поразило тогда, и такъ жалко ему стало этотъ бѣдный пальчикъ, что тутъ и вошло ему тогда въ голову, въ первый разъ, отыскать сейчасъ же и убить Павла Павловича, до того же времени онъ „былъ какъ безчувственный“. Гордость-ли оскорбленная замучила это дѣтское сердечко, три-ли мѣсяца страданій отъ отца, перемѣнившего вдругъ любовь на ненависть и оскорбившаго ее позорнымъ словомъ, смѣявшагося надъ ея испугомъ и выбросившаго ее, наконецъ, къ чужимъ людямъ? Все это онъ представлялъ себѣ непрерывно и варьировалъ на тысячу ладовъ. „Знаете-ли что такое была для меня Лиза?“ припомнилъ онъ вдругъ восклицаніе пьянаго Трусоцкаго и чувствовалъ, что это восклицаніе было уже не кривлянье, а правда, и что тутъ была любовь. „Какъ же могъ быть такъ жестокъ этотъ извергъ къ ребенку, котораго такъ любилъ, и вѣроятно-ли это?“ Но каждый разъ онъ поскорѣе бросалъ этотъ вопросъ и какъ бы отмахивался отъ него; что-то ужасное было въ этомъ вопросѣ, что-то невыносимое для него и нерѣшенное.

Въ одинъ день, и почти самъ не помня какъ, онъ забрелъ на кладбище, на которомъ похоронили Лизу, и отыскалъ ея могилку. Ни разу съ самыхъ похоронъ онъ не былъ на кладбищѣ; ему все казалось, что будетъ уже слишкомъ много мѹки, и онъ не смѣлъ пойти. Но странно, когда онъ приникъ на ея могилку и поцѣловалъ ее, ему вдругъ стало легче. Былъ ясный вечеръ, солнце закатывалось; кругомъ, около могилъ, росла сочная, зеленая трава; недалеко въ шиповникѣ жужжала пчела; цвѣты и вѣнки, оставленные на могилкѣ Лизы послѣ погребенія дѣтми и Клавдией Петровной, лежали тутъ же, съ облетѣвшими наполовину листочками. Какал-то даже надежда въ первый разъ послѣ долгаго времени освѣжила ему сердце.

„Какъ легко!“ подумалъ онъ, чувствуя эту тишину кладбища и глядя на ясное, спокойное небо.

Приливъ какой-то чистой, безмятежной вѣры во что-то наполнилъ ему душу.

„Это Лиза послала мнѣ, это она говорить со мной“, подумалось ему.

Совсѣмъ уже смеркалось, когда онъ пошелъ съ кладбища обратно домой. Не такъ далеко отъ кладбищенскихъ воротъ, по дорогѣ, въ низенькомъ деревянномъ домикѣ, помѣщалось что-то въ родѣ харчевни или распивочной; въ отворенныхъ окнахъ виднѣлись посѣтители, сидѣвшіе за столами. Ему вдругъ показалось, что одинъ изъ нихъ, помѣщавшійся у самаго окна,—Павель Павловичъ, и что онъ тоже видитъ его и любопытно его высматриваетъ изъ окошка. Онъ пошелъ далѣе и вскорѣ услышалъ, что его догоняютъ; за нимъ бѣжалъ и въ самомъ дѣлѣ Павель Павловичъ; должно-быть, примирительное выраженіе въ лицѣ Вельчанинова привлекло и ободрило его, когда онъ наблюдалъ изъ окошка. Поровнявшись, онъ, робѣя, улыбнулся, но уже не прежней пьяной улыбкой; онъ даже и совсѣмъ не былъ пьянъ.

— Здравствуйте, сказалъ онъ.

— Здравствуйте, отвѣчалъ Вельчаниновъ.

## XI.

### Павель Павловичъ женится.

Отвѣтивъ это „здравствуйте“, онъ самъ себѣ удивился. Ужасно странно показалось ему, что встрѣчаетъ теперь этого человѣка вовсе безъ злобы и что въ его чувствахъ къ нему, въ эту минуту, что-то совсѣмъ другое и даже какой-то позывъ къ чему-то новому.

— Вечеръ какой пріятный, проговорилъ, засматривая ему въ глаза, Павель Павловичъ.

— Вы еще не уѣхали? промолвилъ Вельчаниновъ, какъ бы не спрашивая, а только обдумывая и продолжая идти.

— Затянулось у меня, но — мѣсто я получилъ-сь, съ повышеніемъ-сь. Отъѣзжаю послѣзавтра навѣрно.

— Получили мѣсто? на этотъ разъ уже спросилъ онъ.

— Почему же бы и нѣтъ-сь? покривился вдругъ Павель Павловичъ.

— Я только такъ сказалъ... отговорился Вельчаниновъ и, нахмурившись, покосился на Павла Павловича.

Къ его удивленію, одежда, шляпа съ крепомъ и весь видъ господина Трусопкаго были несравненно приличнѣе, чѣмъ двѣ недѣли назадъ.

„Зачѣмъ онъ сидѣлъ въ этой распивочной?“ все думалось ему.

— Я вамъ, Алексѣй Ивановичъ, намѣревался и про другую мою радость сообщить, началъ опять Павелъ Павловичъ.

— Радость?

— Я женюсь-съ.

— Какъ?

— Послѣ скорби и радость-съ, такъ всегда въ жизни-съ; я, Алексѣй Ивановичъ, очень бы желалъ-съ... но—не знаю, можетъ, вы теперь спѣшите, потому что у васъ такой видъ-съ...

— Да, я спѣшу и... да, я нездоровъ.

Ему ужасно вдругъ захотѣлось отдѣлаться; готовность къ какому-то новому чувству вмигъ исчезла.

— А я бы желалъ-съ...

Павелъ Павловичъ не договорилъ, чего онъ желалъ; Вельчаниновъ промолчалъ.

— Въ такомъ случаѣ уже послѣ-съ, если только повстрѣчаемся...

— Да, да, послѣ, скороговоркой бормоталъ Вельчаниновъ, не глядя на него и не останавливаясь.

Еще помолчали съ минутой; Павелъ Павловичъ все еще продолжалъ идти подлѣ.

— Въ такомъ случаѣ до свиданья-съ, вымолвилъ онъ, наконецъ.

— До свиданья; желаю...

Вельчаниновъ воротился домой опять совсѣмъ разстроенный. Столкновение съ „этимъ человѣкомъ“ было ему не подъ силу. Ложась спать, онъ опять подумалъ:

„Зачѣмъ онъ былъ у кладбища?“

На другой день поутру онъ рѣшился, наконецъ, съѣздить къ Погорѣльцевымъ, рѣшился неохотно; ему слишкомъ тяжело было теперь чье-нибудь участіе, даже и отъ Погорѣльцевыхъ. Но они такъ о немъ безпокоились, что непременно надо было поѣхать. Ему вдругъ представилось, что ему станетъ почему-то очень стыдно при первой съ ними встрѣчѣ.

„Ѣхать или не Ѣхать?“ думалъ онъ, спѣша окончить

завтракъ, какъ вдругъ, къ чрезвычайному его изумленію, къ нему вошелъ Павелъ Павловичъ.

Несмотря на вчерашнюю встрѣчу, Вельчаниновъ и представить не могъ, что этотъ человѣкъ когда-нибудь опять зайдетъ къ нему, и былъ такъ озадаченъ, что глядѣлъ на него и не зналъ, что сказать. Но Павелъ Павловичъ распорядился самъ, поздоровался и усѣлся на томъ же самомъ стулѣ, на которомъ сидѣлъ три недѣли назадъ въ послѣднее свое посѣщеніе. Вельчанинову вдругъ особенно ярко припомнилось то посѣщеніе. Безпокойно и съ отвращеніемъ смотрѣлъ онъ на гостя.

— Удивляетесь-съ? началъ Павелъ Павловичъ, угадавшій взглядъ Вельчанинова.

Вообще, онъ казался гораздо развязнѣе чѣмъ вчера и въ то же время проглядывало, что онъ и робѣлъ еще больше вчерашняго. Наружный видъ его былъ особенно любопытенъ. Господинъ Трусоцкій былъ не только прилично, но и франтовски одѣтъ—въ легкомъ лѣтнемъ шиджакѣ, въ свѣтлыхъ брюкахъ въ обтяжку, въ свѣтломъ жилетѣ; перчатки, золотой лорнетъ, для чего-то вдругъ появившійся, бѣлье—были безукоризненны; отъ него даже пахло духами. Во всей фигурѣ его было что-то и смѣшное, и въ то же время наводившее на какую-то странную и непріятную мысль.

— Конечно, Алексѣй Ивановичъ, продолжалъ онъ, корбясь,—я васъ удивилъ приходомъ-съ, и — чувствую-съ. Но между людьми, я такъ думаю-съ, всегда сохраняется,— а по-моему, такъ и должно храниться-съ, нѣчто высшее, такъ-ли-съ? То-есть высшее относительно всѣхъ условій и даже самыхъ непріятностей, могущихъ выйти... такъ-ли-съ?

— Павелъ Павловичъ, скажите все поскорѣе и безъ церемоній, нахмурился Вельчаниновъ.

— Въ двухъ словахъ-съ, заспѣшилъ Павелъ Павловичъ,—я женюсь и отправляюсь теперь къ невѣстѣ, сейчасъ-съ. Они тоже на дачѣ-съ. Я желалъ бы получить глубокую честь, чтобы осмѣлиться познакомиться васъ съ этимъ домомъ-съ, и пришелъ-съ съ необычайною просьбою (Павелъ Павловичъ покорно нагнулъ голову) просить васъ, чтобы мнѣ сопутствовать-съ...

— Куда сопутствовать?

Вельчаниновъ вытаращилъ глаза.

— Къ нимъ-съ, то-есть, на дачу-съ. Простите, я какъ

въ лихорадкѣ говорю и, можетъ, спуталъ; но я такъ ужъ вашего отказа боюсь-съ.

И онъ плачевно посмотрѣлъ на Вельчанинова.

— Вы хотите, чтобы я съ вами ѣхалъ теперь къ вашей невѣстѣ? переговорилъ Вельчаниновъ, быстро его оглядывая и не вѣря ни ушамъ, ни глазамъ своимъ.

— Да-съ, ужасно оробѣлъ вдругъ Павелъ Павловичъ.— Вы не разсердитесь, Алексѣй Ивановичъ, тутъ не дерзость-съ; я только покорнѣйше и необычайно прошу. Я помечталъ, что, можетъ-быть, вы и не захотѣли бы при этомъ отказать...

— Во-первыхъ, это вовсе невозможно, безпокойно заворочался Вельчаниновъ.

— Это только мое чрезмѣрное желаніе и не болѣе-съ, продолжалъ тотъ умолять, — я не скрою тоже, что есть тутъ и причина-съ. Но о причинѣ этой хотѣлъ бы открыть лишь послѣ-съ, а теперь лишь необычайно прошу-съ...

И онъ даже всталъ со стула отъ почтенія.

— Но во всякомъ случаѣ это невозможно же, согласитесь сами...

Вельчаниновъ тоже всталъ съ мѣста.

— Это очень возможно-съ, Алексѣй Ивановичъ,—я при этомъ васъ располагалъ познакомить-съ, такъ, какъ пріятеля-съ; а во-вторыхъ, вы вѣдь и безъ того тамъ знакомы-съ; вѣдь это къ Захлебину, на дачу. Статскій совѣтникъ Захлебининъ-съ.

— Какъ такъ? вскричалъ Вельчаниновъ.

Это былъ тотъ самый статскій совѣтникъ, котораго онъ съ мѣсяцъ назадъ все искалъ и не заставалъ дома, дѣйствовавшій, какъ оказалось, въ пользу противной стороны въ его тяжбѣ.

— Ну, да, ну, да, улыбался Павелъ Павловичъ, какъ бы ободренный чрезвычайнымъ удивленіемъ Вельчанинова,— тотъ самый, вотъ еще помните, когда вы тогда шли съ нимъ и разговаривали, а я глядѣлъ на васъ и стоялъ напротивъ; я тогда выжидалъ, чтобы къ нему подойти послѣ васъ. Назадъ лѣтъ двадцать вмѣстѣ даже служили-съ, а тогда, когда я подойти хотѣлъ послѣ васъ-съ, у меня еще не было мысли. Теперь только внезапно пришла, съ недѣлю назадъ-съ.

— Но, послушайте, вѣдь это, кажется, весьма порядочное семейство? наивно удивился Вельчаниновъ.

— Такъ почему же-съ, если иорядочное? покривился Павелъ Павловичъ.

— Нѣтъ, разумѣется, я не про то... но сколько я замѣтилъ тамъ бывши...

— Они помнятъ, они помнятъ-съ, какъ вы были, радостно подхватилъ Павелъ Павловичъ,—только вы семейства не могли тогда увидѣть-съ; а самъ онъ помнитъ-съ, и васъ уважаетъ. Я имъ почтительно о васъ говорилъ.

— Но какъ же, если вы только три мѣсяца вдовѣете?

— Да вѣдь не сейчасъ свадьба-то-съ; свадьба черезъ девять или черезъ десять мѣсяцевъ будетъ, такъ что ровно годъ траура и пройдетъ-съ. Повѣрьте, что все хорошо-съ. Во-первыхъ, Ѳедосѣй Петровичъ меня даже съ малолѣтства знаетъ, зналъ покойную супругу мою, знаетъ, какъ я жилъ, на какомъ счету-съ, и, наконецъ, у меня есть состояніе, а теперь вотъ и мѣсто съ повышеніемъ получаю,—такъ это все и на вѣсу-съ.

— Что-жъ, это дочь его?

— Я вамъ все это расскажу въ подробности-съ, пріятно съезжился Павелъ Павловичъ,—позвольте папирочку закурю. Къ тому же, вы сами сегодня увидите. Во-первыхъ, такіе дѣльцы, какъ Ѳедосѣй Петровичъ, здѣсь, въ Петербургѣ, иногда очень на службѣ цѣнятся, если успѣютъ обратить вниманіе-съ. Но вѣдь кромѣ жалованья и пуще того—прибавочныхъ, наградныхъ, дополнительныхъ, столовыхъ, или тамъ единовременныхъ пособій-съ—ничего вѣдь и нѣтъ-съ, то-есть основного-то-съ, составляющаго капиталъ. Живутъ хорошо, а скопить никакъ невозможно, если при семействѣ-съ. Сообразите сами: восемь дѣвицъ у Ѳедосѣя Петровича и одинъ только сынъ-малолѣтокъ. Умри онъ сейчасъ—останется вѣдь только пенсія жиденъ-кая-съ. А тутъ восемь дѣвицъ,—нѣтъ, вы только сообразите-съ, сообразите-съ: вѣдь это если каждой по башмакамъ, такъ и тутъ что составить! Изъ восьми дѣвицъ пять ужъ невѣсты-съ, старшей-то двадцать четыре года—(пре-дѣстнѣйшая дѣвица, сами увидите-съ!)—а шестой—пятнадцать лѣтъ, еще въ гимназіи учится. Вѣдь для пяти-то старшихъ дѣвицъ надо жениховъ приискать, что по возможности заблаговременнѣе дѣлать слѣдуетъ, отцу-съ надо, стало-быть, вывозить-съ,—чего же это стоитъ, я васъ спрошу-съ? И вдругъ я появляюсь, еще первый женихъ у нихъ въ домъ-съ, и имъ извѣстенъ завѣдомо, то-есть

въ томъ смыслѣ, что при дѣйствительномъ состояніи-съ. Ну, вотъ и все-съ.

Павель Павловичъ объяснялъ съ упоеніемъ.

— Вы къ старшей посватались?

— Н-нѣтъ-съ, я... не къ старшей; я вотъ къ этой шестой посватался, вотъ которая еще продолжаетъ ученіе въ гимназіи.

— Какъ? невольно усмѣхнулся Вельчаниновъ,—да вѣдь вы же говорите, ей пятнадцать лѣтъ!

— Пятнадцать-съ теперь; но черезъ девять мѣсяцевъ ей будетъ шестнадцать, шестнадцать лѣтъ и три мѣсяца, такъ почему же-съ? А такъ какъ теперь все это неприлично-съ, то гласнаго покамѣсть и нѣтъ ничего, а только съ родителями... Повѣрьте, что все хорош-съ!

— Стало-быть, еще не рѣшено?

— Нѣтъ, рѣшено, все рѣшено-съ. Повѣрьте, что все хорошо-съ.

— А она знаетъ?

— То-есть это только видъ такой, для приличія, что будто и не говорятъ; а вѣдь какъ же не знать-съ, приятно прищурился Павель Павловичъ.—Что же, очастливите, Алексѣй Ивановичъ? ужасно робко закончилъ онъ.

— Да зачѣмъ мнѣ-то туда? Впрочемъ, прибавилъ онъ торопливо,—такъ какъ я во всякомъ случаѣ не поѣду, то и не выставляйте мнѣ никакихъ причинъ.

— Алексѣй Ивановичъ...

— Да неужели же я съ вами рядомъ сяду и поѣду, подумайте!

Отвратительное и непріязненное ощущеніе возвратилось опять къ нему послѣ минутнаго развлеченія болтовней Павла Павловича о невѣстѣ. Еще бы, кажется, минута, и онъ прогналъ бы его вовсе. Онъ злился даже на себя за что-то.

— Сядьте, Алексѣй Ивановичъ, сядьте рядомъ и не раскаетесь! проникнутымъ голосомъ умолялъ Павель Павловичъ.—Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! замахалъ онъ руками, поймавъ нетерпѣливый и рѣшительный жестъ Вельчанинова.— Алексѣй Ивановичъ, Алексѣй Ивановичъ, подождите предрѣшать-съ! Я вижу, что вы, можетъ-быть, превратно меня поняли: вѣдь я слишкомъ хорошо понимаю, что ни вы мнѣ, ни я вамъ—мы не товарищи-съ; я вѣдь не до того ужъ нелѣпъ-съ, чтобъ ужъ этого не понять-съ. И что те-перешняя услуга, о которой прошу, ни къ чему въ даль-

нѣйшемъ вамъ не вмѣняется. Да и самъ я послѣзавтра уѣду совсѣмъ-съ, совершенно-съ; значить, какъ бы и не было ничего. Пусть этотъ день будетъ одинъ только случай-съ. Я къ вамъ шелъ и надежду основалъ на благородствѣ особенныхъ чувствъ вашего сердца, Алексѣй Ивановичъ,—именно на тѣхъ самыхъ чувствахъ, которыя въ послѣднее время могли быть въ вашемъ сердцѣ возбуждены-съ... Ясно вѣдь, кажется, я говорю, или еще нѣтъ-съ?

Волненіе Павла Павловича возросло до чрезвычайности. Вельчаниновъ странно глядѣлъ на него.

— Вы просите о какой-то услугѣ съ моей стороны? спросилъ онъ, задумываясь,—и ужасно настаиваете,—это мнѣ подозрительно; я хочу больше знать.

— Вся услуга лишь въ томъ, что вы со мной поѣдете. А потомъ, когда прійдемъ обратно, я все разверну передъ вами какъ на исповѣди. Алексѣй Ивановичъ, довѣрьтесь!

Но Вельчаниновъ все еще отказывался, и тѣмъ упорнѣе, что ощущалъ въ себѣ одну какую-то тяжелую, злобную мысль. Эта злая мысль уже давно зашевелилась въ немъ, съ самаго начала, какъ только Павелъ Павловичъ возвѣстилъ о невѣстѣ: простое-ли это было любопытство, или какое-то совершенно еще неясное влеченіе, но его тянуло согласиться. И чѣмъ больше тянуло, тѣмъ болѣе онъ оборонялся. Онъ сидѣлъ, облокотясь на руку, и раздумывалъ. Павелъ Павловичъ юлилъ около него и упрашивалъ.

— Хорошо, поѣду, согласился онъ вдругъ безпокойно и почти тревожно, вставая съ мѣста.

Павелъ Павловичъ обрадовался чрезмѣрно.

— Нѣтъ, ужъ вы, Алексѣй Ивановичъ, теперь пріодѣньтесь, юлилъ онъ радостно вокругъ одѣвавшагося Вельчанинова,—получше, по-вашему одѣньтесь.

„И чего онъ самъ туда лѣзетъ, странный человѣкъ?“ думалъ про себя Вельчаниновъ.

— А вѣдь я не одной этой услуги отъ васъ, Алексѣй Ивановичъ, ожидаю-съ. Ужъ коли дали согласіе, такъ ужъ будьте и руководителемъ-съ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ, большой вопросъ: крепъ-съ? Чтò приличнѣе: снять или съ крепомъ остаться?

— Какъ хотите.

— Нѣтъ, я вашего рѣшенія желаю-съ, какъ бы вы поступили сами, то-есть если бы имѣли крепъ-съ? Моя собственная мысль была, что если сохранить, такъ это на



постоянство чувствъ-съ укажетъ-съ, а, стало-быть, лестно отрекомендуетъ.

— Разумѣется, снимите.

— Неужто ужъ и разумѣется?—Павель Павловичъ задумался.—Нѣтъ, ужъ я бы лучше сохранилъ-съ...

— Какъ хотите.—„Однако онъ мнѣ не довѣряетъ, это хорошо“, подумалъ Вельчаниновъ.

Они вышли; Павель Павловичъ съ довольствомъ приглядывался къ принарядившемуся Вельчанинову; даже какъ будто больше почтенія и важности проявилось въ его лицѣ! Вельчаниновъ дивился на него, и еще больше на себя самого. У воротъ стояла поджидавшая ихъ превосходная коляска.

— А у васъ уже и коляска была готова? Стало-быть, вы были увѣрены, что я поѣду?

— Коляску я взялъ для себя-съ, но почти увѣренъ былъ, что вы согласитесь поѣхать, отвѣтилъ Павель Павловичъ съ видомъ совершенно счастливаго человѣка.

— Эй, Павель Павловичъ, какъ-то раздражительно засмѣялся Вельчаниновъ, когда уже усѣлись и тронулись,— не слишкомъ-ли вы во мнѣ увѣрены?

— Но вѣдь не вамъ же, Алексѣй Ивановичъ, не вамъ же сказать мнѣ за это, что я дуракъ? твердо и проникнутымъ голосомъ отвѣтилъ Павель Павловичъ.

„А Лиза?“ подумалъ Вельчаниновъ, и тотчасъ же бросилъ объ этомъ думать, какъ бы испугавшись какого-то кощунства. И вдругъ ему показалось, что онъ самъ такъ мелокъ, такъ ничтоженъ въ эту минуту; показалось, что мысль, его соблазнявшая—такая маленькая, такая скверенькая мысль... и во что бы то ни стало захотѣлось ему опять все бросить и хоть сейчасъ выйти изъ коляски, даже если-бъ надо было для этого прибить Павла Павловича. Но тотъ заговорилъ, и соблазнъ опять охватилъ его сердце.

— Алексѣй Ивановичъ, знаете вы толкъ въ драгоценныхъ вещахъ-съ?

— Въ какихъ драгоценныхъ-съ?

— Въ брилльянтовыхъ-съ.

— Знаю.

— Я бы хотѣлъ подарочекъ свезти. Руководите, надо или нѣтъ?

— По-моему—не надо.

— А я такъ бы очень хотѣлъ-съ, заворочался Павель

Павловичъ,—только вотъ что же бы купить-съ? Весь-ли приборъ, то-есть брошь, серьги, браслетъ, или одну только вещицу?

— Вы сколько хотите заплатить?

— Да ужъ рублей четыреста или пятьсотъ-съ.

— Ухъ!

— Много, что-ли? востепенулся Павелъ Павловичъ.

— Купите одинъ браслетъ, во сто рублей.

Павелъ Павловичъ даже огорчился. Ему ужасно какъ хотѣлось заплатить дороже и купить „весь“ приборъ. Онъ настаивалъ. Заѣхали въ магазинъ. Кончилось тѣмъ однакоже, что купили только одинъ браслетъ, и не тотъ, который хотѣлось Павлу Павловичу, а тотъ, на который указалъ Вельчаниновъ. Павлу Павловичу хотѣлось взять оба. Когда купецъ, запросившій сто семьдесятъ пять рублей за браслетъ, спустилъ за сто пятьдесятъ,— то ему стало даже досадно; онъ съ пріятностью заплатилъ бы и двѣсти, если бы съ него запросили, такъ ужъ хотѣлось ему заплатить подороже.

— Это ничего, что я такъ подарками спѣшу, изливался онъ въ упоеніи, когда опять поѣхали,— тамъ вѣдь не высшій свѣтъ, тамъ просто-съ. Невинность любить подарочки, хитро и весело улыбнулся онъ.— Вы вотъ усмѣхнулись давеча, Алексѣй Ивановичъ, на то, что пятнадцать лѣтъ; а вѣдь мнѣ это-то и въ голову стукнуло,— именно, что вотъ въ гимназію еще ходитъ, съ мѣшечкомъ на рукѣ, въ которомъ тетрадки и перышки, хе-хе! Мѣшечекъ-то и плѣнилъ мои мысли! Я собственно для невинности, Алексѣй Ивановичъ. Дѣло для меня не столько въ красотѣ лица, сколько въ этомъ-съ. Хихикаютъ тамъ съ подружкой въ уголку, и какъ смѣются, и Боже мой! А чему-съ? Весь-то смѣхъ изъ того, что кошечка съ комода на постельку соскочила и клубочкомъ свернулась... Такъ тутъ вѣдь свѣжимъ яблочкомъ пахнетъ-съ! Аль снять ужъ крепъ?

— Какъ хотите.

— Сниму!

Онъ снялъ шляпу, сорвалъ крепъ и выбросилъ на дорогу. Вельчаниновъ видѣлъ, что лицо его засіяло самой ясной надеждой, когда онъ надѣлъ опять шляпу на свою лысую голову.

„Да неужто онъ и въ самомъ дѣлѣ такой?“ подумалъ онъ въ настоящей уже злобѣ, — „неужто тутъ нѣтъ ни-

какой *штуки* въ томъ, что онъ меня пригласилъ? Неужто и въ самомъ дѣлѣ на благородство мое рассчитываетъ?“ продолжалъ онъ, почти обидѣвшись послѣднимъ предположеніемъ.— „Что это—шутъ, дуракъ или „вѣчный мужъ“? Да невозможно же, наконецъ!..“

## XII.

### У Захлебининыхъ.

Захлебинины были дѣйствительно „очень порядочное семейство“, какъ выразился давеча Вельчаниновъ, а самъ Захлебининъ былъ весьма солидный чиновникъ и на виду. Правда была и все то, что говорилъ Павелъ Павловичъ насчетъ ихъ доходовъ: „жить, кажется, хорошо, а умри человѣкъ, и ничего не останется“.

Старикъ Захлебининъ прекрасно и дружески встрѣтилъ Вельчанинова, и изъ прежняго „врага“ совершенно обратился въ пріятеля.

— Поздравляю, такъ-то лучше, заговорилъ онъ съ перваго слова, съ пріятнымъ и осанистымъ видомъ,—я самъ на мировой настаивалъ, а Петръ Карловичъ (адвокатъ Вельчанинова) золотой на этотъ счетъ человѣкъ. Что-жъ? Тысячъ шестьдесятъ получите и безъ хлопотъ, безъ проволочекъ, безъ ссоръ! А на три года могло затянуться дѣло!

Вельчаниновъ тотчасъ былъ представленъ и m-me Захлебининой, весьма расплывшейся пожилой дамѣ, съ простоватымъ и усталымъ лицомъ. Стали выплывать и дѣвицы, одна за другой или парами. Но что-то очень ужъ много явилось дѣвицъ; мало-по-малу собралось ихъ до десяти или до двѣнадцати—Вельчаниновъ и сосчитать не могъ; однѣ входили, другія выходили. Но въ числѣ ихъ было много дачныхъ сосѣдокъ-подружекъ. Дача Захлебининыхъ—большой деревянный домъ, въ неизвѣстномъ, но причудливомъ вкусѣ, съ разновременными пристройками—пользовалась большимъ садомъ; но въ этотъ садъ выходила еще три или четыре другія дачи съ разныхъ сторонъ, такъ что большой садъ былъ общій, что естественно и способствовало сближенію дѣвицъ съ дачными сосѣдками. Вельчаниновъ съ первыхъ же словъ разговора замѣтилъ, что его уже здѣсь ожидали и что пріѣздъ его, въ качествѣ Павла Павловичева друга, желающаго познакомиться, былъ чуть-ли не торжественно возвѣщенъ. Зоркій и опытный въ этихъ дѣлахъ его взглядъ скоро отли-

чиль тутъ даже нѣчто особенное: по слишкомъ любезному приему родителей, по нѣкоторому особенному виду дѣвицы и ихъ наряду (хотя, впрочемъ, день былъ праздничный), у него замелькало подозрѣніе, что Павелъ Павловичъ схитрилъ и, очень могло быть, что внушилъ здѣсь, не говоря, разумѣется, прямыхъ словъ, нѣчто въ родѣ предположенія о немъ, какъ о скучающемъ холостякѣ, „хорошаго общества“, съ состояніемъ и который, очень и очень можетъ быть, наконецъ, вдругъ рѣшится „положить предѣлъ“ и устроиться, „тѣмъ болѣе, что и наслѣдство получилъ“. Кажется, старшая m-ле Захлебниина, Катерина Ѳедосѣевна, именно та, которой было двадцать четыре года и о которой Павелъ Павловичъ выразился какъ о прелестной особѣ, была нѣсколько настроена на этотъ тонъ. Она особенно выдавалась передъ сестрами своимъ костюмомъ и какою-то оригинальною уборкою своихъ пышныхъ волосъ. Сестры же и всѣ другія дѣвицы глядѣли такъ, какъ будто и имъ уже было твердо извѣстно, что Вельчаниновъ знакомится „для Кати“ и пріѣхалъ ее „посмотрѣть“. Ихъ взгляды и нѣкоторыя даже словечки, промелькнувшія невзначай въ продолженіе дня, подтвердили ему потомъ эту догадку. Катерина Ѳедосѣевна была высокая, полная до роскоши блондинка, съ чрезвычайно милымъ лицомъ, характера, очевидно, тихаго и не предпримчиваго, даже сонливаго. „Странно, что такая засидѣлась“, невольно подумалъ Вельчаниновъ, съ удовольствіемъ къ ней приглядываясь, — „пусть безъ приданаго и скоро совсѣмъ расплывется, но покажѣтъ на это столько любителей“... Всѣ остальные сестры были тоже не совсѣмъ дурны собой, а между подружками мелькало нѣсколько забавныхъ и даже хорошенькихъ личикъ. Это стало его забавлять; а, впрочемъ, онъ и вошелъ съ особенными мыслями.

Надежда Ѳедосѣевна, шестая, гимназистка и предполагаемая невѣста Павла Павловича, заставила себя подождать. Вельчаниновъ ждалъ ее съ нетерпѣніемъ, чему самъ дивился и усмѣхался про себя. Наконецъ, она показалась, и не безъ эффекта, въ сопровожденіи одной бойкой и вострой подружки, Марьи Никитичны, брюнетки съ смѣшнымъ лицомъ, и которой, какъ оказалось сейчасъ же, чрезвычайно боялся Павелъ Павловичъ. Эта Марья Никитична, дѣвушка лѣтъ уже двадцати трехъ, зубоскалка и даже умница, была гувернанткою маленькихъ

дѣтей въ одномъ сосѣднемъ и знакомомъ семействѣ, и давно уже считалась какъ родная у Захлебниныхъ, а дѣвцами пѣвилась ужасно. Видно было, что она особенно необходима теперь и Надѣ. Съ перваго взгляда разглядѣлъ Вельчаниновъ, что дѣвицы были всѣ противъ Павла Павловича, даже и подружки, а во вторую минуту послѣ выхода Нади онъ рѣшилъ, что и она его *ненавидитъ*. Замѣтилъ тоже, что Павелъ Павловичъ совершенно этого не примѣчаетъ, или не хочетъ примѣчать. Безспорно, Надя была лучше всѣхъ сестеръ — маленькая брюнетка, съ видомъ дикарки и съ смѣлостью нигилистки; вороватый бѣсенокъ съ огненными глазками, съ прелестной улыбкой, хотя часто и злой, съ удивительными губками и зубками, тоненькая, стройненькая, съ зачинавшеюся мыслью въ горячемъ выраженіи лица, въ то же время почти совѣмъ еще дѣтскаго. Пятнадцать лѣтъ сказывались въ каждомъ ея шагѣ, въ каждомъ словѣ. Оказалось потомъ, что и дѣйствительно Павелъ Павловичъ увидаль ее въ первый разъ съ клеенчатымъ мѣшечкомъ въ рукахъ, но теперь уже она его не носила.

Подарокъ браслета совершенно не удался и произвелъ впечатлѣніе даже непріятное. Павелъ Павловичъ, только лишь завидѣлъ вошедшую невѣсту, тотчасъ же подошелъ къ ней, ухмыляясь. Дарилъ онъ подѣ предлогомъ „пріятнаго удовольствія, ощущеннаго имъ въ предыдущій разъ по поводу слѣтаго Надеждой Ѳедосѣвной пріятнаго романа за фортепьянами“... Онъ сбился, не докончилъ и стоялъ какъ потерянный, протягивая и втыкая въ руку Надежды Ѳедосѣвны футляръ съ браслетомъ, который та не хотѣла брать, и, покраснѣвъ отъ стыда и гнѣва, отводила свои руки назадъ. Дерзко оборотилась она къ мамашѣ, на лицѣ которой выражалось замѣшательство, и громко сказала:

— Я не хочу брать, маман!

— Возьми и поблагодари, промолвилъ отецъ съ покойною строгостью, но и онъ былъ тоже недоволенъ. — Лишнее, лишнее! пробормоталъ онъ назидательно Павлу Павловичу.

Надя, нечего дѣлать, футляръ взяла и, опустивъ глазки, присѣла, какъ присѣдаютъ маленькія дѣвочки, то-есть вдругъ бултыхнулась внизъ и вдругъ тотчасъ же привскочила, какъ на пружинкѣ. Одна изъ сестеръ подошла посмотреть, и Надя передала ей футляръ еще и не раскры-

тый, тѣмъ показывая, что сама и глядѣть не хочетъ. Браслетъ вынули и онъ сталъ обходить всѣхъ изъ рукъ въ руки; но всѣ смотрѣли молча, а инья такъ и насмѣшливо. Одна только мамаша проямлила, что браслетъ очень милъ. Павелъ Павловичъ готовъ былъ провалиться сквозь землю.

Выручилъ Вельчаниновъ.

Онъ вдругъ громко и охотно заговорилъ, схвативъ первую попавшуюся мысль, и не прошло еще пяти минутъ, какъ онъ уже овладѣлъ вниманіемъ всѣхъ бывшихъ въ гостиной. Онъ великолѣпно изучилъ искусство болтать въ свѣтскомъ обществѣ, то-есть искусство казаться совершенно простодушнымъ и показывать въ то же время видъ, что и слушателей своихъ считаетъ за такихъ же простодушныхъ, какъ самъ, людей. Чрезвычайно натурально могъ прикинуться онъ, когда надо, веселѣйшимъ и счастливейшимъ человѣкомъ. Очень ловко умѣлъ тоже вставить между словами острое и задирающее словцо, веселый намекъ, смѣшной каламбуръ, но совершенно какъ бы невзначай, какъ бы и не замѣчая — тогда какъ и острота, и каламбуръ, и самый-то разговоръ, можетъ-быть, давным-давно уже были заготовлены и заучены и уже не разъ употреблялись. Но въ настоящую минуту къ его искусству присоединилась и сама природа: онъ чувствовалъ, что настроенъ, что его что-то влечетъ; чувствовалъ въ себѣ полнѣйшую и побѣдительную увѣренность, что черезъ нѣсколько минутъ всѣ эти глаза будутъ обращены на него, всѣ эти люди будутъ слушать только его одного, говорить только съ нимъ однимъ, смѣяться только тому, что онъ скажетъ. И дѣйствительно, вскорѣ послышался смѣхъ, мало-по-малу въ разговоръ ввязались и другіе, — а онъ въ совершенствѣ владѣлъ умѣніемъ затягивать въ разговоръ и другихъ, — раздавались уже по три и по четыре говорившіе голоса разомъ. Скучное и усталое лицо госпожи Захлебвиной озарилось почти радостью; то же было и съ Катериной Федосѣвной, которая слушала и смотрѣла какъ очарованная. Надя зорко вглядывалась въ него исподлобья; замѣтно было, что она противъ него уже предубѣждена. Это еще болѣе подожгло Вельчанинова. „Злая“ Марья Никитична сумѣла-таки ввернуть въ разговоръ одну довольно чувствительную колкость на его счетъ; она выдумала и утверждала, что будто бы Павелъ Павловичъ откомендовалъ его здѣсь вчера своимъ другомъ дѣтства,

и такимъ образомъ прибавляла къ его годамъ, ясно намекнувъ на это, цѣлыхъ семь лѣтъ лишнихъ. Но и злой Марья Никитична онъ понравился. Павелъ Павловичъ рѣшительно былъ озадаченъ. Онъ, конечно, имѣлъ понятие о средствахъ, которыми обладаетъ его другъ, и вначалѣ даже былъ радъ его успѣху, самъ подхихикивалъ и вмѣшивался въ разговоръ; но почему-то онъ мало-по-малу сталъ впадать какъ бы въ раздумье, даже, наконецъ, въ уныніе, что ясно выражалось въ его встревоженной физиономіи.

— Ну, вы такой гость, котораго и занимать не надо, весело порѣшилъ, наконецъ, старикъ Захлебивинъ, вставая со стула, чтобы отправиться къ себѣ наверхъ, гдѣ у него, несмотря на праздничный день, уже приготовлено было нѣсколько дѣловыхъ бумагъ для просмотра, — а вѣдь представьте, я васъ считалъ самымъ мрачнымъ ипохондрикомъ изъ всѣхъ молодыхъ людей. Вотъ какъ ошибаешься!

Въ залѣ стоялъ рояль; Вельчаниновъ спросилъ, кто занимается музыкой, и вдругъ обратился къ Надѣ:

— А вы, кажется, поете?

— Кто вамъ сказалъ? отрѣзала Надя.

— Павелъ Павловичъ говорилъ давеча.

— Неправда; я только на-смѣхъ пою; у меня и голосу нѣтъ.

— Да и у меня голосу нѣтъ, а пою же.

— Такъ вы споете намъ? Ну, такъ и я вамъ спою, сверкнула глазами Надя, — только не теперь, а послѣ обѣда. Я терпѣть не могу музыки, прибавила она, — надоѣли эти фортепьяны; у насъ вѣдь съ утра до ночи всѣ играютъ и поютъ, — одна Катя чего стѣбитъ.

Вельчаниновъ тотчасъ привязался къ слову и оказалось, что Катерина Ѳедосѣевна одна изъ всѣхъ серьезно занимается на фортепьяно. Онъ тотчасъ къ ней обратился съ просьбой сыграть. Всѣмъ видимо стало пріятно, что онъ обратился къ Катѣ, а шатап такъ даже покраснѣла отъ удовольствія. Катерина Ѳедосѣевна встала, улыбаясь, и пошла къ роялю, и вдругъ, себѣ не ожиданно, тоже вся покраснѣлась, и ужасно ей вдругъ стало стыдно, что вотъ она такая большая и уже двадцати четырехъ лѣтъ, и такая полная, а краснѣетъ какъ дѣвочка, — и все это было написано на ея лицѣ, когда она садилась играть. Сыграла она что-то изъ Гайдна и сыграла отчетливо, хотя и безъ выраженія; но она оробѣла. Когда она кончила, Вельча-

ниновъ сталъ ужасно хвалить ей не ее, а Гайдпа и особенно ту маленькую вещицу, которую она сыграла, — и ей видимо стало такъ пріятно и она такъ благодарно и счастливо слушала похвалы не себѣ, а Гайдпу, что Вельчаниновъ невольно посмотрѣлъ на нее и ласковѣе, и внимательнѣе: „Э, да ты славная!“ засвѣтилось въ его взглядѣ—и всѣ какъ бы разомъ поняли этотъ взглядъ, а особенно сама Катерина Федосѣвна.

— У васъ славный садъ, обратился онъ вдругъ ко всѣмъ, смотря на стеклянныя двери балкона,—знаете,—пойдемте-ка всѣ въ садъ.

— Пойдемте, пойдемте! раздались радостные взвизги, точно онъ угадалъ самое главное всеобщее желаніе.

Въ саду прогуляли до обѣда. Госпожа Захлебнинова, которой уже давно хотѣлось пойти заснуть, тоже не удержалась и вышла погулять со всѣми, но благоразумно осталась посидѣть и отдохнуть на балконѣ, гдѣ тотчасъ и задремала. Въ саду взаимныя отношенія Вельчанинова и всѣхъ дѣвицъ стали еще дружественнѣе. Онъ замѣтилъ, что съ сосѣднихъ дачъ присоединились два-три очень молодыхъ человѣка; одинъ былъ студентъ, а другой и просто гимназистъ. Эти тотчасъ же подскочили каждый къ своей дѣвицѣ и видно было, что и пришли для нихъ; третій же „молодой человѣкъ“, очень мрачный и взъерошенный двадцатилѣтній мальчикъ, въ огромныхъ синихъ очкахъ, сталъ торопливо и нахмуренно шептаться о чемъ-то съ Марьей Никитичной и Надей. Онъ строго осматривалъ Вельчанинова и, казалось, считалъ себя обязаннымъ относиться къ нему съ необыкновеннымъ презрѣніемъ. Нѣкоторыя дѣвицы предлагали поскорѣе начать играть. На вопросъ Вельчанинова, во что они играютъ, отвѣчали, что во всѣ игры, и въ горѣлки, но что вечеромъ будутъ играть въ пословицы, то-есть всѣ садятся и одинъ на время отходить: всѣ же сидящіе выбираютъ пословицу, напримѣръ: „Тише ѣдешь, дальше будешь“, и когда того призовутъ, то каждый или каждая по порядку должны приготовить и сказать ему по одной фразѣ. Первый непременно говорить такую фразу, въ которой есть слово „тише“, второй такую, въ которой есть слово „ѣдешь“ и т. д. А тотъ долженъ непременно подхватить всѣ эти словечки и по нимъ угадать пословицу.

— Это должно быть очень забавно, замѣтилъ Вельчаниновъ.



— Ахъ, нѣтъ, прескучно, отвѣтили два-три голоса разомъ.

— А то мы въ театръ тоже играемъ, замѣтила вдругъ Надя, обращаясь къ нему.—Вотъ видите это толстое дерево, около котораго скамьей обведено: тамъ, за деревомъ, будто бы кулисы и тамъ актеры сидятъ, ну, тамъ король, королева, принцесса, молодой человѣкъ—какъ кто захочетъ; каждый выходитъ, когда ему вздумается, и говорить, что на умъ придетъ, ну, что-нибудь и выходитъ.

— Да это славно! похвалилъ еще разъ Вельчаниновъ.

— Ахъ, нѣтъ, прескучно! Сначала каждый разъ весело выходитъ, а подъ конецъ каждый разъ безтолково, потому что никто не умѣетъ кончить; развѣ вотъ съ вами будетъ занимательнѣе. А то мы думали про васъ, что вы другъ Павла Павловича, а выходитъ, что онъ просто нахвасталъ. Я очень рада, что вы пріѣхали... по одному случаю...

Весьма серьезно и внушительно посмотрѣла она на Вельчанинова и тотчасъ же отошла къ Марьѣ Никитичнѣ.

— Въ пословицы вечеромъ будутъ играть, вдругъ конфиденціально шепнула Вельчанинову одна подружка, которую онъ до сихъ поръ едва даже замѣтилъ и ни слова еще съ нею не выговорилъ. — Вечеромъ надъ Павломъ Павловичемъ всѣ стануть смѣяться, такъ и вы тоже.

— Ахъ, какъ хорошо, что вы пріѣхали, а то у насъ все такъ скучно, дружески проговорила ему другая подружка, которую онъ уже и совсѣмъ до сихъ поръ не замѣтилъ, Богъ знаетъ вдругъ откуда явившаяся, рыженькая, съ веснушками и съ ужасно смѣшно разгорѣвшимся отъ ходьбы и отъ жару лицомъ.

Безпокойство Павла Павловича возрастало все болѣе и болѣе. Въ саду, подъ конецъ, Вельчаниновъ совершенно уже успѣлъ сойтись съ Надей; она уже не выглядывала какъ давеча исподлобья и отложила, кажется, мысль его осматривать подробнѣе, а хохотала, прыгала, взвизгивала и раза два даже схватила его за руку; она была счастлива ужасно, на Павла же Павловича продолжала не обращать ни малѣйшаго вниманія, какъ бы не замѣчая его. Вельчаниновъ убѣдился, что существуетъ положительный заговоръ противъ Павла Павловича; Надя съ толпой дѣвушекъ отвлекала Вельчанинова въ одну сторону, а другія подружки подъ разными предлогами заманивали Павла Павловича въ другую; но тотъ вырывался и тотчасъ же опретью прибѣгалъ прямо къ нимъ, то-есть

къ Вельчанинову и Надѣ, и вдругъ вставлялъ свою лысую и безпокойно подслушивающую голову между ними. Подъ конецъ онъ уже даже и не стѣснялся; наивность его жестовъ и движеній была иногда удивительная. Не могъ не обратить еще разъ особеннаго вниманія Вельчаниновъ и на Катерину Ѳедосѣвну; ей, конечно, уже стало ясно теперь, что онъ вовсе не для нея пріѣхалъ, а слишкомъ уже заинтересовался Надею; но лицо ея было такъ же мило и благодушно, какъ давеча. Она, казалось, уже тѣмъ однимъ была счастлива, что находится тоже подлѣ нихъ и слушаетъ то, что говоритъ новый гость; сама же, бѣдненькая, никакъ не умѣла ловко вмѣшаться въ разговоръ.

— А какая славная у васъ сестрица Катерина Ѳедосѣвна! сказалъ Вельчаниновъ вдругъ потихоньку Надѣ.

— Катя-то! Да добрѣе развѣ можетъ быть душа, какъ у ней? Нашъ общій ангель, я въ нее влюблена, отвѣчала та восторженно.

Насталъ, наконецъ, и обѣдъ, въ пять часовъ, и тоже очень замѣтно было, что обѣдъ устроенъ не по-обыкновенному, а нарочно для гостя. Явилось два-три кушанья, очевидно, прибавочныя къ обычному столу, довольно мудренныя, а одно изъ нихъ такъ и совсѣмъ какое-то странное, такъ что его и назвать никто бы не могъ. Кромѣ обыкновенныхъ столовыхъ винъ, появилась, тоже очевидно придуманная для гостя, бутылка токайскаго; подъ конецъ обѣда для чего-то подали и шампанское. Старикъ Захлебенинъ, выпивъ лишнюю рюмку, былъ въ самомъ благодушномъ настроеніи и готовъ былъ смѣяться всему, что говорилъ Вельчаниновъ. Кончилось тѣмъ, что Павелъ Павловичъ, наконецъ, не выдержалъ: увлекшись соревнованіемъ, онъ вдругъ задумалъ тоже сказать какой-нибудь каламбуръ и сказалъ; на концѣ стола, гдѣ онъ сидѣлъ подлѣ m-me Захлебениной, послышался вдругъ громкій смѣхъ обрадовавшихся дѣвицъ.

— Папаша, папаша! Павелъ Павловичъ тоже каламбуръ сказалъ, кричали двѣ среднія Захлебенины въ одинъ голосъ.—Онъ говоритъ, что мы „дѣвицы, на которыхъ нужно дивиться...“

— А, и онъ каламбуристъ! Ну, какой же онъ сказалъ каламбуръ? степеннымъ голосомъ отозвался старикъ, покровительственно обращаясь къ Павлу Павловичу и зранѣе улыбаясь ожидаемому каламбуру.

— Да вот же онъ и говоритъ, что мы „дѣвицы, на которыхъ нужно дивиться“.

— Д-да! Ну, такъ что-жь?

Старикъ все еще не понималъ и еще добродушнѣе улыбался въ ожиданіи.

— Ахъ, папаша, какой вы, не понимаете! Ну, дѣвицы и потомъ дивиться; дѣвицы похоже на дивиться, дѣвицы, на которыхъ нужно дивиться...

— А-а-а! озадаченно протянулъ старикъ.—Гм! Ну, онъ въ другой разъ получше скажетъ!

И старикъ весело разсмѣялся.

— Павелъ Павловичъ, нельзя же имѣть всѣ совершенства разомъ! громко поддразнила Марья Никитична.— Ахъ, Боже мой, онъ костью подавился! воскликнула она и вскочила со стула.

Поднялась даже суматоха, но Марья Никитичнѣ только того и хотѣлось. Павелъ Павловичъ только захлебнулся виномъ, за которое онъ схватился, чтобы скрыть свой конфузъ, но Марья Никитична увѣряла и клялась на всѣ стороны, что это „рыбья кость, что она сама видѣла и что отъ этого умираютъ“.

— Постучать по затылку! крикнулъ кто-то.

— Въ самомъ дѣлѣ и самое лучшее! громко одобрилъ Захлебивинъ.

Но уже явились и охотницы: Марья Никитична, рыженькая подружка (тоже приглашенная къ обѣду), и, наконецъ, сама мать семейства, ужасно перепугавшаяся; всѣ хотѣли стукать Павла Павловича по затылку. Выскочившій изъ-за стола Павелъ Павловичъ отвертывался и дѣлую минуту долженъ былъ увѣрять, что онъ только перхнулся виномъ, и что кашель сейчасъ пройдетъ,—пока, наконецъ-то, догадались, что все это — проказы Марьи Никитичны.

— Ну, однако, ужъ ты, забіяка!.. строго замѣтила-было м-ше Захлебинина Марья Никитичнѣ, но тотчасъ не выдержала и расхохоталась такъ, какъ съ нею рѣдко случалось, что тоже произвело своего рода эффектъ.

Послѣ обѣда всѣ вышли на балконъ пить кофе.

— И какіе славные стоятъ дни! благосклонно похвалилъ природу старикъ, съ удовольствіемъ смотря въ садъ.—Только бы вотъ дождя.. Ну, а я пойду отдохнуть. Съ Богомъ, съ Богомъ, веселитесь! И ты веселись! стукнулъ онъ, выходя, по плечу Павла Павловича.

Когда всё опять сошли въ садъ, Павелъ Павловичъ вдругъ подбѣжалъ къ Вельчанинову и дернулъ его за рукавъ.

— На одну минутку-съ, прошепталъ онъ въ нетерпѣннѣи.

Они вышли въ боковую, уединенную дорожку сада.

— Нѣтъ, ужъ здѣсь извините-съ, нѣтъ, ужъ здѣсь я не дамъ-съ... яростно захлебываясь прошепталъ онъ, ухвативъ Вельчанинова за рукавъ.

— Что? Чего? спрашивалъ Вельчаниновъ, сдѣлавъ большіе глаза.

Павелъ Павловичъ молча смотрѣлъ на него, шевелилъ губами и яростно улыбался.

— Куда же вы? Гдѣ же вы тутъ? Все ужъ готово, слышались зовущіе и нетерпѣливые голоса дѣвицъ.

Вельчаниновъ пожалъ плечами и воротился къ обществу. Павелъ Павловичъ тоже бѣжалъ за нимъ.

— Бьюсь объ закладъ, что онъ у васъ платка носового просилъ, сказала Марья Никитична, — прошлый разъ онъ тоже забылъ.

— Вѣчно забудетъ! подхватила средняя Захлебинина.

— Платокъ забылъ! Павелъ Павловичъ платокъ забылъ! Маша, Павелъ Павловичъ опять платокъ носовой забылъ, — маша, у Павла Павловича опять насморкъ! раздавались голоса.

— Такъ чего же онъ не скажетъ! Какой вы, Павелъ Павловичъ, щепетильный! нараспѣвъ протянула м-ше Захлебинина. — Съ насморкомъ опасно шутить; я вамъ сейчасъ пришлю платокъ. И съ чего у него все насморкъ? прибавила она уходя, обрадовавшись случаю воротиться домой.

— У меня два платка-съ, и нѣтъ насморка-съ! прокричалъ ей вслѣдъ Павелъ Павловичъ, но та видно не разобрала, и черезъ минуту, когда Павелъ Павловичъ трусилъ вслѣдъ за всѣми и все поближе къ Надѣ и Вельчанинову, запыхавшаяся горничная догнала его и принесла-таки ему платокъ.

— Играть, играть, въ пословицы играть! кричали со всѣхъ сторонъ, точно и Богъ знаетъ чего ждали отъ „пословицъ“.

Выбрали мѣсто и усѣлись на скамейкахъ; досталось отгадывать Марьѣ Никитичнѣ; потребовали, чтобъ она ушла какъ можно дальше и не подслушивала; въ отсутствіе ея выбрали пословицу и роздали слова. Марья Ни-

китична воротилась и мигомъ отгадала. Пословица была:  
„Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ“.

За Марьей Никитичной послѣдовалъ взъерошенный молодой человѣкъ въ синихъ очкахъ. Отъ него потребовали еще больше предосторожности,—чтобы онъ сталъ у бесѣдки и оборотился лицомъ совѣмъ къ забору. Мрачный молодой человѣкъ исполнилъ свою должность съ презрѣніемъ и даже какъ будто ощущалъ нѣкоторое нравственное униженіе. Когда его кликнули, онъ ничего не могъ угадать, обошелъ всѣхъ и выслушалъ, что ему говорили по два раза, долго и мрачно соображалъ, но ничего не выходило. Его пристыдили. Пословица была:

„За Богомъ молитва, а за царемъ служба не пропадаютъ“.

— И пословица-то мерзость! съ негодованіемъ проговорилъ уязвленный юноша, ретируясь на свое мѣсто.

— Ахъ, какъ скучно! слышались голоса.

Пошелъ Вельчаниновъ; его спрятали еще дальше всѣхъ; онъ тоже не угадалъ.

— Ахъ, какъ скучно! слышалось еще больше голосовъ.

— Ну, теперь я пойду, сказала Надя.

— Нѣтъ, нѣтъ, теперь Павелъ Павловичъ пойдетъ, очередь Павлу Павловичу, закричали всѣ и оживились немножко.

Павла Павловича отвели къ самому забору, въ уголь, и поставили туда лицомъ, а чтобы онъ не оглянулся, приставили за нимъ смотрѣть рыженькую. Павелъ Павловичъ, уже ободрившійся и почти снова развеселившійся, намѣренъ былъ свято исполнить свой долгъ и стоялъ какъ пень, смотря на заборъ и не смѣя обернуться. Рыженькая сторожила его въ двадцати шагахъ позади, ближе къ обществу, у бесѣдки, и о чемъ-то перемигивалась въ волненіи съ дѣвцами; видно было, что и всѣ чего-то ожидали съ нѣкоторымъ даже безпокойствомъ; что-то готовилось. Вдругъ рыженькая замахала изъ-за бесѣдки руками. Мигомъ всѣ вскочили и бросились бѣжать куда-то сломя голову.

— Вѣгите, бѣгите и вы! шептали Вельчанинову десять голосовъ чуть не въ ужасѣ отъ того, что онъ не бѣжитъ.

— Чтò такое? Чтò случилось? спрашивалъ онъ, поспѣвая за всѣми.

— Тише, не кричите! Пусть онъ тамъ стоитъ и смотреть на заборъ, а мы всѣ убѣжимъ. Вотъ и Настя бѣжитъ.

Рыженькая (Настя) бѣжала сломя голову, точно Богъ знаетъ что случилось, и махала руками. Прибѣжали, наконецъ, всѣ за прудъ, совсѣмъ на другой конецъ сада. Когда дошелъ сюда и Вельчаниновъ, то увидѣлъ, что Катерина Ѳедосѣевна сильно спорила со всѣми дѣвками и особенно съ Надей и съ Марьей Никитичной.

— Катя, голубчикъ, не сердись! цѣловала ее Надя.

— Ну, хорошо, я мамашѣ не скажу, но сама уйду, потому что это очень не хорошо. Что онъ, бѣдный, долженъ тамъ у забора почувствовать.

Она ушла—изъ жалости, но всѣ остальные пребыли неумолимы и безжалостны попрежнему. Отъ Вельчанинова строго потребовали, чтобы и онъ, когда воротится Павелъ Павловичъ, не обращалъ на него никакого вниманія, какъ будто ничего и не случилось.

— А мы всѣ давайте играть въ горѣлки! прокричала въ упоеніи рыженькая.

Павелъ Павловичъ присоединился къ обществу, по крайней мѣрѣ, только черезъ четверть часа. Двѣ трети этого времени онъ навѣрно простоялъ у забора. Горѣлки были въ полномъ ходу и удались отлично,—всѣ кричали и веселились. Обезумѣвъ отъ ярости, Павелъ Павловичъ прямо подскочилъ къ Вельчанинову и опять схватилъ его за рукавъ.

— На одну минуточку-съ!

— О, Господи, что онъ все съ своими минуточками!

— Опять платокъ просить, прокричали имъ вслѣдъ.

— Ну, ужъ этотъ разъ это вы-съ; тутъ ужъ теперь вы-съ, вы причиной-съ!..

Павелъ Павловичъ даже стучалъ зубами, выговаривая это.

Вельчаниновъ прервалъ его и мирно посовѣтовалъ ему быть веселѣе, а то его совсѣмъ задразнять: „оттого васъ и дразнять, что вы злитесь, когда всѣмъ весело“. Къ его удивленію, слова и совѣтъ ужасно поразили Павла Павловича; онъ тотчасъ притихъ, до того даже, что воротился къ обществу, какъ виноватый, и покорно принялъ участіе въ общихъ играхъ; затѣмъ его нѣсколько времени не беспокоили и играли съ нимъ, какъ со всѣми,—и не прошло получаса, какъ онъ опять почти что развеселился. Во всѣхъ играхъ онъ ангажировалъ себѣ въ пару, когда надо было, преимущественно измѣнницу рыженькую или одну изъ сестеръ Захлебниныхъ. Но, къ еще пущему

своему удивленію, Вельчаниновъ замѣтилъ, что Павелъ Павловичъ ни разу почти не осмѣлился самъ заговорить съ Надей, хотя непрерывно юлилъ подлѣ или невдалекѣ отъ нея; по крайней мѣрѣ, свое положеніе непримѣчаемаго и презираемаго ею онъ принималъ какъ бы такъ и должное, натуральное. Но подъ конецъ съ нимъ все-таки опять сыграли шутку.

Игра была „прятаться“. Спрятавшійся могъ, впрочемъ, перебѣгать по всему тому мѣсту, гдѣ позволено было ему спрятаться. Павлу Павловичу, которому удалось схоронить себя, влѣзши въ густой кустъ, вдругъ вздумалось, перебѣгая, вскочить въ домъ. Раздались крики, его увидѣли; онъ по лѣстницѣ поспѣшно улизнулъ въ антресоли, зная тамъ одно мѣстечко за комодомъ, гдѣ хотѣлъ притаиться. Но рыженькая взлетѣла вслѣдъ за нимъ, подкралась на цыпочкахъ къ двери и защелкнула ее на замокъ. Всѣ тотчасъ, какъ давеча, перестали играть и опять убѣжали за прудъ, на другой конецъ сада. Минуть черезъ десять, Павелъ Павловичъ, почувствовавъ, что его никто не ищетъ, выглянулъ изъ окошка. Никого не было. Кричать онъ не смѣлъ, чтобы не разбудить родителей; горничной и служанкѣ дано было строгое приказаніе не являться и не отзываться на зовъ Павла Павловича. Могла бы отпереть ему Катерина Федосѣвна, но она, возвратясь въ свою комнатку и сѣвъ помечтать, неожиданно тоже заснула. Онъ просидѣлъ такимъ образомъ около часу. Наконецъ, стали появляться, какъ бы невзначай, проходя по двѣ и по три, дѣвицы.

— Павелъ Павловичъ, что вы къ намъ не идете? Ахъ, какъ тамъ весело! Мы въ театрѣ играемъ. Алексѣй Ивановичъ „молодого человѣка“ представлялъ.

— Павелъ Павловичъ, что же вы неидете, на васъ нужно дивиться! замѣчали проходившія другія дѣвицы.

— Чему опять дивиться? раздался вдругъ голосъ т-те Захлебниной, только-что проснувшейся и рѣшившейся, наконецъ, пройтись по саду и взглянуть на „дѣтскія“ игры въ ожиданіи чаю.

— Да вотъ Павелъ Павловичъ, указали ей на окно, въ которое выглядывало, искаженно улыбаясь, поблѣднѣвшее отъ злости лицо Павла Павловича.

— И охота человѣку сидѣть одному, когда всѣмъ такъ весело! покачала головою мать семейства.

Тѣмъ временемъ Вельчаниновъ удостоился, наконецъ,

получить отъ Нади объясненіе ея давешнихъ словъ о томъ, что она „рада его пріѣзду по одному случаю“. Объясненіе произошло въ уединенной аллеѣ. Марья Никитична нарочно вызвала Вельчанинова, участвовавшаго въ какихъ-то играхъ и уже начинавшаго сильно тосковать, и привела его въ эту аллею, гдѣ и оставила его одного съ Надей.

— Я совершенно убѣдилась, затрещала она смѣлой и быстрой скороговоркой, — что вы вовсе не такой другъ Павла Павловича, какъ онъ о васъ нахвасталъ. Я рассчитала, что только вы одинъ можете оказать мнѣ одну чрезвычайно важную услугу; вотъ его давешній скверный браслетъ, — вынула она футляръ изъ карманка, — я васъ покорнѣйше буду просить возвратить ему немедленно, потому что сама я ни за что и никогда не заговорю съ нимъ теперь во всю жизнь. Впрочемъ, можете сказать ему, что отъ моего имени, и прибавьте, чтобъ онъ не смѣлъ впередъ соваться съ подарками. Объ остальномъ я уже дамъ ему знать черезъ другихъ. Угодно вамъ сдѣлать мнѣ удовольствие, исполнить мое желаніе?

— Ахъ, ради Бога, избавьте! почти вскричалъ Вельчаниновъ, замахавъ руками.

— Какъ! Какъ избавьте? неимовѣрно удивилась Надя его отказу, и вытаращила на него глаза.

Весь подготовленный тонъ ея порвался въ одинъ мигъ, и она чуть ужъ не плакала. Вельчаниновъ разсмѣялся.

— Я не то чтобы... я очень бы радъ... но у меня съ нимъ свои счеты...

— Я знала, что вы ему не другъ и что онъ налгалъ! пылко и скоро перебила его Надя. — Я никогда не выйду за него замужъ, знайте это! Никогда! Я не понимаю даже, какъ онъ осмѣлился... Только вы все-таки должны передать ему его гадкій браслетъ, а то какъ же мнѣ быть? Я непремѣнно, непремѣнно хочу, чтобъ онъ сегодня же, въ тотъ же день, получилъ обратно и грибъ съѣлъ. А если онъ нафискалитъ папашѣ, то увидитъ, какъ ему достанется.

Изъ-за куста вдругъ и совсѣмъ неожиданно выскочилъ взъерошенный молодой человекъ въ синихъ очкахъ.

— Вы должны передать браслетъ, неистово накинулся онъ на Вельчанинова, — уже во имя однихъ только правъ женщины, если вы сами стоите на высотѣ вопроса.

Но онъ не успѣлъ докончить; Надя рванула его



изо всей силы за рукавъ и оттащила отъ Вельчанинова.

— Господи, какъ вы глупы, Предпосыловъ! закричала она.—Ступайте вонъ! Ступайте вонъ, ступайте вонъ и не смѣйте подслушивать, я вамъ приказала далеко стоять!.. затопала она на него ножками, и когда уже тотъ удизнуль опять въ свои кусты, она все-таки продолжала ходить поперекъ дорожки, какъ бы внѣ себя, взадъ и впередъ, сверкая глазками и сложивъ передъ собою обѣ руки ладошками.

— Вы не повѣрите, какъ они глупы! остановилась она вдругъ передъ Вельчаниновымъ. — Вамъ вотъ смѣшно, а мнѣ-то каково!

— Это вѣдь не *онъ*, не *онъ*? смѣялся Вельчаниновъ.

— Разумѣется, не *онъ*, и какъ только вы могли это подумать! улыбнулась и покраснѣлась Надя.—Это только его другъ. Но какихъ онъ выбираетъ друзей, я не понимаю; они всѣ тамъ говорятъ, что это „будущій двигатель“, а я ничего не понимаю... Алексѣй Ивановичъ, мнѣ не къ кому обратиться; послѣднее слово: отдадите вы или нѣтъ?

— Ну, хорошо, отдамъ, давайте.

— Ахъ вы милый, ахъ вы добрый! обрадовалась вдругъ она, передавая ему футляръ.—Я вамъ за это цѣлый вечеръ пѣть буду, потому что я прекрасно пою; знайте это, а я давеча нагала, что музыки не люблю. Ахъ, кабы вы еще хоть разочекъ приѣхали, какъ бы я была рада, я бы вамъ все, все, все рассказала, и много бы кромѣ того, потому что вы такой добрый, такой добрый, какъ—какъ Катя!

И дѣйствительно, когда воротились домой къ чаю, она ему спѣла два романса, голосомъ совсѣмъ еще необработаннымъ и только что начинавшимся, но довольно приятнымъ и съ силой. Павелъ Павловичъ, когда всѣ воротились изъ саду, солидно сидѣлъ съ родителями за чайнымъ столомъ, на которомъ уже кипѣлъ большой семейный самоваръ и разставлены были фамильныя чайныя чашки севрскаго фарфора. Вѣроятно, онъ разсуждалъ со стариками о весьма серьезныхъ вещахъ, такъ какъ послѣзавтра онъ уѣзжалъ на цѣлые девять мѣсяцевъ. На вошедшихъ изъ сада, и преимущественно на Вельчанинова, онъ даже и не поглядѣлъ; очевидно было тоже, что онъ не „нафискалил“, и что все покамѣстъ было спокойно.

Но когда Надя стала пѣть, явился тотчасъ и онъ.

Надя нарочно не отвѣтила на одинъ его прямой вопросъ, но Павла Павловича это не смутило и не поколебало; онъ сталъ за спинкой ея стула, и весь видъ его показывалъ, что это его мѣсто и что онъ его никому не уступитъ.

— Алексѣю Ивановичу пѣтъ, шамап, Алексѣй Ивановичъ хочетъ спѣть! закричали почти всѣ дѣвицы, тѣснясь къ роялю, за который самоувѣренно усаживался Вельчаниновъ, располагаясь самъ себѣ аккомпанировать. Вышли и старики, и Катерина Федосѣевна, сидѣвшая съ ними и разливавшая чай.

Вельчаниновъ выбралъ одинъ, почти никому теперь неизвѣстный романсъ Глинки:

Когда, въ часъ веселый, откроешь ты губки  
И мнѣ заворкуешь пѣжиѣ голубки..“

Отъ спѣлъ его, обращаясь къ одной только Надѣ, стоявшей у самаго его локтя и всѣхъ къ нему ближе. Голосу у него давно уже не было, но видно было по остаткамъ, что прежде былъ не дурной. Этотъ романсъ Вельчанинову удалось слышать въ первый разъ лѣтъ двадцать передъ этимъ, когда онъ былъ еще студентомъ, отъ самаго Глинки, въ домѣ одного пріятеля покойнаго композитора, на литературно-артистической холостой вечеринкѣ. Расходившійся Глинка сыгралъ и спѣлъ всѣ свои любимыя вещи изъ своихъ сочиненій, въ томъ числѣ этотъ романсъ. У него тоже не оставалось тогда голосу, но Вельчаниновъ помнилъ чрезвычайное впечатлѣніе, произведенное тогда именно этимъ романсомъ. Какой-нибудь искусникъ, салонный пѣвецъ никогда бы не достигъ такого эффекта. Въ этомъ романсѣ напряженіе страсти идетъ, возвышаясь и увеличиваясь съ каждымъ стихомъ, съ каждымъ словомъ; именно отъ силы этого необычнаго напряженія, малѣйшая фальшь, малѣйшая утрировка и неправда,—которыя такъ легко сходятъ съ рукъ въ оперѣ,—тутъ погубили и исказили бы весь смыслъ. Чтобы пропѣть эту маленькую, но необыкновенную вещицу,—нужна была непременно—правда, непременно настоящее, полное вдохновеніе, настоящая страсть или полное поэтическое ея усвоеніе. Иначе романсъ не только совсѣмъ бы не удался, но могъ даже показаться безобразнымъ и чуть-ли не какимъ-то безстыднымъ: невозможно было бы выказать такую силу напряженія страстнаго чувства, не возбудивъ отвращенія, а правда и *простодушіе* спасали все. Вельчаниновъ помнилъ, что этотъ романсъ ему и самому когда-

то удавался. Онъ почти усвоилъ манеру пѣнія Глинки; но теперь, съ перваго же звука, съ перваго стиха и настоящее вдохновеніе зажглось въ его душѣ и дрогнуло въ голосѣ. Съ каждымъ словомъ романса все сильнѣй и смѣлѣе прорывалось и обнажалось чувство, въ послѣднихъ стихахъ послышались крики страсти, и когда онъ допѣлъ, сверкающимъ взглядомъ обращаясь къ Надѣ, послѣднія слова романса:

Теперь я смѣлѣе гляжу тебѣ въ очи,  
Уста приближаю и слушать нѣтъ мочи,  
Хочу цѣловать, цѣловать, цѣловать!  
Хочу цѣловать, цѣловать, цѣловать!“

то Надя вздрогнула почти отъ испуга, даже капельку отшатнулась назадъ; румянецъ залилъ ей щеки и въ то же мгновеніе какъ бы что-то отзывчивое промелькнуло Вельчанинову въ застыдившемся и почти оробѣвшемъ ея личикѣ. Очарованіе, а въ то же время и недоумѣніе проглядывали и на лицахъ всѣхъ слушательницъ: всѣмъ какъ бы казалось, что невозможно и стыдно такъ пѣть, а въ то же время всѣ эти личики и глазки горѣли и сверкали и какъ будто ждали и еще чего-то. Особенно между этими лицами промелькнуло передъ Вельчаниновымъ лицо Катерины Ѳедосѣевны, сдѣлавшееся чуть не прекраснымъ.

— Ну, романсъ! пробормоталъ нѣсколько опѣшенный старикъ Захлебининъ, — но... не слишкомъ-ли сильно? Пріятно, но сильно...

— Сильно... отозвалась было и m-me Захлебенина, но Павелъ Павловичъ ей не далъ докончить: онъ вдругъ вскочилъ впередъ и, какъ помѣшанный, забывшись до того, что самъ своей рукой схватилъ за руку Надю и отвелъ ее отъ Вельчанинова, подскочилъ къ нему и потерянно смотрѣлъ на него, шевеля трясущимися губами.

— На одну минутку-съ, едва выговорилъ онъ, наконецъ.

Вельчаниновъ ясно видѣлъ, что еще минута—и этотъ господинъ можетъ рѣшиться на что-нибудь въ десять разъ еще нелѣпѣе; онъ взялъ его поскорѣе за руку и, не обращая вниманія на всеобщее недоумѣніе, вывелъ на балконъ и даже сошелъ съ нимъ нѣсколько шаговъ въ садъ, въ которомъ уже почти совсѣмъ стемнѣло.

— Понимаете-ли, что вы должны сейчасъ же, сію же минуту со мною уѣхать! проговорилъ Павелъ Павловичъ.

— Нѣтъ, не понимаю...

— Помните-ли, продолжалъ Павелъ Павловичъ своимъ

изступленнымъ шопотомъ,—помните, какъ вы потребовали отъ меня тогда, чтобы я сказалъ вамъ все, *все-съ*, откровенно-съ, „самое послѣднее слово...“ помните-ли-съ? Ну, такъ пришло время сказать это слово-съ... поѣдемте-съ!

Вельчаниновъ подумалъ, взглянулъ еще разъ на Павла Павловича и согласился уѣхать.

Внезапно возвѣщенный ихъ отъѣздъ взволновалъ родителей и возмутилъ всѣхъ дѣвицъ ужасно.

— Хотя бы по другой чашкѣ чаю... жалобно простонала м-ше Захлебенина.

— Ну, ужъ, ты, чего взволновался? съ строгимъ и недовольнымъ тономъ обратился старикъ къ ухмылявшемуся и отмалчивавшемуся Павлу Павловичу.

— Павелъ Павловичъ, зачѣмъ вы увозите Алексѣя Ивановича? жалобно заворковали дѣвицы, въ то же время ожесточенно на него посматривая.

Надя же такъ злобно на него поглядѣла, что онъ весь pokrивился, но—не сдался.

— А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, Павелъ Павловичъ—спасибо ему—напомнилъ мнѣ о чрезвычайно важномъ дѣлѣ, которое я могъ упустить, смѣялся Вельчаниновъ, пожимая руку хозяину, откланиваясь хозяйкѣ и дѣвицамъ и какъ бы особенно передъ всѣми ими Катеринѣ Ѳедосѣевнѣ, что было опять всѣми замѣчено.

— Мы вамъ благодарны за посѣщеніе и вамъ всегда рады: всѣ, вѣско заключилъ Захлебенинъ.

— Ахъ, мы такъ рады... съ чувствомъ подхватила мать семейства.

— Приѣзжайте, Алексѣй Ивановичъ, приѣзжайте! слышались многочисленные голоса съ балкона, когда онъ уже уѣлся съ Павломъ Павловичемъ въ коляску; чуть-ли не было одного голоска, проговорившаго потише другихъ: „приѣзжайте, милый, милый Алексѣй Ивановичъ!“

„Это рыженькая!“ подумалъ Вельчаниновъ.

### XIII.

#### На чьемъ краю больше.

Онъ могъ подумать о рыженькой, а между тѣмъ досада и раскаяніе давно уже томили его душу. Да и во весь этотъ день, казалось бы, такъ забавно проведенный, тоска почти не оставляла его. Передъ тѣмъ, какъ пѣть романсъ, онъ уже не зналъ, куда отъ нея дѣваться; можетъ, оттого и пропѣлъ съ такимъ увлеченіемъ.

„И я могъ такъ унизиться... оторваться отъ всего“, началъ было онъ упрекать себя, но поспѣшно прервалъ свои мысли. Да и унижительно показалось ему плакаться; гораздо пріятнѣе было на кого-нибудь поскорѣй разсердиться.

„Дур-ракъ!“ злобно прошепталъ онъ, нажившись на сидѣвшаго съ нимъ рядомъ въ коляскѣ и примолкшаго Павла Павловича.

Павель Павловичъ упорно молчалъ, можетъ-быть, сосредоточиваясь и приготовляясь. Съ нетерпѣливымъ жестомъ снималъ онъ иногда съ себя шляпу и вытиралъ себѣ лобъ платкомъ.

„Потѣеть!“ злобился Вельчаниновъ.

Однажды только Павель Павловичъ отнесся съ вопросомъ къ кучеру: будетъ гроза или нѣтъ?

— И-и какая! Непремѣнно будетъ; весь день парило.

Дѣйствительно, небо темнѣло и вспыхивали отдаленныя молніи. Въ городъ вѣхали уже въ половинѣ одиннадцатаго.

— Я вѣдь къ вамъ-съ, предупредительно обратился Павель Павловичъ къ Вельчанинову, уже неподалеку отъ дома.

— Понимаю; но я васъ увѣдомляю, что чувствую себя серьезно нездоровымъ.

— Не засижусь, не засижусь!

Когда стали входить въ ворота, Павель Павловичъ забѣжалъ на минутку въ дворницкую къ Маврѣ.

— Чего вы туда забѣгали? строго спросилъ Вельчаниновъ, когда тотъ догналъ его и вошли въ комнаты.

— Ничего-съ, такъ-съ... извозчикъ-съ...

— Я вамъ пить не дамъ!

Отвѣта не послѣдовало. Вельчаниновъ зажегъ свѣчи, а Павель Павловичъ тотчасъ же усѣлся въ кресло. Вельчаниновъ нахмуренно остановился передъ нимъ.

— Я вамъ тоже обѣщалъ сказать и мое „последнее“ слово, началъ онъ съ внутреннимъ, еще подавляемымъ раздраженіемъ.—Вотъ оно, это слово: считаю по совѣсти, что всѣ дѣла между нами обоюднo покончены, такъ что намъ не о чемъ даже и говорить, слышите—не о чемъ; а потому не лучше-ли вамъ сейчасъ уйти, а я за вами дверь запру.

— Поквитаемтесь, Алексѣй Ивановичъ! проговорилъ Павель Павловичъ, но какъ-то особенно кротко смотря ему въ глаза.

— По-кви-таемтесь! удивился ужасно Вельчаниновъ.— Странное слово вы выговорили! Въ чемъ же „покви-таемтесь?“ Ба! Да это ужъ не то-ли ваше „послѣднее слово“, которое вы мнѣ давеча обѣщали... открыть?

— Оно самое-съ.

— Не въ чемъ намъ болѣе сквитываться, мы—давно сквитались! гордо произнесъ Вельчаниновъ.

— Неужели вы такъ думаете-съ? проникнутымъ голо-сомъ проговорилъ Павелъ Павловичъ, какъ-то странно сложивъ передъ собою руки, пальцы въ пальцы, и держа ихъ передъ грудью.

Вельчаниновъ не отвѣтилъ ему и пошелъ шагать по комнатѣ. „Лиза! Лиза!“ стонало въ его сердцѣ.

— А, впрочемъ, чѣмъ же вы хотѣли сквитаться? нахмуренно обратился онъ къ нему послѣ довольно продолжительнаго молчанія.

Тотъ все это время провожалъ его по комнатѣ глазами, держа передъ собою попрежнему сложенные руки.

— Не ѣздите туда болѣе-съ, почти прошепталъ онъ умоляющимъ голосомъ, и вдругъ всталъ со стула.

— Какъ! Такъ вы только про это?—Вельчаниновъ злобно разсмѣялся.—Однакожь, дивили вы меня цѣлый день сегодня! началъ было онъ ядовито, но вдругъ все лицо его измѣнилось.— Слушайте меня, грустно и съ глубокимъ, откровеннымъ чувствомъ проговорилъ онъ,—я считаю, что никогда и ничѣмъ я не унижалъ себя такъ, какъ сегодня,—во-первыхъ, согласившись ѣхать съ вами и потомъ—тѣмъ, что было тамъ... Это было такъ мелочно, такъ жалко... я опоганилъ и оподлилъ себя, связавшись... и позабылъ... Ну, да что! спохватился онъ вдругъ.—Слушайте, вы напали на меня сегодня невзначай, на раздраженнаго и больнаго... ну, да нечего оправдываться! Туда я болѣе не поѣду и, увѣряю васъ, что не имѣю никакихъ тамъ интересовъ, заключилъ онъ рѣшительно.

— Неужели, неужели? не скрывая своего радостнаго волненія вскричалъ Павелъ Павловичъ.

Вельчаниновъ съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на него и опять пошелъ расхаживать по комнатѣ.

— Вы, кажется, во что бы то ни стало рѣшились быть счастливымъ? не утерпѣлъ онъ, наконецъ, не замѣтить.

— Да-съ, тихо и наивно подтвердилъ Павелъ Павловичъ.

„Что мнѣ въ томъ, думалъ Вельчаниновъ,—что онъ шутъ

и золь только по глупости? Я его все-таки не могу не ненавидѣть, хотя бы онъ и не стоилъ того!“

— Я—„вѣчный мужъ-сь!“ проговорилъ Павелъ Павловичъ съ приниженно-покорною усмѣшкой надъ самимъ собой.—Я это словечко давно уже зналъ отъ васъ, Алексѣй Ивановичъ, еще когда вы жили съ нами тамъ-сь. Я много вашихъ словъ тогда запомнилъ, въ тотъ годъ. Въ прошлый разъ, когда вы сказали здѣсь: „вѣчный мужъ“, я и сообразилъ-сь.

Мавра вошла съ бутылкой шампанскаго и съ двумя стаканами.

— Простите, Алексѣй Ивановичъ, вы знаете, что безъ этого я не могу-сь. Не сочтите за дерзость, посмотрите какъ на посторонняго и васъ нестоящаго-сь.

— Да... съ отвращеніемъ позволилъ Вельчаниновъ, — но увѣряю васъ, что я чувствую себя нездоровымъ...

— Скоро... скоро... сейчасъ, въ одну минуту! захлопotalъ Павелъ Павловичъ, — всего одинъ только стаканчикъ, потому что горло...

Онъ съ жадностью и залпомъ выпилъ стаканъ и сѣлъ, чуть не съ нѣжностью посматривая на Вельчанинова.

Мавра ушла.

— Экая мерзость! шепталъ Вельчаниновъ.

— Это только подружки-сь, бодро проговорилъ вдругъ Павелъ Павловичъ, совершенно оживившись.

— Какъ? Чтò? Ахъ, да, вы все про то...

— Только подружки-сь! И притомъ такъ еще молодо; изъ граціозности куражимся, вотъ-сь! Даже прелестно. А тамъ—тамъ вы знаете: рабомъ ея стану; увидить почетъ, общество... совершенно перевоспитается-сь.

„Однакожъ ему надо браслетъ отдать!“ нахмурился Вельчаниновъ, ощупывая футляръ въ карманѣ своего пальто.

— Вы вотъ говорите-сь, что вотъ я рѣшился быть счастливымъ? Мнѣ надо жениться, Алексѣй Ивановичъ, конфиденціально и почти трогательно продолжалъ Павелъ Павловичъ, — иначе чтò же изъ меня выйдетъ? Сами видите-сь!—указалъ онъ на бутылку, — а это лишь одна сотая — качествъ-сь. Я совсѣмъ не могу безъ женитьбы-сь и—безъ новой вѣры-сь; увѣрю и воскресну-сь.

— Да мнѣ-то для чего вы это сообщаете? чуть не фыркнулъ со смѣха Вельчаниновъ.

Дико, впрочемъ, все это казалось ему.

— Да скажите же мнѣ, наконецъ, вскричалъ онъ,—для

чего вы меня туда таскали? Я-то на что вамъ тамъ надобился?

— Чтобы испытать-сь... какъ-то вдругъ смутился Павелъ Павловичъ.

— Что испытать?

— Эффектъ-сь... Я, вотъ видите-ли, Алексѣй Ивановичъ, всего только недѣлю какъ... тамъ ищу-сь (онъ конфузился все болѣе и болѣе). Вчера встрѣтилъ васъ и подумалъ: „я вѣдь никогда еще ее не видалъ въ постороннемъ, такъ сказать, обществѣ-сь, то-есть въ мужскомъ-сь, кромѣ моего-сь“... Глупая мысль-сь, самъ теперь чувствую; излишняя-сь. Слишкомъ ужъ захотѣлось-сь, отъ сквернаго моего характера-сь...

Онъ вдругъ поднялъ голову и покраснѣлъ.

„Неужели онъ всю правду говоритъ?“ дивился Вельчаниновъ до столбняка.

— Ну и что-жь? спросилъ онъ.

Павелъ Павловичъ сладко и какъ-то хитро улыбнулся.

— Одно лишь прелестное дѣтство-сь! Все подружки-сь! Простите меня только за мое глупое поведеніе сегодня передъ вами, Алексѣй Ивановичъ; никогда не буду-сь; да и болѣе никогда этого не будетъ.

— Да и меня тамъ не будетъ, усмѣхнулся Вельчаниновъ.

— Я отчасти на этотъ счетъ и говорю-сь.

Вельчаниновъ немножко покоробился.

— Однакожь, вѣдь не одинъ я на свѣтѣ, раздражительно замѣтилъ онъ.

Павелъ Павловичъ опять покраснѣлъ.

— Мнѣ это грустно слышать, Алексѣй Ивановичъ, и я такъ, повѣрьте, уважаю Надежду Ѳедосѣевну...

— Извините, извините, я ничего не хотѣлъ,—мнѣ вотъ только странно немного, что вы такъ преувеличенно оцѣнили мои средства... и... такъ искренно на меня понадѣялись...

— Именно потому и понадѣялся-сь, что это было послѣ всего-сь... что уже было-сь.

— Стало-быть, вы и теперь считаете меня, коли такъ, за благороднѣйшаго человѣка? остановился вдругъ Вельчаниновъ.

Онъ бы самъ, въ другую минуту, ужаснулся наивности своего внезапнаго вопроса.

— Всегда и считалъ-сь, опустилъ глаза Павелъ Павловичъ.



— Ну, да, разумѣется... я не про то, то-есть не въ томъ смыслѣ, — я хотѣлъ только сказать, что, несмотря ни на какія... предубѣжденія-сь!

— Да-сь, несмотря и на предубѣжденія-сь.

— А когда въ Петербургъ ѣхали? не могъ уже сдержаться Вельчаниновъ, самъ чувствуя всю чудовищность своего любопытства.

— И когда въ Петербургъ ѣхалъ, за наиблагороднѣйшаго человѣка считалъ васъ-сь. Я всегда уважалъ васъ, Алексѣй Ивановичъ.

Павелъ Павловичъ поднялъ глаза и ясно, уже нисколько не конфузясь, глядѣлъ на своего противника. Вельчаниновъ вдругъ струсиль: ему рѣшительно не хотѣлось, чтобы что-нибудь случилось, или чтобы что-нибудь перешло за черту, тѣмъ болѣе, что самъ вызвалъ.

— Я васъ любилъ, Алексѣй Ивановичъ, произнесъ Павелъ Павловичъ, какъ бы вдругъ рѣшившись, — и весь тотъ годъ въ Т. любилъ-сь. Вы не замѣтили-сь, продолжалъ онъ немного вздрагивавшимъ голосомъ, къ рѣшительному ужасу Вельчанинова, — я стоялъ слишкомъ мелко въ сравненіи съ вами-сь, чтобы дать вамъ замѣтить. Да и не нужно, можетъ-быть, было-сь. И во всѣ эти девять лѣтъ я о васъ запомнилъ-сь, потому что я такого года не зналъ въ моей жизни, какъ тотъ. (Глаза Павла Павловича какъ-то особенно заблестали). Я многія ваши слова и изреченія запомнилъ-сь, ваши мысли-сь. Я о васъ, какъ о пылкомъ къ доброму чувству и образованномъ человѣкѣ всегда вспоминалъ-сь, высокообразованномъ-сь и съ мыслями-сь. „Великія мысли происходятъ не столько отъ великаго ума, сколько отъ великаго чувства-сь“, — вы сами это сказали, можетъ, забыли, а я запомнилъ-сь. Я на васъ всегда какъ на человѣка съ великимъ чувствомъ, стало-быть, и разчитывалъ-сь... а, стало-быть, и вѣрилъ-сь — несмотря ни на что-сь...

Подбородокъ его вдругъ затрясся. Вельчаниновъ былъ въ совершенномъ испугѣ; этотъ неожиданный тонъ надо было прекратить во что бы ни стало.

— Довольно, пожалуйста, Павелъ Павловичъ, пробормоталъ онъ, краснѣя и въ раздраженномъ петерѣвнѣи, — и зачѣмъ, зачѣмъ, вскричалъ онъ вдругъ, — зачѣмъ привязываетесь вы къ больному, раздраженному человѣку, чуть не въ бреду человѣку, и тащите его въ эту тьму... тогда какъ... тогда какъ — все призракъ и миражъ, и ложь,

и стыдъ, и неестественность, и—не въ мѣру,—а это главное, это всего стыднѣе, что не въ мѣру! И все вздоръ: оба мы порочные, подпольные, гадкіе люди... И хотите, хотите я сейчасъ докажу вамъ, что вы меня не только не любите, а ненавидите, изо всѣхъ силъ, и что вы лжете, сами не зная того: вы взяли меня и повезли туда вовсе не для смѣшной этой цѣли, чтобы невѣсту испытать (придетъ же въ голову!), а просто увидѣли меня вчера и *озлились* и повезли меня, чтобы мнѣ показать и сказать: „видишь какая! Моя будетъ; ну-ка, попробуй тутъ теперь!“ Вы вызовъ мнѣ сдѣлали! Вы, можетъ-быть, сами не знали, а это было такъ, потому что вы все это чувствовали... А безъ ненависти такого вызова сдѣлать нельзя; стало-быть, вы меня ненавидѣли!

Онъ бѣгалъ по комнатѣ, выкрикивая это, и всего болѣе мучило и обижало его унижительное сознание, что онъ самъ до такой степени снисходитъ до Павла Павловича.

— Я помириться съ вами желалъ, Алексѣй Ивановичъ! вдругъ рѣшительно произнесъ тотъ скорымъ шопотомъ, и подбородокъ его снова запрыгалъ.

Неистовая ярость овладѣла Вельчаниновымъ, какъ будто никогда и никто еще не наносилъ ему подобной обиды!

— Говорю же вамъ еще разъ, завопилъ онъ, — что вы на больного и раздраженнаго человѣка... повисли, чтобы вырвать у него какое-нибудь несбыточное слово, въ бреду! Мы... да, мы люди разныхъ міровъ, поймите же это, и... и... между нами одна могила легла! неистово прошептала онъ, и вдругъ опомнился...

— А почему вы знаете, исказилось вдругъ и поблѣднѣло лицо Павла Павловича,—почему вы знаете, что значитъ эта могила здѣсь... у меня-съ! вскричалъ онъ, подступая къ Вельчанинову, и съ смѣшнымъ, но ужаснымъ жестомъ ударяя себя кулакомъ въ сердце.— Я знаю эту здѣшнюю могилку-съ, и мы оба по краямъ этой могилы стоимъ, только на моемъ краю больше, чѣмъ на вашемъ, больше-съ... шептала онъ какъ въ бреду, все продолжая себя бить въ сердце,—больше-съ, больше-съ, больше-съ...

Вдругъ необыкновенный ударъ въ дверной колокольчикъ заставилъ очнуться обоихъ. Позволили такъ сильно, что, казалось, кто-то далъ себѣ слово сорвать съ перваго удара звонокъ.

— Ко мнѣ такъ не звонять, въ замѣшательствѣ проговорилъ Вельчаниновъ.

— Да вѣдь и не ко мнѣ же-съ, робко прошепталъ Павелъ Павловичъ, тоже очнувшійся и мигомъ обратившійся въ прежняго Павла Павловича.

Вельчаниновъ нахмурился и пошелъ отворить дверь.

— Господинъ Вельчаниновъ, если не ошибаюсь? послышался молодой, звонкій и необыкновенно самоувѣренный голосъ изъ передней.

— Чего вамъ?

— Я имѣю точное свѣдѣніе, продолжалъ звонкій голосъ,—что нѣкто Трусоцкій находится въ настоящую минуту у васъ. Я долженъ непременно его сейчасъ видѣть.

Вельчанинову, конечно, было бы пріятно сейчасъ же выпихнуть хорошимъ пинкомъ этого самоувѣреннаго господина на лѣстницу. Но онъ подумалъ, посторонился и пропустилъ его:

— Вотъ господинъ Трусоцкій, войдите...

#### XIV.

#### Сашеньна и Наденьна.

Въ комнату вошелъ очень молодой человекъ, лѣтъ девятнадцати, даже, можетъ-быть, и нѣсколько менѣе,—такъ ужъ молодежаво казалось его красивое, самоувѣренно вздернутое лицо. Онъ былъ недурно одѣтъ, по крайней мѣрѣ, все на немъ хорошо сидѣло; ростомъ повыше средняго; черные, густые, разбитые космами волосы и большіе, смѣлые, темные глаза особенно выдавались въ его физиономіи. Только носъ былъ немного широкъ и вздернутъ кверху; не будь этого, былъ бы совсѣмъ красавчикъ. Вошелъ онъ важно.

— Я, кажется, имѣю случай говорить съ господиномъ Трусоцкимъ, произнесъ онъ размѣренно и съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣчая слово „случай“, — то-есть тѣмъ давая знать, что никакой чести и никакого удовольствія въ разговорѣ съ господиномъ Трусоцкимъ для него быть не можетъ.

Вельчаниновъ начиналъ понимать; кажется, и Павлу Павловичу что-то уже мерещилось. Въ лицѣ его выразилось безпокойство; онъ, впрочемъ, себя поддержалъ.

— Не имѣя чести васъ знать, осанисто отвѣчалъ онъ,—полагаю, что не могу имѣть съ вами и никакого дѣла-съ.

— Вы сперва выслушаете, а потомъ уже скажете ваше мнѣніе, самоувѣренно и назидательно произнесъ молодой

человѣкъ и, вынувъ черепаховый лорнетъ, висѣвшій у него на шнуркѣ, сталъ разглядывать въ него бутылку шампанскаго, стоявшую на столѣ.—Спокойно кончивъ осмотръ бутылки, онъ сложилъ лорнетъ и, обращаясь снова къ Павлу Павловичу, произнесъ:

— Александръ Любовь.

— А что такое это Александръ Любовь-съ?

— Это я. Не слышали?

— Нѣтъ-съ

— Впрочемъ, гдѣ же вамъ знать. Я съ важнымъ дѣломъ, собственно до васъ касающимся; позвольте однакожь сѣсть, я усталъ...

— Садитесь, пригласилъ Вельчаниновъ, но молодой челоѣкъ успѣлъ усѣсться еще и до приглашенія.

Несмотря на возраставшую боль въ груди, Вельчаниновъ интересовался этимъ маленькимъ нахаломъ. Въ хорошенькомъ, дѣтскомъ и румяномъ его личикѣ померещилось ему какое-то отдаленное сходство съ Надей.

— Садитесь и вы, предложилъ юноша Павлу Павловичу, указывая ему небрежнымъ кивкомъ головы мѣсто напротивъ.

— Ничего-съ, постою.

— Устанете. Вы, господинъ Вельчаниновъ, можете, пожалуйста и не уходить.

— Мнѣ и некуда уходить, я у себя.

— Какъ хотите. Я, признаюсь, даже желаю, чтобы вы присутствовали при моемъ объясненіи съ этимъ господиномъ. Надежда Ѳедосѣевна довольно лестно васъ мнѣ отрекомендовала.

— Ба! Когда это она успѣла?

— Да сейчасъ послѣ васъ же, я вѣдь тоже оттуда. Вотъ что, господинъ Трусоскій, повернулся онъ къ стоявшему Павлу Павловичу,—мы, то-есть я и Надежда Ѳедосѣевна, цѣдилъ онъ сквозь зубы, небрежно разваливаясь въ креслахъ,—давно уже любимъ другъ друга и дали другъ другу слово. Вы теперь между нами помѣха; я пришелъ вамъ предложить, чтобы вы счистили мѣсто. Угодно вамъ будетъ согласиться на мое предложеніе?

Павель Павловичъ даже покачнулся; онъ поблѣднѣлъ, но ехидная улыбка тотчасъ же выдавилась на его губахъ.

— Нѣтъ-съ, нимало не угодно-съ, отрѣзалъ онъ лаконически.

— Вотъ какъ! повернулся въ креслахъ юноша, заломивъ нога за ногу.

— Даже не знаю, съ кѣмъ и говорю-сь, прибавилъ Павелъ Павловичъ,—думаю даже, что не о чемъ намъ и продолжать.

Высказавъ это, онъ тоже нашелъ нужнымъ присѣсть.

— Я сказалъ, что устанете, небрежно замѣтилъ юноша.—Я имѣлъ сейчасъ случай извѣстить васъ, что мое имя Любовь, и что я и Надежда Ѳедосѣевна, мы дали другъ другу слово,—слѣдовательно вы не можете говорить, какъ сейчасъ сказали, что не знаете съ кѣмъ имѣете дѣло; не можете тоже думать, что намъ не о чемъ съ вами продолжать разговоръ: не говоря уже обо мнѣ,—дѣло касается Надежды Ѳедосѣевны, къ которой вы такъ нагло пристааете. А ужъ одно это составляетъ достаточную причину для объясненій.

Все это онъ профѣдилъ сквозь зубы, какъ фать, чуть-чуть даже удостоивая выговаривать слова; даже опять вынулъ лорнетъ и на минутку на что-то направилъ его, пока говорилъ.

— Позвольте, молодой человѣкъ!.. раздражительно воскликнулъ было Павелъ Павловичъ; но „молодой человѣкъ“ тотчасъ же осадилъ его.

— Во всякое другое время я конечно бы запретилъ вамъ называть меня „молодымъ человѣкомъ“, но теперь, сами согласитесь, что моя молодость есть мое главное передъ вами преимущество и что вамъ и очень бы хотѣлось, напримѣръ сегодня, когда вы дарили вашъ браслетъ, быть при этомъ хоть капельку помоложе.

„Ахъ ты пискаръ!“ прошепталъ Вельчаниновъ.

— Во всякомъ случаѣ, милостивый государь, съ достоинствомъ поправился Павелъ Павловичъ,—я все-таки не захожу выставленныхъ вами причинъ,—причинъ неприличныхъ и весьма сомнительныхъ,—достаточными, чтобы продолжать о нихъ преніе-сь. Вижу, что все это дѣло дѣтское и пустое; завтра же справлюсь у почтеннѣйшаго Ѳедосѣя Семеновича, а теперь прошу васъ уволить-сь.

— Видите-ли вы складъ этого человѣка! вскричалъ тотчасъ же, не выдержавъ тона, юноша, горячо обращаясь къ Вельчанинову.—Мало того, что его оттуда гонять, выставляя ему языкъ,—онъ еще хочетъ завтра на насъ доносить старику! Не доказываете-ли вы этимъ, упрямый человѣкъ, что вы хотите взять дѣвушку насильно, покупаете ее у выжившихъ изъ ума людей, которые вслѣдствіе общественнаго варварства сохраняютъ надъ нею

власть? Вѣдь ужъ достаточно, кажется, она показала вамъ, что васъ презираетъ; вѣдь вамъ возвратили же вашъ сегоднѣшній неприличный подарокъ, вашъ браслетъ? Чего же вамъ больше?

— Никакого браслета никто мнѣ не возвращалъ, да и не можетъ этого быть! вздрогнулъ Павелъ Павловичъ.

— Какъ не можетъ? Развѣ господинъ Вельчаниновъ вамъ не передалъ?

„Ахъ чортъ бы тебя взялъ!“ подумалъ Вельчаниновъ.

— Мнѣ дѣйствительно, проговорилъ онъ, хмурясь,— Надежда Ѳедосѣвна поручила давеча передать вамъ, Павелъ Павловичъ, этотъ футляръ. Я не бралъ, но она—просила... вотъ онъ... мнѣ досадно...

Онъ вынулъ футляръ и положилъ его въ смущеніи передъ оцѣпенѣвшимъ Павломъ Павловичемъ.

— Почему же вы до сихъ поръ не передали? строго обратился молодой человѣкъ къ Вельчанинову.

— Не успѣлъ, стало-быть, нахмурился тотъ.

— Это странно.

— Что-о-о?

— Ужъ по крайней мѣрѣ странно, согласитесь сами. Впрочемъ, я согласенъ признать, что тутъ—недоразумѣніе.

Вельчанинову ужасно захотѣлось сейчасъ же встать и выдрать мальчишку за уши, но онъ не могъ удержаться и вдругъ фыркнулъ на него отъ смѣха; мальчикъ тотчасъ же и самъ засмѣялся. Не то было съ Павломъ Павловичемъ; если бы Вельчаниновъ могъ замѣтить его ужасный взглядъ на себѣ, когда онъ расхохотался надъ Лобовымъ,—то онъ понялъ бы, что этотъ человѣкъ въ это мгновеніе переходитъ за одну роковую черту... Но Вельчаниновъ хотя взгляда и не видалъ, но понялъ, что надо поддержать Павла Павловича.

— Послушайте, господинъ Лобовъ, началъ онъ дружественнымъ тономъ,—не входя въ разсужденіе о прочихъ причинахъ, которыхъ я не хочу касаться, я бы замѣтилъ вамъ только то, что Павелъ Павловичъ все-таки приноситъ съ собою, сватался къ Надеждѣ Ѳедосѣвнѣ,—во-первыхъ, полную о себѣ извѣстность въ этомъ почтенномъ семействѣ; во-вторыхъ, отличное и почтенное свое положеніе, наконецъ, состояніе, а слѣдовательно онъ естественно долженъ удивляться, смотря на такого соперника, какъ вы,—человѣка, можетъ-быть, и съ большими достоинствами, но до того уже молодого, что васъ онъ никакъ не можетъ

принять за соперника серьезнаго... а потому и правъ, прося васъ окончить.

— Что это такое значить: „до того молодого?“ Мнѣ ужъ мѣсяць какъ минуло девятнадцать лѣтъ. По закону я давно могу жениться. Вотъ вамъ и все.

— Но какой же отецъ рѣшится отдать за васъ свою дочь теперь—будь вы хоть размилліонеръ въ будущемъ, или тамъ какой-нибудь будущій благодѣтель человѣчества? Человѣкъ девятнадцати лѣтъ даже и за себя самого отвѣчать не можетъ, а вы рѣшаетесь еще брать на совѣсть чужую будущность, то-есть будущность такого же ребенка какъ вы! Вѣдь это не совсѣмъ то же благородно, какъ вы думаете? Я позволилъ себѣ высказать потому, что вы сами давеча обратились ко мнѣ, какъ къ посреднику между вами и Павломъ Павловичемъ.

— Ахъ, да, кстати, вѣдь его зовутъ Павломъ Павловичемъ! замѣтилъ юноша,—какъ же это мнѣ все мерещилось, что Васильемъ Петровичемъ? Вотъ что-съ, обратился онъ къ Вельчанинову,—вы меня не удивили нисколько; я зналъ, что вы всѣ такіе! Странно однакожь, что о васъ мнѣ говорили, какъ о человѣкѣ даже нѣсколько новомъ. Впрочемъ, это все пустяки, а дѣло въ томъ, что тутъ не только нѣтъ ничего неблагороднаго съ моей стороны, какъ вы позволили себѣ выразиться, но даже совершенно напротивъ, что и надѣюсь вамъ растолковать: мы, во-первыхъ, дали другъ другу слово и, кромѣ того, я прямо ей общался, при двухъ свидѣтеляхъ, въ томъ, что если она когда полюбитъ другого, или просто раскается, что за меня вышла и захочетъ со мной развестись, то я тотчасъ же выдаю ей актъ въ моемъ прелюбодѣяніи,—и тѣмъ поддержку, стало-быть, гдѣ слѣдуетъ, ея просьбу о разводѣ. Мало того: въ случаѣ, если бы я впослѣдствіи захотѣлъ на попятный дворъ и отказался бы выдать этотъ актъ, то для обезпеченія, въ самый день нашей свадьбы, я выдамъ ей вексель въ сто тысячъ рублей на себя, такъ что въ случаѣ моего упорства насчетъ выдачи акта, она сейчасъ же можетъ передать мой вексель—и меня подъ сюркупъ! Такимъ образомъ все обезпечено и ничьей будущностью я не рискую. Ну-съ, это во-первыхъ.

— Бьюсь объ закладъ, что это тотъ, какъ его, Предпосыловъ вамъ выдумаль! вскричалъ Вельчаниновъ.

— Хи-хи-хи! ядовито захихикалъ Павелъ Павловичъ.

— Чего этотъ господинъ хихикаетъ? Вы угадали,—это

мысль Предпосылова; я, согласитесь, что хитро. Нелѣпный законъ совершенно парализированъ. Разумѣется, я намѣренъ любить ее всегда, а она ужасно хохочетъ,—но вѣдь все-таки ловко и, согласитесь, что ужь благородно, что такъ не всякій рѣшится сдѣлать?

— По-моему, не только не благородно, но даже гадко. Молодой человекъ вскинулъ плечами.

— Опять-таки вы меня не удивляете, замѣтилъ онъ послѣ этого нѣкотораго молчанія,— все это слишкомъ давно перестало меня удивлять. Предпосыловъ, такъ тотъ прямо бы вамъ отрѣзалъ, что подобное ваше непониманіе вещей самыхъ естественныхъ происходитъ отъ извращенія самыхъ обыкновенныхъ чувствъ и понятій вашихъ,— во-первыхъ, долгою нелѣпою жизнью, а во-вторыхъ, долгою праздношью. Впрочемъ, мы, можетъ-быть, еще не понимаемъ другъ друга; мнѣ все-таки о васъ говорили хорошо... Лѣтъ пятьдесятъ вамъ однако уже есть?

— Перейдите пожалуйста къ дѣлу.

— Извините за нескромность и не досадуйте; я безъ намѣренія. Продолжаю: я вовсе не будущій размиліонеръ, какъ вы изволили выразиться (и что у васъ за идея была!). Я весь тутъ, какъ видите, но зато въ будущности моей я совершенно увѣренъ. Героемъ и благодѣтелемъ ничѣмъ не буду, а себя и жену обезпечу. Конечно, у меня теперь ничего нѣтъ, я даже воспитывался въ ихъ домѣ, съ самаго дѣтства...

— Какъ такъ?

— А такъ, что я сынъ одного отдаленнаго родственника жены этого Захлебнина, и когда всѣ мои померли и оставили меня восьми лѣтъ, то старикъ меня взялъ къ себѣ и потомъ отдалъ въ гимназію. Этотъ человекъ даже добрый, если хотите знать...

— Я это знаю-съ.

— Да; но слишкомъ ужь древняя голова. Впрочемъ, добрый. Теперь, конечно, я давно уже вышелъ изъ-подъ его опеки, желая самъ зарабатывать жизнь и быть одному себѣ обязаннымъ.

— Когда вы вышли? полюбопытствовалъ Вельчаниновъ.

— Да ужь мѣсяца съ четыре будетъ.

— А, ну, такъ это все теперь и понятно: друзья съ дѣтства! Что же, вы мѣсто имѣете?

— Да, частное, въ конторѣ одного нотариуса, на двадцати пяти въ мѣсяць. Конечно, только покамѣсть, но



когда я дѣлалъ тамъ предложеніе, то и того не имѣлъ. Я тогда служилъ на желѣзной дорогѣ, на десяти рубляхъ, но все это только покамѣстъ.

— А развѣ вы дѣлали и предложеніе?

— Формальное предложеніе, и давно уже, недѣли съ три.

— Ну, и что-жь?

— Старикъ очень разсмѣялся, а потомъ очень разсердился, а ее такъ заперли наверху въ антресоляхъ. Но Надя геройски выдержала. Впрочемъ, вся неудача была оттого, что онъ еще прежде на меня зубъ точилъ за то, что я въ департаментѣ мѣсто бросилъ, куда онъ меня опредѣлилъ четыре мѣсяца назадъ, еще до желѣзной дороги. Онъ старикъ славный, я опять повторю, дома простой и веселый, но чуть въ департаментѣ, вы и представить не можете! Это Юпитеръ какой-то сидитъ! Я, естественно, далъ ему знать, что его манеры мнѣ перестаютъ нравиться, но тутъ главное все вышло изъ-за помощника столоначальника: этотъ господинъ вздумалъ жаловаться, что я будто бы ему „нагрубилъ“, а я ему всего только и сказалъ, что онъ неразвитъ. Я бросилъ ихъ всѣхъ, и теперь у нотариуса.

— А въ департаментѣ много получали?

— Э, сверхштатнымъ! Старикъ же и давалъ на содержаніе,—я говорю вамъ, онъ добрый, но мы все-таки не уступимъ. Конечно, двадцать пять рублей не обезпеченіе, но я въ скорости надѣюсь принять участіе въ управленіи разстроеными имѣніями графа Завилейскаго, тогда прямо на три тысячи; не то въ присяжные повѣренные. Нынче людей ищутъ... Ба! Какой громъ, гроза будетъ; хорошо, что я до грозы успѣлъ; я вѣдь пѣшкомъ оттуда, почти все бѣжалъ.

— Но, позвольте, когда же вы успѣли, коли такъ, переговорить съ Надеждой Федосѣвной, если, къ тому же, васъ и не принимаютъ.

— Ахъ, да вѣдь черезъ заборъ можно! Рыженькую-то замѣтили давеча? засмѣялся онъ. — Ну, вотъ и она тутъ хлопочетъ, и Марья Никитична; только змѣя эта Марья Никитична!.. Чего морщитесь? Не боитесь-ли грому?

— Нѣтъ, я нездоровъ, очень нездоровъ...

Вельчаниновъ, дѣйствительно, мучался отъ своей вне-

запной боли въ груди, привсталъ съ кресла и попробовалъ походить по комнатѣ.

— Ахъ, такъ я вамъ, разумѣется, мѣшаю... Не беспокойтесь, сейчасъ!

И юноша вскочилъ съ мѣста.

— Не мѣшаете, ничего, поделикатничаль Вельчаниновъ.

— Какое ничего, „когда у Кобыльникова животъ болитъ“... помните у Щедрина? Вы любите Щедрина?

— Да.

— И я тоже. Ну-съ, Василій... ахъ, да, бишь, Павелъ Павловичъ, кончимте-съ! почти смѣясь обратился онъ къ Павлу Павловичу.—Формулирую для вашего пониманія еще разъ вопросъ: согласны-ли вы завтра же отказаться официально, передъ стариками, и въ моемъ присутствіи, отъ всякихъ претензій вашихъ насчетъ Надежды Федосѣвны.

— Не согласенъ ни мало-съ, съ нетерпѣливымъ и ожесточеннымъ видомъ поднялся съ мѣста и Павелъ Павловичъ,—и къ тому же еще разъ прошу меня избавить-съ... потому что все это дѣтство, и глупости-съ.

— Смотрите, погрозилъ ему пальцемъ юноша съ высококомѣрной улыбкой,—не ошибитесь въ расчетѣ! Знаете-ли, къ чему ведетъ подобная ошибка въ расчетѣ? А я такъ предупреждаю васъ, что черезъ девять мѣсяцевъ, когда вы уже тамъ израсходуетесь, измучаетесь и сюда воротитесь, вы здѣсь сами отъ Надежды Федосѣвны принуждены будете отказаться, а не откажетесь, такъ вамъ же хуже будетъ; вотъ до чего вы дѣло доведете! Я васъ долженъ предупредить, что вы теперь, какъ собака на снѣгѣ,—извините, это только сравненіе,—ни себѣ, ни другимъ. По гуманности повторяю: размыслите, принудьте себя хоть разъ въ жизни основательно размыслить.

— Прошу васъ избавить меня отъ морали! яростно вскричалъ Павелъ Павловичъ,—а насчетъ вашихъ скверныхъ намековъ, я завтра же приму свои мѣры-съ, строгія мѣры-съ!

— Скверныхъ намековъ? Да вы про что-жь это? Сами вы скверный, если это у васъ въ головѣ. Впрочемъ, я согласенъ подождать до завтра, но если... Ахъ, опять этотъ громъ! До свиданья, очень радъ знакомству, кивнулъ онъ Вельчанинову и побѣжалъ, видимо спѣша предупредить грозу и не попасть подъ дождь.

XV.

Сквитались.

— Видѣли-съ? Видѣли-съ? подскочилъ Павелъ Павловичъ къ Вельчанинову, едва только вышелъ юноша.

— Да, не везетъ вамъ! невзначай проговорился Вельчаниновъ.

Онъ бы не сказалъ этихъ словъ, если-бъ не мучила и злила его такъ эта возрастающая боль въ груди. Павелъ Павловичъ вздрогнулъ какъ отъ обжога.

— Ну-съ, а вы-съ, знать меня жалѣючи, браслета не возвращали—хе?

— Я не успѣлъ...

— Отъ сердца жалѣючи, какъ истинный другъ истиннаго друга?

— Ну, да, жалѣлъ, озлобился Вельчаниновъ.

Онъ однакоже разсказалъ ему вкратцѣ о томъ, какъ получилъ давеча браслетъ обратно, и какъ Надежда Федосѣевна почти насильно заставила его принять участие...

— Понимаете, что я ни за что бы не взялъ; столько и безъ того неприятностей!

— Увлеклись и взяли-съ! прохихикалъ Павелъ Павловичъ.

— Глупо это съ вашей стороны; впрочемъ, васъ извинить надо. Сами вѣдь видѣли сейчасъ, что не я въ дѣлѣ главный, а другіе!

— Все-таки увлеклись-съ.

Павелъ Павловичъ сѣлъ и налилъ свой стаканъ.

— Вы полагаете, что я мальчишкѣ-то уступлю-съ? Въ бараній рогъ согну, вотъ что-съ! Завтра же поѣду и все согну. Мы душою этотъ выкуримъ, изъ дѣтской-то-съ...

Онъ выпилъ почти залпомъ стаканъ и налилъ еще; вообще сталъ дѣйствовать съ необычной до сихъ поръ развязностью.

— Ишь, Наденька съ Сашенькой, милыя дѣточки, — хи-хи-хи!

Онъ не помнилъ себя отъ злости. Раздался опять сильнѣйшій ударъ грома, ослѣпительно свернула молнія, и дождь пролился какъ изъ ведра. Павелъ Павловичъ всталъ и заперъ отворенное окно.

— Давеча онъ васъ спрашиваетъ: „не боитесь-ли грому?“ — хи-хи! Вельчаниновъ грому боится! У Кобыльни-

кова—какъ это—у Кобыльникова... А про пятьдесятъ-то лѣтъ, а? Помните-съ? ехидничалъ Павелъ Павловичъ.

— Вы однакоже здѣсь расположились! замѣтилъ Вельчаниновъ, едва выговаривая отъ боли слова. — Я лягу... вы какъ хотите.

— Да и собаку въ такую погоду не выгонять! обидчиво подхватилъ Павелъ Павловичъ, впрочемъ, почти радуясь, что имѣеть право обидѣться.

— Ну, да, сидите, пейте... хоть почувите! промямлилъ Вельчаниновъ, протянулся на диванѣ и слегка застоналъ.

— Ночевать-съ? А вы не побойтесь-съ?

— Чего? приподнялъ вдругъ голову Вельчаниновъ.

— Ничего-съ, такъ-съ. Въ прошлый разъ вы какъ бы испугались-съ, али мнѣ только померещилось...

— Вы глупы! не выдержалъ Вельчаниновъ и злобно повернулся къ стѣнѣ.

— Ничего-съ, отозвался Павелъ Павловичъ.

Больной какъ-то вдругъ заснулъ, черезъ минуту какъ легъ. Все неестественное напряженіе его въ этотъ день и безъ того уже при сильномъ разстройствѣ здоровья за послѣднее время какъ-то вдругъ порвалось и онъ обезси-лѣлъ какъ ребенокъ. Но боль взяла-таки свое и побѣдила усталость и сонъ; черезъ часъ онъ проснулся и съ страданіемъ приподнялся съ дивана. Гроза утихла; въ комнатѣ было накурено, бутылка стояла пустая, а Павелъ Павловичъ спалъ на другомъ диванѣ. Онъ лежалъ на-взничъ, головой на диванной подушкѣ, совсѣмъ не раздѣтый и въ сапогахъ. Его давешній лорнетъ, выскользнувъ изъ кармана, тянулся на шнуркѣ чуть не до полу. Шляпа валялась подлѣ, на полу же. Вельчаниновъ угрюмо поглядѣлъ на него и не сталъ будить. Скрючившись и шагая по комнатѣ, потому что лежать силъ уже не было, онъ стоналъ и раздумывалъ о своей боли.

Онъ боялся этой боли въ груди, и не безъ причины. Припадки эти зародились въ немъ уже давно, но посѣщали его очень рѣдко — черезъ годъ, черезъ два. Онъ зналъ, что это отъ печени. Сначала какъ бы скоплялось въ какой-нибудь точкѣ груди, подъ ложечкой или выше, еще тупое, не сильное, но раздражающее вдавленіе. Непрестанно увеличиваясь въ продолженіе иногда десяти часовъ сряду, боль доходила, наконецъ, до такой силы, давленіе становилось до того невыносимымъ, что больному начинала мерещиться смерть. Въ послѣдній, бывшій съ

нимъ назадъ тому съ годъ припадокъ, послѣ десятичасовой и, наконецъ, унявшейся боли, онъ до того вдругъ обезсилѣлъ, что, лежа въ постели, едва могъ двигать рукой, и докторъ позволилъ ему въ цѣлый день всего только нѣсколько чайныхъ ложекъ слабаго чаю и щепоточку размоченнаго въ бульонѣ хлѣба, какъ грудному ребенку. Появлялась эта боль отъ разныхъ случайностей, но всегда при разстроенныхъ уже прежде нервахъ. Странно тоже и проходила: иногда случалось захватывать ее въ самомъ началѣ, въ первые полчаса, простыми припарками, и все проходило разомъ; иногда же, какъ въ послѣдній припадокъ, ничто не помогало, и боль унялась отъ многочисленныхъ и постепенныхъ приѣмовъ рвотнаго. Докторъ признался потомъ, что былъ увѣренъ въ отравѣ. Теперь до утра еще было далеко, за докторомъ ему не хотѣлось посылать ночью; да и не любилъ онъ докторовъ. Наконецъ, онъ не выдержалъ и сталъ громко стонать. Стоны разбудили Павла Павловича; онъ приподнялся на диванѣ и нѣкоторое время сидѣлъ, прислушиваясь со страхомъ и въ недоумѣніи слѣдя глазами за Вельчаниновымъ, чуть не бѣгавшимъ по обѣимъ комнатамъ. Выпитая бутылка, видно тоже не по-всегдашнему, сильно на него подѣйствовала, и долго онъ не могъ сообразиться; наконецъ, понялъ и бросился къ Вельчанинову; тотъ что-то промямлилъ ему въ отвѣтъ.

— Это у васъ отъ печени-съ, я это знаю! оживился вдругъ ужасно Павелъ Павловичъ. — Это у Петра Кузьмича у Полосухина-съ точно такъ же бывало, отъ печени-съ. Это припарками бы-съ. Петръ Кузьмичъ всегда припарками... Умереть вѣдь можно-съ! Собѣгаю-ка я къ Маврѣ, а?

— Не надо, не надо! раздражительно отмахивался Вельчаниновъ. — Ничего не надо.

Но Павелъ Павловичъ, Богъ знаетъ почему, былъ почти внѣ себя, какъ будто дѣло шло о спасеніи родного сына. Онъ не слушался и изо всѣхъ силъ настаивалъ на необходимости припарокъ и, сверхъ того, двухъ-трехъ чашекъ слабаго чаю, выпитыхъ вдругъ, — „но не просто горячихъ-съ, а кипятку-съ!“. Онъ побѣждалъ-таки къ Маврѣ, не дождавшись позволенія, вмѣстѣ съ нею разложилъ въ кухнѣ, всегда стоявшей пустою, огонь, вздулъ самоваръ; тѣмъ временемъ успѣлъ и уложить больного, снялъ съ него верхнее платье, укуталъ въ одѣяло, и всего въ ка-

кихъ-нибудь двадцать минутъ состряпаль и чай, и первую припарку.

— Это грѣтыя тарелки-сь, раскаленные-сь! говорилъ онъ чуть не въ восторгѣ, накладывая разгоряченную и обернутую въ салфетку тарелку на большую грудь Вельчанинова.— Другихъ припарокъ нѣтъ-сь, и доставать долго-сь, а тарелки, честью клянусь вамъ-сь, даже и всего лучше будутъ-сь: испытано на Петрѣ Кузьмичѣ-сь, собственными глазами и руками-сь. Умереть вѣдь можно-сь. Пейте чай, глотайте; нужды нѣтъ, что обожжетесь; жизнь дороже... шегольства-сь.

Онъ затормошилъ совсѣмъ полусонную Мавру; тарелки перемѣнялись каждыя три-четыре минуты. Послѣ третьей тарелки и второй чашки чаю-кипятка, выпитаго залпомъ, Вельчаниновъ вдругъ почувствовалъ облегченіе.

— А ужъ если разъ пошатнули боль, то и слава Богу-сь, и добрый знакъ-сь! вскричалъ Павелъ Павловичъ и радостно побѣждалъ за новой тарелкой и за новымъ чаемъ.

— Только бы боль-то сломить! Боль-то бы намъ только назадъ повернуть! повторялъ онъ поминутно.

Черезъ полчаса боль совсѣмъ ослабѣла, но больной былъ уже до того измученъ, что, какъ ни умолялъ Павелъ Павловичъ, не согласился выдержать „еще тарелочку-сь“. Глаза его смыкались отъ слабости.

— Спать, спать, повторялъ онъ слабымъ голосомъ.

— И то! согласился Павелъ Павловичъ.

— Вы ночуйте... Который часъ?

— Скоро два, безъ четверти-сь.

— Ночуйте.

— Ночую, ночую.

Черезъ минуту больной опять кликнулъ Павла Павловича.

— Вы, вы, пробормоталъ онъ, когда тотъ побѣждалъ и наклонился надъ нимъ,—вы лучше меня! Я понимаю все, все... благодарю.

— Спите, спите, прошепталъ Павелъ Павловичъ и поскорѣй, на цыпочкахъ, отправился къ своему дивану.

Больной, засыпая, слышалъ еще, какъ Павелъ Павловичъ потихоньку стлалъ себѣ на-скоро постель, снималъ съ себя платье и, наконецъ, загасивъ свѣчи и чуть дыша, чтобъ не зашумѣть, протянулся на своемъ диванѣ.

Безъ сомнѣнія, Вельчаниновъ спалъ и заснулъ очень скоро послѣ того, какъ потушили свѣчи; онъ ясно при-

помнилъ это потомъ. Но во все время своего сна, до самой той минуты, когда онъ проснулся, онъ видѣлъ во снѣ, что онъ не спалъ, и что будто бы никакъ не можетъ заснуть, несмотря на всю свою слабость. Наконецъ, приснилось ему, что съ нимъ будто бы начинается бредъ наяву, и что онъ никакъ не можетъ разогнать толпящихся около него видѣній, несмотря на полное сознание, что это одинъ только бредъ, а не дѣйствительность. Видѣнія все были знакомыя; комната его была будто бы вся наполнена людьми, а дверь въ сѣни стояла отпертою; люди входили толпами и тѣснились на лѣстницѣ. За столомъ, выставленнымъ на середину комнаты, сидѣлъ одинъ человѣкъ — точь-въ-точь какъ тогда, въ приснившемся ему съ мѣсяцъ назадъ такомъ же снѣ. Какъ и тогда, этотъ человѣкъ сидѣлъ облокотясь на столъ и не хотѣлъ говорить; но теперь онъ былъ въ круглой шляпѣ съ крепомъ. „Какъ? Неужели это былъ и тогда Павелъ Павловичъ?“ подумалъ Вельчаниновъ, но, заглянувъ въ лицо молчавшаго человѣка, онъ убѣдился, что этотъ кто-то совсѣмъ другой. „Зачѣмъ же у него крепъ?“ недоумѣвалъ Вельчаниновъ. Шумъ, говоръ и крикъ людей, тѣснившихся у стола, были ужасны. Казалось, эти люди еще сильнѣе были озлоблены на Вельчанинова, чѣмъ тогда въ томъ снѣ; они грозили ему руками и о чемъ-то изо всѣхъ силъ кричали ему, но о чемъ именно — онъ никакъ не могъ разобрать. „Да вѣдь это бредъ, вѣдь я знаю! думалось ему, — я знаю, что я не могъ заснуть и всталъ теперь, потому что не могъ лежать отъ тоски!“ Но однакоже крики и люди, и жесты ихъ, и все — было такъ явственно, такъ дѣйствительно, что иногда его брало сомнѣние: „Неужели же это и въ самомъ дѣлѣ бредъ? Чего хотятъ отъ меня эти люди, Боже мой? Но... если-бъ это былъ не бредъ, то возможно ли, чтобъ такой крикъ не разбудилъ до сихъ поръ Павла Павловича? Вѣдь вотъ онъ спитъ же, вотъ тутъ на диванѣ!“ Наконецъ, вдругъ что-то случилось, опять какъ и тогда въ томъ снѣ; всѣ устремились на лѣстницу и ужасно стѣснились въ дверяхъ, потому что съ лѣстницы валила въ комнату новая толпа. Эти люди что-то съ собой несли, что-то большое и тяжелое; слышно было, какъ тяжело отдавались шаги носильщиковъ по ступенькамъ лѣстницы и торопливо переключались ихъ запыхавшіеся голоса. Въ комнатѣ всѣ закричали: „Несутъ, несутъ!“, всѣ глаза засверкали и устремились на Вельчанинова; всѣ, гроз и

торжествуя, указывали ему на лѣстницу. Уже нисколько не сомнѣваясь болѣе въ томъ, что все это не бредъ, а правда, онъ сталъ на цыпочки, чтобъ разглядѣть поскорѣе, черезъ головы людей, — что они такое несутъ? Сердце его билось-билось-билось и вдругъ, точь-въ-точь какъ тогда въ томъ снѣ, раздались три сильнѣйшіе удара въ колокольчикъ. И опять-таки это былъ до того ясный, до того дѣйствительный до осязанія звонъ, что ужъ, конечно, такой звонъ не могъ присниться только во снѣ!.. Онъ закричалъ и проснулся.

Но онъ не бросился, какъ тогда, бѣжать къ дверямъ. Какая мысль направила его первое движеніе, и была-ли у него въ то мгновеніе хоть какая-нибудь мысль, — но какъ будто кто-то подсказалъ ему, что надо дѣлать: онъ схватился съ постели, бросился съ простертыми впередъ руками, какъ бы обороняясь и останавливая нападеніе, прямо въ ту сторону, гдѣ спалъ Павелъ Павловичъ. Руки его разомъ столкнулись съ другими, уже распростертыми надъ нимъ руками, и онъ крѣпко схватилъ ихъ; кто-то, стало-быть, уже стоялъ надъ нимъ, нагнувшись. Гардины были спущены, но было не совершенно темно, потому что изъ другой комнаты, въ которой не было такихъ гардинъ, уже проходилъ слабый свѣтъ. Вдругъ что-то ужасно больно обрѣзало ему ладонь и пальцы лѣвой руки, и онъ мгновенно понялъ, что схватился за лезвие ножа или бритвы и крѣпко сжалъ его рукой... Въ тотъ же мигъ что-то вѣско и однозвучно шлепнулось на полъ.

Вельчаниновъ былъ, можетъ-быть, вдвое сильнѣе Павла Павловича, но борьба между ними продолжалась долго, минуты три полныхъ. Онъ скоро пригнулъ его къ полу и вывернулъ ему назадъ руки, но для чего-то ему непремѣнно захотѣлось связать эти вывернутыя назадъ руки. Онъ сталъ искать ошупью, правой рукой, придерживая раненой лѣвой убійцу, шнура съ оконной занавѣски и долго не могъ найти, но, наконецъ, захватилъ и сорвалъ съ окна. Самъ онъ удивлялся потомъ неестественной силѣ, которая для того потребовалась. Во всѣ эти три минуты, ни тотъ, ни другой не проговорили ни слова; только слышно было ихъ тяжелое дыханіе и глухіе звуки борьбы. Наконецъ, скрутивъ и связавъ Павлу Павловичу руки назадъ, Вельчаниновъ бросилъ его на полу, всталъ, отдернулъ съ окна занавѣску и приподнялъ штору. На уединенной улицѣ было уже свѣтло.



Отворивъ окно, онъ простоялъ нѣсколько мгновений, глубоко вдыхая воздухъ. Былъ уже пятый часъ въ началѣ. Затворивъ окно, онъ торопливо пошелъ къ шкафу, досталъ чистое полотенце и туго-на-туго обвилъ имъ свою лѣвую руку, чтобъ унять текущую изъ нея кровь. Подъ ноги ему попалась развернутая бритва, лежавшая на коврѣ; онъ поднялъ ее, свернулъ, уложилъ въ бритвенный ящикъ, забытый съ утра на маленькомъ столикѣ, подлѣ самаго дивана, на которомъ спалъ Павелъ Павловичъ, и заперъ ящикъ въ бюро на ключъ. И уже исполнивъ все это, онъ подошелъ къ Павлу Павловичу и сталъ его разсматривать.

Тѣмъ временемъ тотъ ужъ успѣлъ привстать съ усиліемъ съ ковра и усѣсться къ кресло. Онъ былъ не одѣтъ, въ одномъ бѣльѣ, даже безъ сапогъ. Рубашка его на спинѣ и на рукавахъ была смочена кровью; но кровь была не его, а изъ порѣзанной руки Вельчанинова. Конечно, это былъ Павелъ Павловичъ, но почти можно было не узнать его, въ первую минуту, если-бъ встрѣтить такого нечаянно,—до того измѣнилась его фізіономія. Онъ сидѣлъ, неловко выпрямляясь въ креслахъ отъ связанныхъ назадъ рукъ, съ искаженнымъ и измученнымъ, позеленѣвшимъ лицомъ, и изрѣдка вздрагивалъ. Пристально, но какимъ-то темнымъ, какъ бы еще не различающимъ всего взглядомъ, посмотрѣлъ онъ на Вельчанинова. Вдругъ онъ тупо улыбнулся и, кивнувъ на графинъ съ водой, стоявшій на столѣ, проговорилъ короткимъ полупотомъ:  
— Водичи бы-съ.

Вельчаниновъ налилъ ему и сталъ его поить изъ своихъ рукъ. Павелъ Павловичъ накинудся съ жадностью на воду; глотнувъ раза три, онъ приподнялъ голову, очень пристально посмотрѣлъ въ лицо стоявшему передъ нимъ со стаканомъ въ рукѣ Вельчанинову, но не сказалъ ничего и принялся допивать. Напившись, онъ глубоко вздохнулъ. Вельчаниновъ взялъ свою подушку, захватилъ свое верхнее платье и отправился въ другую комнату, заперевъ Павла Павловича въ первой комнатѣ на замокъ.

Давешняя его боль прошла совсѣмъ, но слабость онъ вновь ощутилъ чрезвычайную послѣ теперешняго, мгновеннаго напряженія. Богъ знаетъ откуда пришедшей къ нему силы. Онъ попытался было сообразить происшествіе, но мысли его еще плохо взыались; толчокъ былъ слишкомъ силенъ. Глаза его то смыкались, иногда даже ми-

нуть на десять, то вдругъ онъ вздрагивалъ, просыпался, вспоминалъ все, припоминалъ свою болѣвшую и обернутую въ мокрое отъ крови полотенце руку и принимался жадно и лихорадочно думать. Онъ рѣшилъ ясно только одно: что Павелъ Павловичъ дѣйствительно хотѣлъ его зарѣзать, но что, можетъ-быть, еще за четверть часа самъ не зналъ, что зарѣжетъ. Бритвенный ящикъ, можетъ, только съ вечера скользнулъ мимо его глазъ, не возбудивъ никакой при этомъ мысли, и остался лишь у него въ памяти. (Бритвы же и всегда лежали въ бюро, на замкѣ, и только во вчерашнее утро Вельчаниновъ ихъ вынулъ, чтобы подбрить лишніе волосы около усовъ и бакенбардъ, что иногда дѣлывалъ).

„Если-бъ онъ давно уже намѣревался меня убить, то навѣрно бы приготовилъ заранѣе ножъ или пистолеть, а не рассчитывалъ бы на мои бритвы, которыхъ никогда и не видалъ до вчерашняго вечера“, придумалось ему, между прочимъ.

Пробило, наконецъ, шесть часовъ утра; Вельчаниновъ очнулся, одѣлся и пошелъ къ Павлу Павловичу. Отпирая двери, онъ не могъ понять: для чего онъ запираетъ Павла Павловича и зачѣмъ не выпустилъ его тогда же изъ дому? Къ удивленію его, арестантъ былъ уже совсѣмъ одѣтъ; вѣроятно, нашелъ какъ-нибудь случай распутаться. Онъ сидѣлъ въ креслахъ, но тотчасъ же всталъ, какъ вошелъ Вельчаниновъ. Шляпа была уже у него въ рукахъ. Тревожный взглядъ его, какъ бы спѣша, проговорилъ:

„Не начинай говорить; нечего начинать; не зачѣмъ говорить“...

— Ступайте! сказалъ Вельчаниновъ. — Возьмите вашъ футляръ, прибавилъ онъ ему вслѣдъ.

Павелъ Павловичъ воротился уже отъ дверей, захватилъ со стола футляръ съ браслетомъ, сунулъ его въ карманъ и вышелъ на лѣстницу. Вельчаниновъ стоялъ въ дверяхъ, чтобъ запереть за нимъ. Взгляды ихъ въ послѣдній разъ встрѣтились; Павелъ Павловичъ вдругъ приостановился, оба секундъ съ пять поглядѣли другъ другу въ глаза—точно колебались; наконецъ Вельчаниновъ слабо махнулъ на него рукой.

— Ну, ступайте! сказалъ онъ вполголоса и заперъ дверь на замокъ.

## XVI.

## А н а л и з ъ.

Чувство необычайной, огромной радости овладѣло имъ; что-то кончилось, развязалось; какая-то ужасная тоска отошла и разсѣялась совсѣмъ. Такъ ему казалось. Пять недѣль продолжалась она. Онъ поднималъ руку, смотрѣлъ на смоченное кровью полотенце и бормоталъ про себя: „Нѣтъ, уже теперь совершенно все кончилось!“ И во все это утро, въ первый разъ въ эти три недѣли, онъ почти и не подумалъ о Лизѣ,—какъ будто эта кровь, изъ порѣзанныхъ пальцевъ, могла „поквитать“ его даже и съ этой тоской.

Онъ созналъ ясно, что миновалъ страшную опасность. „Эти люди“, думалось ему,—„вотъ эти-то самые люди, которые еще за минуту не знаютъ, зарѣжутъ они или нѣтъ,—ужъ какъ возьмутъ разъ ножъ въ свои дрожащія руки и какъ почувствуютъ первый брызгъ горячей крови на своихъ пальцахъ, то мало того что зарѣжутъ,—голову совсѣмъ отрѣжутъ, „на-прочь“,—какъ выражаются каторжные. Это такъ“.

Онъ не могъ оставаться дома и вышелъ на улицу въ убѣжденіи, что необходимо сейчасъ что-то сдѣлать, или что непременно, сейчасъ, что-то съ нимъ само собой сдѣлается; онъ ходилъ по улицамъ и ждалъ. Ужасно захотѣлось ему съ кѣмъ-нибудь встрѣтиться, съ кѣмъ-нибудь заговорить, хоть съ незнакомымъ, и только это навело его, наконецъ, на мысль о докторѣ и о томъ, что руку надо бы перевязать какъ слѣдуетъ. Докторъ, прежній его знакомый, осмотрѣвъ рану, съ любопытствомъ спросилъ: „какъ это могло случиться?“ Вельчаниновъ отшучивался, хохоталъ и чуть-чуть не рассказалъ всего, но удержался. Докторъ принужденъ былъ пощупать ему пульсъ и, узнавъ о вчерашнемъ припадкѣ ночью, уговорилъ его принять теперь же какого-то, бывшаго подъ рукой, успокоительнаго лѣкарства. Насчетъ порѣза онъ тоже его успокоилъ: „особенно дурныхъ послѣдствій быть не могло“. Вельчаниновъ захохоталъ и сталъ увѣрять его, что уже оказались превосходныя послѣдствія. Неудержимое желаніе рассказать *все* повторилось съ нимъ въ этотъ день еще два, однажды даже съ совсѣмъ незнакомымъ человекомъ, съ которымъ самъ онъ первый завелъ разговоръ

въ кондитерской. Онъ терпѣть не могъ, до сихъ поръ, заводить разговоры съ людьми незнакомыми въ публичныхъ мѣстахъ.

Онъ заходилъ въ магазины, купилъ газету, зашелъ къ своему портному и заказалъ себѣ платьѣ. Мысль посѣтить Погорѣльцевыхъ продолжала быть ему неприятною, и онъ не думалъ о нихъ, да и не могъ онъ ѣхать на дачу: онъ какъ бы все чего-то ожидалъ здѣсь въ городѣ. Обѣдалъ съ наслажденіемъ, заговорилъ съ слугой и съ обѣдавшимъ сосѣдомъ, и выпилъ полбутылки вина. О возможности возвращенія вчерашняго припадка онъ и не думалъ; онъ былъ убѣжденъ, что болѣзнь прошла совершенно въ ту самую минуту, когда онъ, заснувъ вчера въ такомъ безсиліи, черезъ полтора часа вскочилъ съ постели и съ такою силою бросилъ своего убійцу объ полъ. Къ вечеру однакоже голова его стала кружиться и какъ будто что-то похожее на вчерашній бредъ во снѣ стало овладѣвать имъ мгновеніями. Онъ воротился домой уже въ сумерки и почти испугался своей комнаты, войдя въ нее. Страшно и жутко показалось ему въ его квартирѣ. Нѣсколько разъ прошелся онъ по ней и даже зашелъ въ свою кухню, куда никогда почти не заходилъ. „Здѣсь они вчера грѣли тарелки“, подумалось ему. Двери онъ на-крѣпко заперъ, и раньше обыкновеннаго зажегъ свѣчи. Запирая двери, онъ вспомнилъ, что полчаса тому, проходя мимо дворницкой, онъ вызвалъ Мавру и спросилъ ее: „Не заходилъ-ли безъ него Павелъ Павловичъ?“ точно и въ самомъ дѣлѣ тотъ могъ зайти.

Запершись тщательно, онъ отперъ бюро, вынулъ ящикъ съ бритвами и развернулъ „вчерашнюю“ бритву, чтобъ посмотреть на нее. На бѣломъ костяномъ черенкѣ остались чутюшные слѣды крови. Онъ положилъ бритву опять въ ящикъ и опять заперъ его въ бюро. Ему хотѣлось спать; онъ чувствовалъ, что необходимо сейчасъ же лечь— иначе, „онъ на завтра никуда не будетъ годиться“. За-втрашній день представлялся ему почему-то какъ роковой и „окончательный“ день. Но все тѣ же мысли, которыя его и на улицѣ, весь день, ни на мгновеніе не покидали,— толпились и стучали въ его больной головѣ и теперь, неустанно и неотразимо, и онъ все думалъ, думалъ, думалъ, и долго еще ему не пришлось заснуть...

„Если ужъ рѣшено, что онъ сталъ меня рѣзать *нечаянно*, все думалъ и думалъ онъ,—то впадала-ли ему эта

мысль на умъ хоть разъ прежде, хотя бы только въ видѣ мечты въ злобную минуту?“

Онъ рѣшилъ вопросъ странно,—тѣмъ, что „Павель Павловичъ хотѣлъ его убить, но что мысль объ убійствѣ ни разу не впадала будущему убійцѣ на умъ“. Короче: „Павель Павловичъ хотѣлъ убить, но не зналъ, что хочетъ убить. Это бессмысленно, но это такъ“, думалъ Вельчаниновъ.—„Не мѣста искать и не для Багаутова онъ пріѣхалъ сюда—хотя и искалъ здѣсь мѣста и забѣгалъ къ Багаутову, и взбѣсился, когда тотъ померъ;—Багаутова онъ презиралъ какъ щепку. Онъ для меня сюда поѣхалъ и пріѣхалъ съ Лизой...“

„А ожидалъ-ли я самъ, что онъ... зарѣжетъ меня?“ Онъ рѣшилъ, что да, ожидалъ именно съ той самой минуты, какъ увидѣлъ его въ каретѣ, за гробомъ Багаутова, „я чего-то какъ бы сталъ ожидать... но, разумѣется, не этого; разумѣется, не того, что зарѣжетъ!..“

„И неужели, неужели правда была все то, восклицалъ онъ опять, вдругъ подымая голову съ подушки и раскрывая глаза,—все то, что этотъ... сумасшедшій натолковалъ мнѣ вчера о своей ко мнѣ любви, когда задрожалъ у него подбородокъ, и онъ стучалъ въ грудь кулакомъ?“

„Совершенная правда“, рѣшалъ онъ, неустанно углубляясь и анализируя,—„этотъ Квазимодо изъ Т. слишкомъ достаточно былъ глупъ и благороденъ для того, чтобъ влюбиться въ любовника своей жены, въ которой онъ въ двадцать лѣтъ *ничего* не примѣтилъ! Онъ уважалъ меня девять лѣтъ, чтилъ память мою и мои „изреченія“ запомнилъ—Господи, а я-то не вѣдалъ ни о чемъ! Не могъ онъ лгать вчера! Но любилъ-ли онъ меня вчера, когда изъяснялся въ любви и сказалъ: „поквитаемтесь?“ Да, *со злобы* любилъ; эта любовь самая сильная“...

„А вѣдь могло быть, а вѣдь было навѣрно такъ, что я произвелъ на него колоссальное впечатлѣніе въ Т.,—именно колоссальное и „отрадное“, и именно съ такимъ Шиллеромъ, въ образѣ Квазимодо, и могло это произойти! Онъ преувеличилъ меня во сто разъ, потому что я слишкомъ ужъ поразилъ его въ его философскомъ уединеніи... Любопытно бы знать, чѣмъ именно поразилъ? Право, можетъ-быть, свѣжими перчатками и умѣніемъ ихъ надѣвать. Квазимоды любятъ эстетику, ухъ, любятъ! Перчатокъ слишкомъ достаточно для иной благороднѣйшей души, да еще изъ „вѣчныхъ мужей“. Остальное они сами дополняютъ разъ

въ тысячу, и подерутся даже за васъ, если вы того захотите. Средства-то обольщенія мои какъ высоко онъ ставитъ! Можетъ-быть, именно средства обольщенія и поразили его всего болѣе. А крикъ-то его тогда: „Если ужъ и этотъ, такъ въ кого же послѣ этого вѣрить!“ Послѣ этакого крика звѣремъ сдѣлаешься!..“

„Гм! Онъ пріѣхалъ сюда, чтобъ „обняться со мной и заплакать“, какъ онъ самъ подлѣйшимъ образомъ выразился, то-есть онъ ѣхалъ, чтобъ зарѣзать меня, а думалъ, что ѣдетъ „обняться и заплакать“... Онъ и Лизу привезъ. А что: если-бъ я съ нимъ заплакалъ, онъ, можетъ, и въ самомъ бы дѣлѣ простилъ бы меня, потому что ужасно ему хотѣлось простить!.. Все это обратилось, при первомъ столкновеніи, въ пьяное ломаніе и въ карикатуру, и въ гадкое бабье вытье объ обидѣ. (Рога-то, рога-то надъ лбомъ себѣ сдѣлалъ!). Для того и пьяный приходилъ, чтобъ хоть ломался да высказать; не пьяный и онъ бы не смогъ... А любилъ-таки поломаться, ухъ, любилъ! Ухъ, какъ былъ радъ, когда заставилъ поцѣловаться съ собой! Только не зналъ тогда, чѣмъ онъ кончитъ: обнимется или зарѣжетъ? Вышло, конечно, что всего лучше и то, и другое вмѣстѣ. Самое естественное рѣшеніе!—Да-съ, природа не любитъ уродовъ и добиваетъ ихъ „естественными рѣшеніями“. Самый уродливый уродъ—это уродъ съ благородными чувствами; я это по собственному опыту знаю, Павелъ Павловичъ! Природа для урода не нѣжная мать, а мачиха. Природа родитъ урода, да вмѣсто того, чтобъ пожалѣть его, его-жъ и казнить,—да и дѣльно. Объятія и слезы всепрощенія даже и порядочнымъ людямъ, въ нашъ вѣкъ, даромъ съ рукъ не сходятъ, а не то что ужъ такимъ, какъ мы съ вами, Павелъ Павловичъ!“

„Да, онъ былъ достаточно глупъ, чтобъ повезти меня и къ невѣстѣ,—Господи! Невѣста! Только у такого Квазимодо и могла зародиться мысль о „воскресеніи въ новую жизнь“—посредствомъ невинности мадемуазель Захлебниной! Но вы не виноваты, Павелъ Павловичъ, не виноваты: вы—уродъ, а потому и все у васъ должно быть уродливо—и мечты, и надежды ваши. Но хоть и уродъ, а усомнился же въ мечтѣ, почему и потребовалась высокая санкція Вельчанинова, съ благоговѣніемъ уважаемаго. Надо было одобреніе Вельчанинова, подтвержденіе отъ него, что мечта не мечта, а настоящая вещь. Онъ меня изъ благоговѣйнаго уваженія ко мнѣ повезъ и въ благо-

родство чувствъ моихъ вѣруя,—вѣруя, можетъ-быть, что мы тамъ, подъ кустомъ, обнимемъ и заплачемъ, неподалеку отъ невинности. Да! Долженъ же былъ, обязанъ же былъ, наконецъ, этотъ „вѣчный мужъ“ хоть когда-нибудь да наказать себя за все, окончательно, и чтобъ наказать себя, онъ и схватился за бритву,—правда, нечаянно, по все-таки схватился! „Все-таки пырнулъ же ножомъ, все-таки вѣдь кончилъ же тѣмъ, что пырнулъ, въ присутствіи губернатора!“ А кстати, была-ли у него хоть какая-нибудь мысль, въ этомъ родѣ, когда онъ мнѣ рассказывалъ свой анекдотъ про шафера? А было-ли въ самомъ дѣлѣ что-нибудь тогда ночью, когда онъ вставалъ съ постели и стоялъ среди комнаты? Гм!.. Нѣтъ, онъ *съ шутку* тогда стоялъ. Онъ всталъ за своимъ дѣломъ, а какъ увидѣлъ, что я его струсилъ, онъ и не отвѣчалъ мнѣ десять минутъ, потому что очень ужъ пріятно было ему, что я струсилъ его... Тутъ-то, можетъ-быть, ему и въ самомъ дѣлѣ что-нибудь въ первый разъ померещилось, когда онъ стоялъ тогда въ темнотѣ“...

„А все-таки, не забудь я вчера на столѣ эти бритвы,—ничего бы, пожалуй, и не было. Такъ-ли? Такъ-ли? Вѣдь избѣгалъ же онъ меня прежде, вѣдь не ходилъ же ко мнѣ по двѣ недѣли; вѣдь прятался же онъ отъ меня, меня *жалтючи!* Вѣдь выбралъ же вначалѣ Багаутова, а не меня! Вѣдь вскочилъ же ночью тарелки грѣть, думая сдѣлать диверсію—отъ ножа къ умиленію!.. И себя, и меня спасти хотѣлъ—грѣтыми тарелками!..“

И долго еще работала въ этомъ родѣ больная голова этого бывшаго „свѣтскаго человѣка“, пересыная изъ пустого въ порожнее, пока онъ успокоился. Онъ проснулся на другой день съ тою же больною головою, но съ совершенно *новымъ* и уже совершенно неожиданнымъ ужасомъ...

Этотъ новый ужасъ происходилъ отъ непремѣннаго убѣжденія, въ немъ неожиданно укрѣпившагося, въ томъ, что онъ, Вельчаниновъ (и свѣтскій человѣкъ), сегодня же, самъ, своей волей, кончитъ все тѣмъ, что пойдетъ къ Павлу Павловичу—зачѣмъ? Для чего?—Ничего онъ этого не зналъ и съ отвращеніемъ знать не хотѣлъ, а зналъ только то, что зачѣмъ-то потащится.

Сумасшествіе это—иначе онъ и назвать не могъ—развилось, однакоже, до того, что получило, насколько можно, разумный видъ и довольно законный предлогъ:

ему еще вчера какъ бы грезилось, что Павелъ Павловичъ воротится въ свой номеръ, запрется на-крѣпко и—повѣсится, какъ тотъ казначей, про котораго рассказывала Марья Сысоевна. Эта вчерашняя мечта перешла въ немъ, мало-по-малу, въ бессмысленное, но неотразимое убѣжденіе.—„Зачѣмъ этому дураку вѣшаться?“ перебивалъ онъ себя поминутно. Ему вспомнились давнишнія слова Лизы... „А, впрочемъ, я на его мѣстѣ, можетъ, и повѣсился бы“... придумалось ему одинъ разъ.

Кончилось тѣмъ, что онъ, вмѣсто того, чтобъ идти обѣдать, направился-таки къ Павлу Павловичу.—„Я только у Марьи Сысоевны спрошу“, рѣшилъ онъ. Но еще не успѣвъ выйти на улицу, онъ вдругъ остановился подъ воротами:

— Неужели-жъ, неужели-жъ! вскрикнулъ онъ, побагровѣвъ отъ стыда.—Неужели-жъ я плетусь туда, чтобъ „обняться и заплакать?“ Неужели только этой бессмысленной мерзости недоставало ко всему сраму!

Но отъ „бессмысленной мерзости“ спасло его провидѣніе всѣхъ порядочныхъ и приличныхъ людей. Только что онъ вышелъ на улицу, съ нимъ вдругъ столкнулся Александръ Лобовъ. Юноша былъ впопыхахъ и въ волненіи.

— А я къ вамъ! Пріятель-то нашъ, Павелъ Павловичъ, каково?

— Повѣсился! дико пробормоталъ Вельчаниновъ.

— Кто повѣсился? Зачѣмъ? вытаращилъ глаза Лобовъ.

— Ничего... я такъ;—продолжайте!

— Фу, чертъ, какой однакоже у васъ смѣшной оборотъ мыслей! Совсѣмъ таки не повѣсился (почему повѣсился?). Напротивъ—уѣхалъ. Я только что сейчасъ его въ вагонъ посадилъ и отправилъ. Фу, какъ онъ пьетъ, я вамъ скажу! Мы три бутылки выпили. Предпосыловъ тоже,—но какъ онъ пьетъ, какъ онъ пьетъ! Пѣсни пѣлъ въ вагонѣ, васъ вспоминалъ, ручкой дѣлалъ, кланяться вамъ велѣлъ. А подлець онъ, какъ вы думаете,—а?

Молодой человѣкъ былъ дѣйствительно хмелень; раскраснѣвшееся лицо, блиставшіе глаза и плохо слушавшійся языкъ сильно объ этомъ свидѣтельствовали. Вельчаниновъ захохоталъ во все горло.

— Такъ они кончили таки, наконецъ, брудершафтомъ! Ха-ха! Обнялись и заплакали! Ахъ, вы, Шиллеры-поэты!

— Не ругайтесь, пожалуйста. Знаете, онъ тамъ со-



всѣмъ отказался. Вчера тамъ былъ и сегодня былъ. На-фискалили ужасно. Надю заперли,—сидить въ антресоляхъ. Крикъ, слезы, но мы не уступимъ! Но какъ онъ пьетъ, я вамъ скажу, какъ онъ пьетъ! И знаете, какой онъ моветонъ, то-есть не моветонъ, а какъ это?.. И все про васъ вспоминалъ, но какое сравненіе съ вами! Вы все-таки порядочный человѣкъ и въ самомъ дѣлѣ принадлежали когда-то къ высшему обществу и только теперь принуждены уклониться,—по бѣдности, что-ли... Чортъ знаетъ, я его плохо разобралъ.

— А, такъ это онъ вамъ, въ такихъ выраженіяхъ, про меня рассказывалъ?

— Онъ, онъ, не сердитесь. Быть гражданиномъ—лучше высшаго общества. Я къ тому, что въ нашъ вѣкъ въ Россіи не знаешь кого уважать. Согласитесь, что это сильная болѣзнь вѣка, когда не знаешь кого уважать,—не правда-ли?

— Правда, правда, что-жъ онъ?

— Онъ? Кто! Ахъ, да! Почему онъ все говорилъ: пятидесятилѣтній, но промотавшійся Вельчаниновъ? Почему: *но* промотавшійся, а не *и* промотавшійся! Смѣется, тысячу разъ повторилъ. Въ вагонъ сѣлъ, пѣсню запѣлъ и заплакалъ—просто отвратительно; такъ даже жалко,—сѣпьяну. Ахъ, не люблю дураковъ! Нищимъ пустился деньги раскидывать, за упокой души Лизаветы—жена что-ль его?

— Дочь.

— Что это у васъ рука?

— Порѣзалъ.

— Ничего, пройдетъ. Знаете, чортъ съ нимъ, хорошо что уѣхалъ, но бысъ объ закладъ, что онъ тамъ, куда прѣдетъ, тотчасъ же опять женится,—не правда-ли?

— Да вѣдь и вы хотите жениться?

— Я? Я—другое дѣло. Какой вы, право! Если вы пятидесятилѣтній, такъ ужъ онъ навѣрно шестидесятилѣтній: тутъ нужна логика, батюшка! И знаете, прежде, давно уже, я былъ чистый славянофилъ по убѣжденіямъ, но теперь мы ждемъ зари съ запада... Ну, до свиданія; хорошо, что столкнулся съ вами не заходя; не зайду, не просите, некогда!..

И онъ бросился было бѣжать.

— Ахъ, да что-жъ я, воротился онъ вдругъ,—вѣдь онъ меня съ письмомъ къ вамъ прислалъ! Вотъ письмо. Зачѣмъ вы не пришли провожать?

Вельчаниновъ воротился домой и распечаталъ адресованный на его имя конвертъ.

Въ конвертѣ ни одной строчки не было отъ Павла Павловича, но находилось какое-то другое письмо. Вельчаниновъ узналъ эту руку. Письмо было старое, на пожелтѣвшей отъ времени бумагѣ, съ выцвѣтшими чернилами, писанное лѣтъ десять назадъ къ нему въ Петербургъ, два мѣсяца спустя послѣ того, какъ онъ выѣхалъ тогда изъ Т. Но письмо это не пошло къ нему; вмѣсто него онъ получилъ тогда другое; это ясно было по смыслу пожелтѣвшаго письма. Въ этомъ письмѣ Наталья Васильевна, прощаясь съ ними навѣки, -- точно такъ же какъ и въ полученномъ тогда письмѣ, — и, признаваясь ему, что любитъ другого, не скрывала, однакоже, о своей беременности. Напротивъ, въ утѣшеніе ему, сулила, что она найдетъ случай передать ему будущаго ребенка, увѣряла, что отнынѣ у нихъ другія обязанности, что дружба ихъ теперь навѣки закрѣплена, — однимъ словомъ, логики было мало, но цѣль была все та же: — чтобъ онъ избавилъ ее отъ любви своей. Она даже позволяла ему заѣхать въ Т. черезъ годъ взглянуть на дитя. Богъ знаетъ, почему она раздумала и выслала другое письмо вмѣсто этого.

Вельчаниновъ, читая, былъ блѣденъ, но представилъ себѣ и Павла Павловича, нашедшаго это письмо и читавшаго его въ первый разъ передъ раскрытымъ фамильнымъ ящичкомъ чернаго дерева, съ перламутровой инкрустаціей.

„Должно-быть, тоже поблѣднѣлъ, какъ мертвецъ, подумалъ онъ, замѣтивъ свое лицо нечаянно въ зеркалѣ, — должно-быть, читалъ и закрывалъ глаза, и вдругъ опять открывалъ, въ надеждѣ, что письмо обратится въ простую бѣлую бумагу... Навѣрно раза три повторилъ опытъ!..“

## XVII.

### Вѣчный мужъ.

Прошло почти ровно два года послѣ описаннаго нами приключенія. Мы встрѣчаемъ господина Вельчанинова, въ одинъ прекрасный лѣтній день, въ вагонѣ одной изъ вновь открывшихся нашихъ желѣзныхъ дорогъ. Онъ ѣхалъ въ Одессу, чтобъ повидаться, для развлечения, съ однимъ пріятелемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и по другому, тоже довольно пріятному обстоятельству; черезъ этого пріятели онъ надѣялся уладить себѣ встрѣчу съ одною изъ чрезвычайно

интересныхъ женщинъ, съ которою ему давно уже желалось поближе познакомиться. Не вдаваясь въ подробности, ограничимся лишь замѣчаніемъ, что онъ сильно переродился, или, лучше сказать, исправился въ эти послѣдніе два года. Отъ прежней ипохондріи почти и слѣдовъ не осталось. Отъ разныхъ „воспоминаній“ и тревогъ, — послѣдствій болѣзни, — начавшихъ было осаждать его два года назадъ въ Петербургѣ, во время неудавшагося процесса, — уцѣлѣлъ въ немъ лишь нѣкоторый потаенный стыдъ отъ сознанія бывшаго малодушія. Его вознаграждала отчасти увѣренность, что этого уже больше не будетъ и что объ этомъ никто и никогда не узнаетъ. Правда, онъ тогда бросилъ общество, сталъ даже плохо одѣваться, куда-то отъ всѣхъ спрятался, — и это конечно было *всѣми* замѣчено. Но онъ такъ скоро явился съ повинною, а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ такимъ вновь возрожденнымъ и самоувѣреннымъ видомъ, что „всѣ“ тотчасъ же ему простили его минутное отпаденіе; даже тѣ изъ нихъ, съ которыми онъ пересталъ было кланяться, первые же и узнали его и протянули ему руку, и притомъ безъ всякихъ докучныхъ вопросовъ, — какъ будто онъ все время былъ гдѣ-то далеко въ отлучкѣ по своимъ домашнимъ дѣламъ, до которыхъ никому изъ нихъ нѣтъ дѣла, и только что сейчасъ воротился. Причиною всѣхъ этихъ выгодныхъ и здравыхъ перемѣнъ къ лучшему былъ, разумѣется, выигранный процессъ. Вельчанинову досталось всего шестьдесятъ тысячъ рублей, — дѣло, безспорно, невеликое, но для него очень важное; во-первыхъ, онъ тотчасъ же почувствовалъ себя опять на твердой почвѣ, стало-быть, утолился нравственно; онъ зналъ теперь уже навѣрно, что этихъ послѣднихъ денегъ своихъ не промотаетъ „какъ дуракъ“, какъ промоталъ свои первыя два состоянія, и что ему хватитъ на всю жизнь. „Какъ бы тамъ ни трещало у нихъ общественное зданіе и что бы они тамъ ни трубили“ думалъ онъ иногда, приглядываясь и прислушиваясь ко всему чудесному и невѣроятному, совершающемуся кругомъ него и по всей Россіи, — „во что бы тамъ ни перерождались люди и мысли, у меня все-таки всегда будетъ вотъ хоть этотъ тонкій и вкусный обѣдъ, за который я теперь сажусь, а, стало-быть, я ко всему приготовленъ“. Эта нѣжная до сладострастія мысль, мало-по-малу, овладѣвала имъ совершенно и произвела въ немъ переворотъ даже физическій, не говоря уже о нравственномъ: онъ смотрѣлъ теперь совсѣмъ дру-

гпмъ человѣкомъ, въ сравненіи съ тѣмъ „хомякомъ“, котораго мы описывали за два года назадъ, и съ которымъ уже начинали случаться такія неприличныя исторіи,— смотрѣлъ весело, ясно, важно. Даже злокачественныя морщинки, начинавшія скопляться около его глазъ и на лбу, почти разгладились; даже цвѣтъ его лица измѣнился, — онъ сталъ бѣлѣе, румянѣе. Въ настоящую минуту онъ сидѣлъ на комфортномъ мѣстѣ въ вагонѣ перваго класса, и въ умѣ его наклеивалась одна милая мысль: на слѣдующей станціи предстояло развѣтвленіе пути и шла новая дорога вправо. „Если-бъ бросить, на минутку, прямую дорогу и увлечься вправо, то не болѣе какъ черезъ двѣ станціи можно бы было посѣтить еще одну знакомую даму, только что возвратившуюся изъ-за границы и находившуюся теперь въ пріятномъ для него, но весьма скучномъ для нея уѣздномъ уединеніи; а, стало-быть, являлась возможность употребить время не менѣе интересно, чѣмъ и въ Одессѣ, тѣмъ болѣе, что и тамъ не уйдетъ... Но онъ все еще колебался и не рѣшался окончательно; онъ „ждалъ толчка“. Между тѣмъ станція приближалась; толчокъ тоже не замедлилъ.

На этой станціи поѣздъ останавливался на сорокъ минутъ, и предлагался обѣдъ пассажирамъ. У самага входа въ залу для пассажировъ перваго и втораго классовъ столпилось, какъ водится, множество нетерпѣливой и торопившейся публики и,—можетъ-быть, тоже какъ водится,—произошелъ скандалъ. Одна дама, вышедшая изъ вагона втораго класса и замѣчательно хорошенькая, но что-то ужъ слишкомъ пышно разодѣтая для путешественницы, почти тащила обѣими руками за собою улана, очень молоденькаго и красиваго офицера, который вырывался у нея изъ рукъ. Молоденькій офицерикъ былъ сильно хмельной, а дама, по всей вѣроятности, его старшая родственница, не отпускала его отъ себя, должно-быть, изъ опасенія, что онъ прямо такъ и бросится къ буфету съ напитками. Между тѣмъ съ уланомъ, въ тѣсотѣ, столкнулся купчикъ, тоже закутившій, и даже до безобразія. Этотъ купчикъ застрѣлъ на станціи второй уже день, пилъ и сыпалъ деньгами, окруженный товариществомъ, и все не успѣвалъ попасть въ поѣздъ, чтобъ отправиться далѣе. Вышла ссора, офицеръ кричалъ, купчикъ бранился, дама была въ отчаяніи и, увлекая улана отъ ссоры, восклицала ему умоляющимъ голосомъ: „Митинька! Митинька!“ Купчику

показалось это слишкомъ уже скандальнымъ; правда, и всѣ смѣялись, но купчикъ обидѣлся еще болѣе за оскорбленную, какъ показалось ему почему-то, нравственность.

— Вишь: „Митинька!“ произнесъ онъ укорительно, передразнивъ тоненькій голосокъ барыни.— „И въ публикѣ уже не стыдятся!“

И подойдя, качаясь, къ бросившейся на первый стулъ дамѣ, успѣвшей усадить рядомъ съ собой и улана, онъ презрительно осмотрѣлъ обоихъ и протянулъ нараспѣвъ:

— Шлюха ты, шлюха, хвостъ отшлепала!

Дама взвизгнула и жалостно осматривалась, ожидая избавленія. Ей и стыдно-то было, и боялась-то она, а къ довершенію всего офицеръ сорвался со стула и, завопивъ, ринулся было на купчика, но поскользнулся и шлепнулся назадъ на стулъ. Хохоть кругомъ усиливался, а помочь никто и не думалъ; но помогъ Вельчаниновъ; онъ вдругъ схватилъ купчика за шиворотъ и, повернувъ, оттолкнулъ его шаговъ на пять отъ испуганной женщины. Тѣмъ скандалъ и кончился; купчикъ былъ сильно опѣшенъ и толчкомъ, и внушительной фигурой Вельчанинова; его тотчасъ же увели товарищи. Осанистая фізіономія изящно одѣтаго барина возымѣла внушительное вліяніе и на насмѣшниковъ: смѣхъ прекратился. Дама, краснѣя и чуть не со слезами, начала изливаться въ увѣреніяхъ о своей благодарности. Уланъ бормоталъ: „балдарю, балдарю!“ и хотѣлъ было протянуть Вельчанинову руку, но, вмѣсто того, вдругъ вздумалъ улечься на стульяхъ и протянулся на нихъ съ ногами.

— Митинька! укоризненно простионала дама, всплеснувъ руками.

Вельчаниновъ былъ доволенъ и приключеніемъ, и его обстановкой. Дама интересовала его; это была, какъ видно, богатенькая провинціалочка, хотя и пышно, но безвкусно одѣтая, и съ манерами нѣсколько смѣшными,—именно соединяла въ себѣ все, гарантирующее успѣхъ столичному фату, при извѣстныхъ цѣляхъ на женщину. Завязался разговоръ; дама горячо рассказывала и жаловалась на своего мужа, который „вдругъ изъ вагона куда-то скрылся и отъ этого все и произошло, потому что онъ вѣчно, когда надо тутъ быть, куда-то и скроется“.

— По надобности... пробормоталъ уланъ.

— Ахъ, Митинька! всплеснула опять она руками.

„Ну, достанется же мужу!“ подумалъ Вельчаниновъ.

— Какъ его зовутъ? Я пойду и отыщу его, предложилъ онъ.

— Паль-Палычъ, отозвался уланъ.

— Вашего супруга зовутъ Павломъ Павловичемъ? съ любопытствомъ спросилъ Вельчаниновъ, и вдругъ знакомя ему лысая голова просунулась между нимъ и дамой. Въ одно мгновение представился ему садъ у Захлебининыхъ, невинныя игры и докучливая лысая голова, непрерывно просовывавшаяся между нимъ и Надеждой Ѳедосѣвной.

— Вотъ вы, наконецъ! истерически вскрикнула супруга.

Это былъ самъ Павелъ Павловичъ; въ удивленіи и страхѣ глядѣлъ онъ на Вельчанинова, оторопѣвъ передъ нимъ, какъ передъ привидѣніемъ. Столбнякъ его былъ таковъ, что нѣкоторое время онъ, повидимому, не понималъ ничего изъ того, что толковала ему раздражительной и быстрой скороговоркой оскорбленная супруга. Наконецъ, онъ вздрогнулъ и сообразилъ разомъ весь свой ужасъ: и свою вину, и о Митинкѣ, и о томъ, что этотъ „мсье“—дама почему-то такъ называла Вельчанинова— „былъ для насъ ангеломъ-хранителемъ и спасителемъ, а вы—вы вѣчно уйдете, когда вамъ надо тутъ быть...“

Вельчаниновъ вдругъ захохоталъ.

— Да вѣдь мы съ нимъ друзья, друзья съ дѣтства! восклицалъ онъ удивленной дамѣ, фамильярно и покровительственно обхвативъ правой рукой плечи улыбавагося блѣдной улыбкой Павла Павловича,—не говорилъ онъ вамъ о Вельчаниновѣ?

— Нѣтъ, никогда не говорилъ, оторопѣла нѣсколько супруга.

— Такъ представьте же меня, вѣроломный другъ, вашей супругѣ!

— Это, Липочка, дѣйствительно господинъ Вельчаниновъ-съ, вотъ-съ... началъ было и постыдно оборвался Павелъ Павловичъ.

Супруга вспыхнула и злобно сверкнула на него глазами, очевидно, за „Липочку“.

— И представьте, и не увѣдомилъ, что женился, и на свадьбу не позвалъ, но вы, Олимпиада...

— Семеновна, подсказалъ Павелъ Павловичъ.

— Семеновна! отозвался вдругъ заснувшій было уланъ.

— Вы ужъ простите его, Олимпиада Семеновна, для меня, ради встрѣчи друзей... Онъ—добрый мужъ!

И Вельчаниновъ дружески хлопнулъ Павла Павловича по плечу.

— Я, душенька, я только на минутку... отсталъ... началъ было оправдываться Павелъ Павловичъ.

— И бросили жену на позоръ! тотчасъ же подхватила Липочка,—когда надо, васъ нѣтъ, гдѣ не надо—вы тутъ...

— Гдѣ не надо—тутъ, гдѣ не надо... гдѣ не надо... поддакивалъ уланъ.

Липочка почти задышалась отъ волненія; она и сама знала, что это не хорошо при Вельчаниновѣ, и краснѣла, но не могла совладать.

— Гдѣ не надо, вы слишкомъ ужъ осторожны, слишкомъ осторожны! вырвалось у ней.

— Подъ кроватью... любовниковъ ищеть... подъ кроватью—гдѣ не надо... гдѣ не надо... ужасно разгорячился вдругъ и Митинька.

Но съ Митинькой уже нечего было дѣлать. Все кончилось, впрочемъ, приятно; послѣдовало и полное знакомство. Павла Павловича услали за кофеемъ и за бульономъ. Олимпиада Семеновна объяснила Вельчанинову, что они ѣдутъ теперь изъ О., гдѣ служить ея мужъ, на два мѣсяца въ ихъ деревню, что это недалеко, отъ этой станціи всего сорокъ верстъ, что у нихъ тамъ прекрасный домъ и садъ, что къ нимъ пріѣдутъ гости, что у нихъ есть и сосѣди, и если-бъ Алексѣй Ивановичъ былъ такъ добръ и захотѣлъ ихъ посѣтить „въ ихъ уединеніи“, то она бы встрѣтила его „какъ ангела-хранителя“, потому что она не можетъ вспомнить безъ ужаса, что бы было, если-бъ... и такъ далѣе, и такъ далѣе,—однимъ словомъ, „какъ ангела-хранителя...“

— И спасителя, и спасителя, съ жаромъ настаивалъ уланъ.

Вельчаниновъ вѣжливо поблагодарилъ и отвѣтилъ, что онъ всегда готовъ, что онъ совершенно праздный и незанятой человѣкъ, и что приглашеніе Олимпиады Семеновны ему слишкомъ лестно. Затѣмъ, тотчасъ же завелъ веселенькій разговоръ, въ который удачно вставилъ два или три комплимента. Липочка покраснѣла отъ удовольствія, и только что воротился Павелъ Павловичъ, восторженно объявила ему, что Алексѣй Ивановичъ такъ добръ, что принялъ ея приглашеніе прогостить у нихъ въ деревнѣ весь мѣсяцъ и обѣщался пріѣхать черезъ недѣлю. Павелъ Павловичъ улыбнулся потерянно и промолчалъ. Олимпиада Семеновна вскинула на него плечиками и возвела

глаза къ небу. Наконецъ, разстались: еще разъ благодарность, опять „ангелъ-хранитель“, опять „Митинька“ и Павелъ Павловичъ увелъ, наконецъ, усаживать супругу и улана въ вагонъ. Вельчаниновъ закурилъ сигару и сталъ прохаживаться по галлерей передъ вокзаломъ; онъ зналъ, что Павелъ Павловичъ сейчасъ опять прибѣжитъ къ нему поговорить до звонка. Такъ и случилось. Павелъ Павловичъ немедленно явился передъ нимъ съ тревожнымъ вопросомъ въ глазахъ и во всей физиономіи. Вельчаниновъ засмѣялся, „дружески“ взялъ его за локоть и, притянувъ къ ближайшей скамейкѣ, сѣлъ и усадилъ его съ собой рядомъ. Самъ онъ молчалъ; ему хотѣлось, чтобъ заговорилъ Павелъ Павловичъ первый.

— Такъ вы къ намъ-съ? пролепеталъ тотъ, совершенно откровенно приступая къ дѣлу.

— Такъ я и зналъ! Не перемѣнился нисколько! расхохотался Вельчаниновъ.—Ну, неужели же вы, хлопнуль онъ его опять по плечу,—неужели же вы хоть минуту могли подумать серьезно, что я въ самомъ дѣлѣ могу къ вамъ пріѣхать въ гости, да еще на мѣсяцъ—ха-ха!

Павелъ Павловичъ весь такъ и встрепенулся.

— Такъ вы—не пріѣдете-съ! вскричалъ онъ, нисколько не скрывая своей радости.

— Не пріѣду, не пріѣду! самодовольно смѣялся Вельчаниновъ.

Впрочемъ, онъ и самъ не понималъ, почему ему такъ ужъ особенно смѣшно, но чѣмъ дальше, тѣмъ ему становилось смѣшнѣе.

— Неужели... неужели вы въ самомъ дѣлѣ говорите-съ?

И, сказавъ это, Павелъ Павловичъ даже привскочилъ съ мѣста, въ трепетномъ ожиданіи.

— Да ужъ сказалъ, что не пріѣду,—ну, чудакъ же вы человекъ.

— Какъ же мнѣ... если такъ-съ, какъ же сказать-то Олимпиадѣ Семеновнѣ, когда вы черезъ недѣлю не пожадете, а она будетъ ждать-съ?

— Экая трудность! Скажите, что я ногу сломалъ, или въ этомъ родѣ.

— Не повѣрятъ-съ, жалостнымъ голоскомъ протянулъ Павелъ Павловичъ.

— И вамъ достанется? все смѣялся Вельчаниновъ.— Но я замѣчаю, мой бѣдный другъ, что вы-таки трепещете передъ вашей прекрасной супругой—а?



Павель Павловичъ попробоваль улыбнуться, но не вышло. Что Вельчаниновъ отказывался прїѣхать—это, конечно, было хорошо, но что онъ фамиллярничаетъ насчетъ супруги—это было уже дурно. Павель Павловичъ покоробился; Вельчаниновъ это замѣтилъ. Между тѣмъ прозвонилъ уже второй звонокъ; въ отдѣленіи послышался тонкій голосокъ изъ вагона, тревожно вызывавшій Павла Павловича. Тотъ засуетился на мѣстѣ, но не побѣжалъ на призывъ, видимо ожидая еще чего-то отъ Вельчанинова,— конечно, еще разъ завѣренія, что онъ къ нимъ не прїѣдетъ.

— Какъ бывшая фамилія вашей супруги? освѣдомился Вельчаниновъ, какъ бы не замѣчая совсѣмъ тревоги Павла Павловича.

— У нашего благочиннаго взялъ-съ, отвѣтилъ тотъ, въ смятеніи посматривая на вагоны и прислушиваясь.

— А, понимаю, за красоту.

Павель Павловичъ опять покоробился.

— А кто же у васъ этотъ Митинька?

— А это такъ-съ; дальній нашъ родственникъ одинъ, то-есть мой-съ, сынъ двоюродной сестры, покойницы-съ, Голубчиковъ-съ, за непорядки разжаловали, а теперь опять произведенъ; мы его и экипировали... Несчастный молодой человѣкъ-съ...

„Ну, такъ-такъ, все въ порядкѣ; полная обстановка!“ подумаль Вельчаниновъ.

— Павель Павловичъ! раздался опять отдаленный призывъ изъ вагона, и уже съ слишкомъ раздражительной ноткой въ голосѣ.

— Паль Палычъ! послышался другой, сильный голосъ.

Павель Павловичъ опять засуетился и заметался, но Вельчаниновъ крѣпко прихватилъ его за локоть и остановилъ.

— А хотите я сейчасъ пойду и расскажу вашей супругѣ, какъ вы меня зарѣзать хотѣли—а?

— Что вы, что вы-съ! испугался ужасно Павель Павловичъ,—да Боже васъ сохрани-съ!

— Павель Павловичъ! Павель Павловичъ! послышались опять голоса.

— Ну, ужъ ступайте? выпустилъ его, наконецъ, Вельчаниновъ, продолжая благодушно смѣяться.

— Такъ не прїѣдете-съ? чуть не въ отчаяніи въ послѣдній разъ шепталъ Павель Павловичъ, и даже руки сложилъ передъ нимъ, какъ встарину, ладошками.

— Да клянусь же вамъ, не приѣду! Бѣгите, бѣда вѣдь будетъ!

И онъ размахисто протянулъ ему руку,—протянулъ и вздрогнулъ: Павелъ Павловичъ не взялъ руки, даже отдернулъ свою.

Раздался третій звонокъ.

Въ одно мгновеніе произошло что-то странное съ обоими: оба точно преобразились. Что-то какъ бы дрогнуло и вдругъ порвалось въ Вельчаниновъ, еще только за минуту такъ смѣявшемся. Онъ крѣпко и яростно схватилъ Павла Павловича за плечо.

— Ужъ если я, я протягиваю вамъ вотъ эту руку, показаль онъ ему ладонь своей лѣвой руки, на которой явственно остался крупный шрамъ отъ порѣза,—такъ ужъ вы-то могли бы взять ее! прошепталъ онъ дрожавшими и поблѣднѣвшими губами.

Павелъ Павловичъ тоже поблѣднѣлъ и у него тоже губы дрогнули. Какія-то конвульси вдругъ пробѣжали по лицу его.

— А Лиза-то-съ? пролепеталъ онъ быстрымъ шопотомъ, и вдругъ запрыгали его губы, щеки и подбородокъ, и слезы хлынули изъ глазъ.

Вельчаниновъ стоялъ передъ нимъ, какъ столбъ.

— Павелъ Павловичъ! Павелъ Павловичъ! вопили изъ вагона, точно тамъ кого рѣзали,—и вдругъ раздался свистокъ.

Павелъ Павловичъ очнулся, всплеснулъ руками и бросился бѣжать сломя голову; поѣздъ уже тронулся, но онъ какъ-то успѣлъ уцѣпиться, и вскочилъ-таки въ свой вагонъ, на-лету. Вельчаниновъ остался на станціи и только къ вечеру отправился въ дорогу, дождавшись новаго поѣзда и по прежнему пути. Вправо, къ уѣздной знакомѣ, онъ не поѣхалъ—слишкомъ ужъ былъ не въ духѣ. И какъ жалѣлъ потомъ!



# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Униженные и оскорбленные. Романъ въ четырехъ частяхъ съ эпилогомъ.

Часть первая . . . . .	3
Часть вторая . . . . .	90
Часть третья . . . . .	175
Часть четвертая . . . . .	267
Эпилогъ . . . . .	338

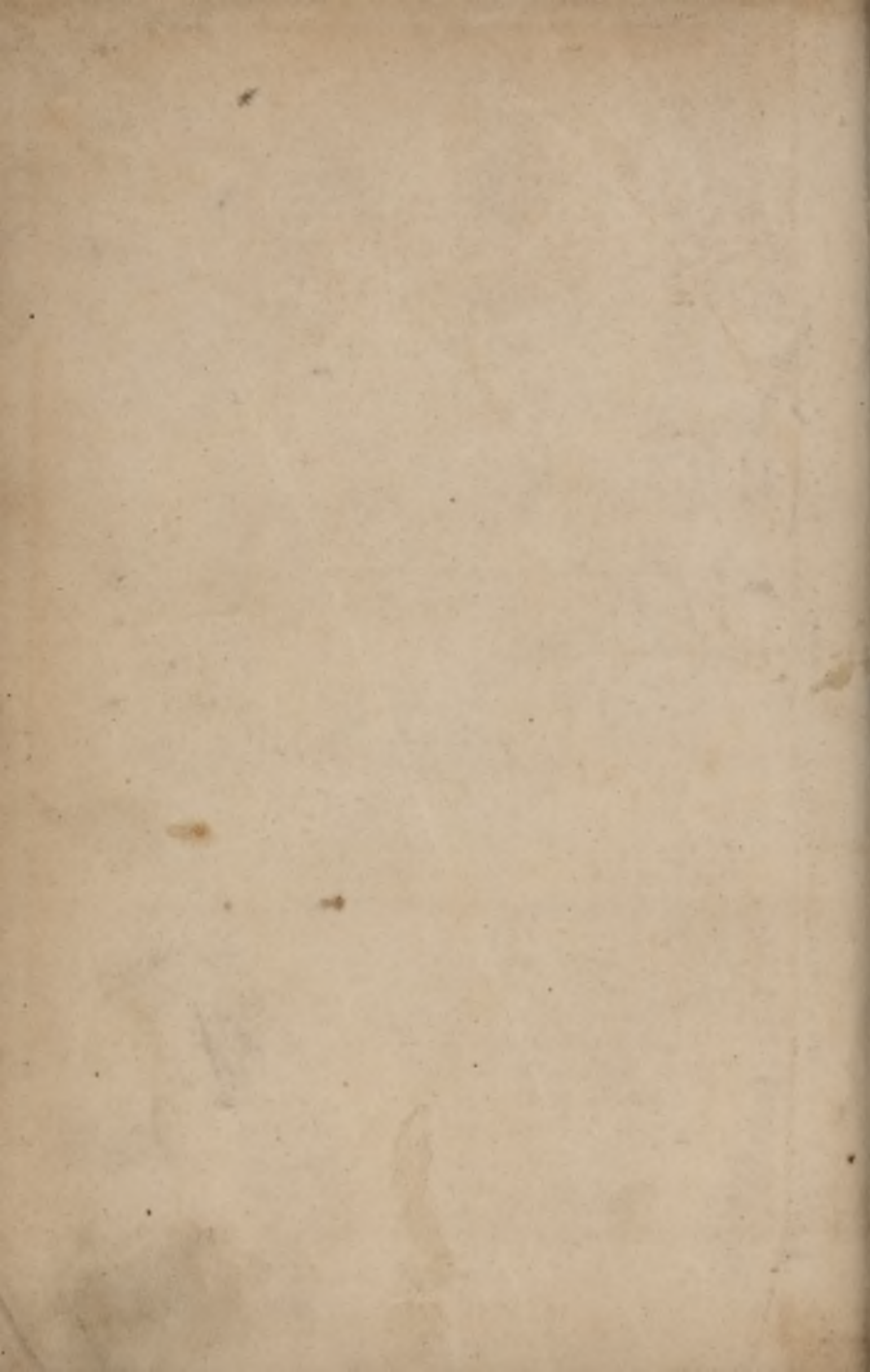
### ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Вѣчный мужъ. Разсказъ.

Глава	I. Вельчаниновъ . . . . .	365
"	II. Господинъ съ крепомъ на шляпѣ . . . . .	372
"	III. Павелъ Павловичъ Трусоцкій . . . . .	382
"	IV. Жена, мужъ и любовникъ . . . . .	391
"	V. Лиза. . . . .	398
"	VI. Новая фантазія празднаго человѣка . . . . .	407
"	VII. Мужъ и любовникъ цѣлуются . . . . .	413
"	VIII. Лиза больна. . . . .	423
"	IX. Привидѣніе . . . . .	428
"	X. На кладбищѣ . . . . .	435
"	XI. Павелъ Павловичъ женится . . . . .	442
"	XII. У Захлебниныхъ . . . . .	451
"	XIII. На чьемъ краю больше . . . . .	468
"	XIV. Саменька и Наденька . . . . .	475
"	XV. Сквитапись . . . . .	483
"	XVI. Анализъ . . . . .	491
"	XVII. Вѣчный мужъ . . . . .	498







30, —

42

W KIELCACH  
BIBLIOTEKA

198277

Biblioteka WSP Kielce



0162428